

*Сёрен
Киркегор*
сам о себе



в изложении
Петера П. Роде

Биографические ландшафты

Сёрен Киркегор

Sören Kierkegaard

*mit Selbstzeugnissen
und Bilddokumenten
dargestellt von
Peter P. Rohde*



Rowohlt

Петер П. Роде

Сёрен Киркегор

*сам свидетельствующий о себе
и о своей жизни
(с приложением фотодокументов
и других иллюстраций)*

перевод с немецкого



504068

Урал LTD

1998

ББК 87.3

Р 60

Перевод с немецкого,
составление приложения и послесловие

Николая БОЛДЫРЕВА

«Как психологу ему был равен лишь Достоевский», — сказал о Киркегоре Рудольф Касснер, друг Р.-М. Рильке. Последний, как известно, изучил датский, чтобы читать тексты Киркегора в оригинале, в частности его письма к невесте. Этот интерес не удивителен, ибо Сёрен Киркегор не просто родоначальник экзистенциализма, но и одна из самых загадочных личностей, одна из самых утонченных душ в историческом земном ландшафте.

Эта книга — первая полная биография великого датского религиозного мыслителя, писателя и поэта, выходящая на русском языке. В приложении читатель найдет целый ряд текстов Киркегора, многие из которых также переведены на русский язык впервые.

ISBN 5-8029-0024-5 (рус.)

ISBN 3-499-50028-0 (нем.)

Перевод выполнен по 22 изданию, выпедшему в июне 1995

- © Издательство «Урал LTD», 1998
Originally published under the title
Sören Kierkegaard in the series
«rowohlts monographien»
- © Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
- © Перевод, послесловие — Н. Ф. Болдырев, 1998
- © Оформление — И. Л. Попов, дизайн серии — А. Ю. Давилов, 1998

Содержание

Введение	9
Отец, или Вера	11
Студенческие годы	28
Землетрясение	58
Регина, или Поэтическая муза	69
Почему Киркегор порвал с Региной?	95
Поэтическое творчество	
Первая поездка в Берлин	108
Копенгаген как культурный центр	119
Двойное движение бесконечности	136
Сведение счетов с Гегелем	165
Гольдшмидт, или Столкновение с мирским	175
Гольдшмидт	184
Чрезвычайная инстанция, или Спор с церковью	
Мюнстер	216
Регина	229
Навстречу катастрофе	240
Киркегор и наше время	
Экзистенциальное мышление	250
Ненаучная психология	254

Хронологическая таблица	262
Суждения и мнения	264
Библиография	269
Именной указатель	281
Приложение	
С. Киркегор. Или — Или (фрагменты)	287
С. Киркегор. Из дневников	350
С. Киркегор. Идеал женщины	359
С. Киркегор. Христос есть путь	367
С. Киркегор. Из цикла «Фантазии об одиночестве на стадиях жизненного пути»	379
Н. Болдырев. Киркегор и Кафка	391
Лев Шестов. Киркегор и экзистенциальная философия (главы из книги)	396
Послесловие переводчика	420



Сёрен Киркегор. Рисунок Вильгельма Гертнера

Сёрен Киркегор родился в 1813 году, в том самом, когда «поступило в обращение большое количество фальшивых денег», как он сам позднее выразился; в год государственного банкротства, после которого Дания в качестве союзницы Наполеона шесть лет подряд отчаянно и безуспешно боролась против Англии. Этим годом началась эпоха величайшей бедности в истории Дании. Умер Киркегор в 1855 году, за два года до отмены эресной* таможенной пошлины, просуществовавшей четыреста лет и долгое время служившей для страны важнейшим источником дохода; за два года до принятия закона о свободе профессий, благодаря которому страна, дотоле бывшая консервативным обществом, скованным цеховой замкнутостью, превратилась в либеральную демократию, начавшую обустраиваться на основах конкуренции; а также за два года до того, как были снесены долговременные военные укрепления вокруг Копенгагена, несколько столетий мешавшие росту столицы. Тотчас новые ведомства местного самоуправления были вовлечены в строительство фабрик и жилья для рабочих; тем самым город, хотя и крупный, но провинциальный, стал превращаться в современную метрополию.

Как видим, 1857 год был для Дании более значимым, чем какой-либо другой, ибо именно тогда новое время на-

* Эре — название мелкой монеты в Дании, Швеции и Норвегии, равна одной сотой кроны.

чало стряхивать с себя оковы прошлого, а индустриализация — мощно преобразовывать старое общество. Однако это старое общество цеховых гильдий и абсолютизма было той социальной действительностью, в рамках которой создавал свои произведения Киркегор. В отношениях с такой действительностью можно вести себя двумя разными способами: либо слепо ее принимать, либо восстать против нее. Киркегор ее принял и — отрешился от мирских проблем. Однако бесполезно было бы вспомнить, что в то же самое время жил человек, вполне сознательно вступивший на путь восстания, и имя этого человека сегодня столь же увенчано славой, как и имя Киркегора. Этим человеком был Карл Маркс. Как раз в то время, когда Маркс и Энгельс работали над своим программным политическим документом — «Коммунистическим манифестом», Киркегор сочинял *свое* религиозное программное заявление — «Деянья любви».

Несмотря на колоссальные различия между этими людьми, во многих отношениях они все же напоминают друг друга. Стартовав в одной и той же социальной ситуации, они выступили против господствовавшей в то время гегельянской философии, хотя действовали здесь в высшей степени по-разному. Маркс, стремясь сделать гегелевский идеализм пригодным в пользовании, пытался его, как он сам выражался, «перевернуть», то есть поставить на ноги то, что у Гегеля было поставлено на голову. Устремления Киркегора были намного радикальнее: он хотел торпедировать всю гегелевскую систему, начиная с ее основ, убежденный в том, что абсолютно невозможно все многообразие бытия втиснуть в какую-либо систему. Можно разработать систему мышления, но не систему бытия. Такова основополагающая мысль, исходно про-

низывающая сочинения Киркегора и благодаря экзистенциализму получившая всеобъемлющую значимость для новейшей философии.

Жизнь Киркегора бедна событиями. Однако для этической личности не существует множества событий, от которых бы она зависела. Этическая личность переживает события, позволяя своей индивидуальности формироваться их посредством точно так же, как посредством своей индивидуальности она оставляет неизгладимый след в каждом человеке, с которым встречается. Назовем людей, с которыми Киркегор оказался в течение своей жизни в особенных, повлиявших на его судьбу отношениях: отец, сделавший из него верующего; Регина, юная девушка, с которой он был помолвлен и которая сделала из него поэта; писатель и журналист Меир Арон Гольдшмидт, ставший причиной киркегоровского презрения к миру и мирскому; и наконец, епископы Мюнстер и Мартенсен, подобным же образом ставшие для Киркегора персонификацией извращенного «христианского мира».

Отец, или Вера

«В городе Г.... несколько лет тому назад проживал один юный студент по фамилии Климакус, никоим образом не стремившийся быть замеченным людьми, напротив того — находивший радость в том, чтобы существовать скрытно и в тиши наедине с самим собой. Знавшие его несколько ближе замкнутость его натуры, уклонявшейся от всякого тесного соприкосновения с людьми, пытались объяснить либо меланхолией, либо влюбленностью. Предполагавшие последнее

в известном смысле не были неправы, хотя они и ошибались, если думали, будто предметом его мечтаний была девушка. Подобные чувства были вполне чужды его сердцу; его душа, столь же тонкая и эфирная, почти прозрачная, как и его внешность, была чересчур проникнута духовным, чтобы красота женщины могла захватить ее. Да, он был влюблен и влюблен страстно, но — в мысли, или правильнее сказать — в мышление. Ни один влюбленный юноша, до глубин взволнованный тем непостижимым переходом, когда в груди его вдруг просыпается любовь, тем ударом молнии, когда в его любимой пробуждается любовь ответная, не бывал взволнован так, как в иное счастливое мгновение Климакус, когда случалось именно то, что он задолго предчувствовал и чего дожидался в тишине своей души. И если голова его при этом, подобно спелому колосу, задумчиво клонилась, то происходило это вовсе не потому, что он слышал голос возлюбленной, но потому, что он прислушивался к тайному шепоту мыслей; и если взор его становился мечтательным, то не потому, чтобы он прозревал ее образ, но потому, что для него становилось видимым движение мыслей. Что за наслаждение было для него, начав с одной-единственной мысли, с упорной последовательностью подниматься шаг за шагом все выше и выше; ибо упорство в следовании было для него некой *scala paradisi**, и блаженство, которое он испытывал, казалось ему еще более великолепным, нежели оно могло быть у ангелов... Что люди подсмеивались над ним, того он не замечал, притом настолько, что иногда ка-

* райской лестницей (лат.)

кой-нибудь прохожий оборачивался, чтобы не таясь понаблюдать за тем, как легко, словно танцуя, мчится он по улице. Нет, он не презирал людей, в равной мере его не посещали и мысли о том, чтобы люди могли его презирать: он был и пребывал посторонним этому миру.

Праздному наблюдателю, не знакомому с Климакусом ближе, его жизнь должна была представляться чем-то поразительным, однако для того, кто немного знал о его прежней жизни, в ней не было абсолютно ничего необъяснимого; ибо таким, каким он был сейчас, на своем двадцать первом году жизни, он до известной степени пребывал всегда. Его душевным задаткам в детстве не чинилось ни малейших препятствий, и они развивались в обстоятельствах, вполне благоприятных. Развлечений родительский дом мог предложить ему немного, и поскольку он из него, можно сказать что ни разу, не выходил, то и привык с самого раннего возраста заниматься самим собой и своими мыслями. Отец его был весьма строг, внешне сух и прозаичен, однако под байковой курткой скрывал сердце, полное пылкой фантазии, которое не смогли остудить даже преклонные годы. Когда временами Иоганнес просил разрешения выйти на улицу, то чаще всего получал отказ; и все, что при случае отец предлагал ему в качестве компенсации, — это, взяв его за руку, побродить с ним по комнате. На первый взгляд, это был жалкий эрзац, и все же с этим дело обстояло точно так же, как с байковой курткой, под которой скрывалось нечто совсем иное. Предложение принималось, и затем решать, куда пойти, всецело доверялось Иоганнесу. И тогда они



*Отец: Михаэль Педерсен Киркегор (1756—1838).
Миниатюра Ф. К. Камрата*

выходили за ворота, шли по направлению к загородному замку или к морскому побережью, или кружили по улицам, в точности как того хотел Иоганнес;

ибо отец мог всё. И покуда они бродили взад и вперед по комнате, отец описывал все, что они видели на прогулке; они здоровались с прохожими; с грохотом проносились мимо повозки, заглушая отцовский голос; фрукты у уличной торговли были заманчивее, чем когда-либо. Он рассказывал обо всем с такой точностью, так живо, с такой достоверностью вплоть до самых незначительных мелочей, хорошо известных и дорогих Иоганнесу, а также столь подробно и столь осязаемо-зримо в отношении вещей, Иоганнесу чуждых и от него далеких, что, погуляв с отцом полчаса, сын ощущал себя таким взволнованным и таким усталым, словно провел на улице целый день. Это волшебное искусство Иоганнес вскоре сам перенял у отца. То, что до тех пор протекало перед ним эпически, отныне стало поворачиваться к нему драматургической стороной; на прогулках они стали беседовать. Когда шли по знакомым улицам, то взаимно помогали друг другу не упустить ничего из виду; когда же дорога оказывалась Иоганнесу незнакомой, то он предавался искусству комбинирования, в то время как всемогущая отцовская фантазия преобразовывала каждое его детское желание в составную часть драмы, разворачивавшейся у них на глазах. Иоганнесу казалось, что мир рождается в процессе их беседы, словно бы отец был Господом Богом, а он сам — его любимцем, который мог по своему желанию весело вмешаться в любую из его безрассудных фантазий; ибо ему ни разу не было в этом отказано, а отец ни разу не был смущен или сбит с толку, все шло гладко к вящему удовольствию Иоганнеса.

Покуда жизнь в отчем доме складывалась так, что развивала его фантазию и учила любить пищу богов, учеба, уготованная ему в школе, наилучшим образом гармонировала со всем этим. Возвышенная мощь латинской грамматики, божественное достоинство ее правил трансформировались в нем в новую страсть. Но больше всего нравилась ему греческая грамматика. Занимаясь ею, он даже забывал о Гомере, которого любил декламировать вслух, наслаждаясь в одиночестве ритмичной поэмы. Учитель греческого преподавал грамматику более на философский манер. И когда он объяснял, например, что *Akkusativ** означает протяженность во времени и пространстве, а предлог не падежом управляет, а творит отношение, — перед ним распахивалась даль. Предлог исчезал, а протяженность во времени и пространстве его интуиция превращала в некий чудовищный бессодержательный образ. Его воображение продолжало работать, но уже на иной манер, чем прежде. То, о чем ему рассказывалось на прогулках, обладало пространственностью, плотность которой была для него явно избыточной. Его фантазия была так продуктивна и богата, что ей достаточно было самого малого. Перед одним из окон их дома росло около десятка травинок. И иногда он замечал там маленького зверя, пробиравшегося между стеблями. Травинки эти сразу же становились чудовищным лесом, вмещающим в себя ту густоту и мрак, которые были присущи траве как таковой. Вместо плотно набитого и начиненного пространства он получал отныне пространство пустое, и он устремлял

* винительный падеж

ся исследовать его заново, однако не видел ничего, кроме чудовищной протяженности.

И одновременно с тем, как в нем таким образом почти растительно пробуждалась и развивалась фантазия — отчасти эстетическая, отчасти интеллектуальная, — столь же мощно совершенствовалась в нем также и другая сторона души: предрасположенность к внезапному и поразительному. Однако происходило это не с помощью тех чародейных средств, к которым обычно прибегают, дабы возбудить внимание детей, а посредством чего-то значительно более высокого. Могучее воображение сочеталось в отце с неотразимой диалектикой. И когда отцу приходилось по какому-нибудь поводу вступать с кем-то в словесную перепалку или в спор, Иоганнес с некоторых пор становился весь внимание, и тем больше он весь уходил в слух, чем с большей — иной раз почти торжественной — ритуальностью все это происходило. Вначале отец давал возможность противнику выговориться, осторожно спрашивая, нет ли у него еще каких-либо доводов, и лишь затем излагал свои контраргументы. За речью отцовского оппонента Иоганнес следил с напряженным вниманием, будучи до известной степени заинтересованным в ее исходе и результате. Наступала пауза, следовал монолог отца и — о, чудо! — в мгновение ока все преображалось. Как именно это происходило, оставалось для Иоганнеса загадкой, но душа его блаженствовала в созерцании этого спектакля. Оппонент говорил снова, Иоганнес слушал еще внимательнее, пытаясь все в точности запомнить; оратор говорил, а Иоганнес едва ли не слышал биение своего сердца — с таким нетерпением ожидал он, что же произойдет



Вид на Копенгаген с Круглой башни. 1840

дальше. И это происходило. В мгновение ока все выворачивалось наизнанку, только что понятное становилось необъяснимым, определенное — сомнительным, убедительность противного только что сказанному — очевидной. Акула, стремясь схватить свою жертву, переворачивается на спину, поскольку пасть у нее расположена ближе к брюху. Со спины она темна, под брюхом же — серебристо-бела. Какое, должно



быть, великолепное зрелище — эта игра переливающихся красок; временами блистание это, вероятно, столь сильно, что глазам больно, и однако же наблюдать за этим — удовольствие. Похожие трансформации переживал Иоганнес-наблюдатель в то время, когда слушал своего отца, ведшего дискуссию. Потом он забывал сказанное как отцом, так и его противником, однако того трепетного ужаса своей души он не позабыл. В школьной жизни не было недостатка в

аналогиях к этому; он видел, например, как одно слово могло резко изменить всю фразу, как сослагательная частица, затесавшись внутрь предложения в изъяснительном наклонении, могла бросить преобразующий отсвет на целое. И чем старше он становился, чем теснее общался с ним отец, тем более обращал он внимание на эту непостижимость; казалось, будто отец находится в тайном сговоре с тем, что Иоганнесу хотелось высказать самому, однако в то же время одним-единственным своим словом отец мог все разрушить и запутать. И если, далее, отец не только оппонировал, но и развивал что-то сам, Иоганнесу представлялась возможность наблюдать, как именно он это делал, каким образом он мало-помалу приходил к тому, к чему стремился. Однако все же в него закрадывалось подозрение, что причина, по которой отец одним словом умел все перевернуть, заключалась в том, что он мог что-то как бы и позабыть в последовательности движения мыслей.

То, что другим детям дается благодаря волшебству поэзии и неожиданностям сказочных сюжетов, он обретал в тишине и покое своей интуиции и в мерцательных переходах диалектики. Это радовало ребенка, затем это стало игрой мальчишки, далее — усладой юноши. Благодаря этому жизнь его приобрела уникальную последовательную непрерывность, в ней не было тех переходов, которыми обыкновенно отмечены различные жизненные периоды. И когда Иоганнес стал старше, ему не пришлось отказываться от игры, ибо он научился играть в сфере серьезнейшего дела своей жизни, которое отнюдь не утрачивало при этом своей чарующей заманчивости. Так девочка до тех пор игра-

ет с куклой, пока та в конце концов не превращается в возлюбленного; ибо вся жизнь женщины — это любовь. Похожая непрерывность/тотальность была и у его жизни; ибо вся его жизнь была мышлением».

Этот рассказ о ребенке и о его отце взят нами из книги, которую Киркегор писал в тридцатилетнем возрасте и которую он так и не издал; «Иоганнес Климакус, или De omnibus dubitandum*» — так назвал он ее, воссоздав в ней образ молодого человека, всерьез воспринявшего философскую максиму во всем сомневаться. Как и во многих произведениях Киркегора, философская проблематика изложена здесь в поэтической форме, а описание маленького Иоганнеса и отцовского воспитания вполне соответствует сюжету его собственного детства. Псевдоним «Иоганнес Климакус», который позднее станет появляться на титульных листах многих важнейших и лиричнейших киркегоровских книг, — среди всех его псевдонимов именно тот, с которым Киркегор более всего может быть идентифицирован.

В точности таким и было воспитание маленького Сёрена стареющим отцом: побуждение, с одной стороны, к острейшей диалектике, с другой — к плодотворной работе воображения. Однако за той и другой формой интеллектуальной активности стояло еще и целеполагание совсем иного рода:

«1848

Возьмите ребенка, не испорченного болтовней на тему: Христос был распят; возьмите такого ребенка и покажите ему различные репродукции, где человек

* Обо всем сомнительном (лат.).

на коне, человек в треуголке и т. п.: Александр, Наполеон и подобные им. Вложите меж этих картинок изображение Распятого. Дойдя до этой картинки, ребенок спросит, как спрашивал и об остальных: кто это? Скажите малышу: это самый ласковый, самый любящий среди всех, кто когда-либо жил. И тогда дитя спросит: но кто же его убил и почему его убили?

О, даже становясь и старше, люди все же иногда сохраняют некоторую долю детскости: а иначе как понять, если, проходя мимо дома лавочника, заглянув в окно, видишь на стене нюрнбергские картинки-лубки и среди иных-прочих — этот образ».

Параллельно христианскому воспитанию шло воспитание чувства долга, почитавшегося прочнейшей опорой в жизни:

«Детство мое было счастливым, ибо оно обогатило меня этическими впечатлениями. Дайте мне побыть возле него еще мгновенье, оно напоминает мне о моем отце, который отнюдь не жалкая, бесплодная память, а самое драгоценное из всех моих воспоминаний. Детство дает мне возможность еще раз высветить то, о чем я говорю: что наиважнейшим и главным является целостное ощущение долга, а отнюдь не многообразие обязанностей. Если ценностным становится это последнее, индивид деградирует и разрушается. В этом отношении я был счастливым ребенком, потому что у меня никогда не было множества обязанностей, но в общем и целом была одна-единственная, зато всецело мной владевшая. Спустя два года меня отдали в гимназию. Началась новая



*Сёрен Киркегор в студенческие годы.
Рисунок Д. Якобсена*

жизнь, однако главными впечатлениями и здесь были этические, хотя я и наслаждался полнейшей свободой. Сойдясь с одноклассниками, я с удивлением выслушивал их жалобы на учителей, а однажды пережил странное чувство изумления, когда одного из учеников забрали из гимназии, так как он не мог поладить с учителем. Если бы я не сформировался

прежде под столь мощным влиянием, событие такого рода могло бы тлетворно подействовать на меня. Однако со мной этого не случилось. Я знал, что моя задача — ходить в ту гимназию, в которую меня отдали; измениться могло все что угодно, кроме этого. И суть заключалась не в страхе перед серьезностью моего отца, привившего мне эту серьезность, — нет, это было возвышенное ощущение того, что зовется человеческим долгом. Если бы отец умер и я был бы отдан под попечительство другого лица, которого вполне мог убедить забрать меня из школы, то и тогда я ни за что не отважился бы на это и не захотел бы этого по-настоящему, мне бы казалось, что является отцовская тень, чтобы проводить меня в гимназию. Впечатление о долге, полученное мною, было столь бесконечным, что никакое время не смогло бы уничтожить воспоминания о том, что я нарушил отцовскую волю. Впрочем, я вполне наслаждался свободой, ибо собственный мой долг заключался лишь в том, чтобы ходить в гимназию, и в этом отношении я вел себя вполне ответственно. Когда я был готов пойти в гимназию, когда все необходимые учебники были куплены, отец, вручая их мне, сказал: Вильгельм, к концу месяца ты должен стать в классе третьим. И более я не получал от отца никаких наставлений. Он никогда не интересовался моими заданиями, никогда не спрашивал об уроках, ни разу не заглянул в мои сочинения, никогда не напоминал о том, что сейчас, мол, время заниматься, а сейчас пора прекратить занятия. Он никогда не спешил прийти на помощь моей ученической совести, как это частенько делают благородные отцы семейств, поглажи-

вая своего отпрыска по щеке и вопрошая: как, ты еще не сделал сегодняшних уроков? Если же я собирался пойти погулять, отец лишь спрашивал, есть ли у меня на это время. Решал же все я сам, а не он. Причем, задавая свои вопросы, он никогда не впадал в категоричность. И хотя он был весьма озабочен моими занятиями (в этом я совершенно уверен), он никогда этого не показывал, ибо хотел, чтобы моя душа, испытывая чувство ответственности, могла созреть. Здесь снова повторялось то же самое: у меня не было многих обязанностей и я был свободен от ситуации, в которой оказывались многие другие дети, испорченные именно тем, что с головой завалены целым церемониалом обязанностей. Таким образом в меня вошло глубокое ощущение того, что есть нечто, именуемое долгом, и обладает это нечто вечным достоинством».

(Или — Или, II)

Итак, отцовское воспитание было направлено на то, чтобы сделать из мальчика поэта, мыслителя, этическую личность и христианина. Однако применявшиеся при этом методы были в высшей степени необычны. Впрочем, отец и сам был незаурядной личностью, сумевшей выбиться из бедной среды и стать не только состоятельным человеком, но и человеком, чей ум и начитанность вызывали всеобщее почтение. В его доме бывали умнейшие люди города, даже епископ Зеландский — умный и почтенный епископ Мюнстер; причем оба этих почтенных мужа питали друг к другу глубокое уважение.

Однако более глубоких, доверительных отношений между отцом и сыном не возникло. Когда родился Сёрен,

шестой и последний ребенок в семье, отцу было пятьдесят семь лет. К тому же это была самопогруженная, постоянно рефлектирующая натура, не привыкшая открывать кому-либо свое сердце. Впрочем, в дневнике есть один фрагмент, позволяющий увидеть нечто совсем иное, то, что обыкновенно было глубоко запрятано под слоями вежливости, почтительности, шутливости и интеллигентности:

•1844

Англичанин Свифт в юности построил дом умалишенных, в который сам попал в старости. Рассказывают, что он часто смотрелся в зеркало и говорил: о бедный старик!

Некогда жили отец с сыном. Оба весьма духовно одаренные, оба остроумные, особенно отец. Каждый, кто знал их дом и бывал в нем, наверняка находил пребывание там занимательным. Спорили и вообще беседовали друг с другом они всегда как два умных человека, а не как отец с сыном. Лишь иногда, очень редко, отец, всматриваясь в сына и находя, что тот очень печален, подходил к нему и говорил: «Бедный мальчик! Ты пребываешь в тихом отчаянии». (Однако он никогда его ни о чем не расспрашивал, этого он сделать не мог, потому что сам находился в тихом отчаянии.) Более на эту тему они никогда не заговаривали. Тем не менее этот отец и этот сын, видимо, были самыми меланхоличными из всех людей, о которых что-либо известно.

Вот откуда идут эти слова: тихое отчаяние. И по-другому их истолковывать не следует, ибо обычно под отчаянием понимают нечто совсем иное. И если сыну случалось сказать не вслух, но про себя: «тихое отчая-

ние», то на глаза его непроизвольно наворачивались слезы — частью потому, что что-то необъяснимое потрясало его в этот миг, частью оттого, что сразу вспоминался живой отцовский голос, ибо отец, как все меланхолики, был лаконичен, обладая в то же время всей жесткостью и весомостью меланхолии.

Отец считал себя виновным в тоске и меланхолии сына, а сын в тоске и меланхолии отца винил себя, хотя они ни разу не заговаривали об этом. И этот возглас отца был возгласом его собственной тоски, так что, говоря это, он более обращался к самому себе, нежели к сыну».

Каково же происхождение этой меланхолии?

Что касается ребенка, то она может быть объяснена влиянием отца; сформировалась определенная атмосфера, из которой он не мог бежать. Однако из дневниковых записей следует, что причина была гораздо более своеобразной:

«1850

Опаснейшее не в том, что отец или воспитатель — безбожник; и даже не в том и не тогда, когда он — лицемер. О нет, самое опасное, когда он благочестивый, богобоязненный человек, и ребенок глубоко и всем сердцем убежден в этом, и когда при всем этом он замечает глубокое беспокойство в этой душе, которой ни богобоязненность, ни благочестие не в состоянии даровать мира. Опасность как раз в том и кроется, что ребенок подвигаем здесь к тому, чтобы сделать вывод в отношении Бога: оказывается, что Бог не есть бесконечная полнота любви».



*Писатель
и критик Йохан
Людег Хайберг*

Итак, ребенок инстинктивно предчувствовал тайну жизни отца, словно бродильное вещество пребывавшую во всей его личности, пронизывающую ее и определяющую и его тоску, и меланхолию. Однако в чем именно был исток этой меланхолии, ребенку предстояло узнать много позднее.

Студенческие годы

В 1830 году Киркегор сдал экзамен на аттестат зрелости и начал заниматься на теологическом факультете Копенгагенского университета. Старый рационализм был здесь еще не преодолен, однако весьма сильно атакован с са-

мых разных сторон, главным образом людьми, находившимися под влиянием немецкого романтизма. Среди последних был Грундтвиг, достигший в эти годы творческого пика и от романтизма, бывшего для него исходным пунктом, двигавшийся в направлении глубоко личностной интерпретации христианства, что он и проповедовал с большим красноречием и пафосом.

Впрочем, он никогда не был особенно симпатичен Киркегору, тем более что собственный взгляд последнего в это время был прикован к немецкой романтической философии и в особенности к философии Гегеля, которая в эти годы что называется пронизывала философскую и вообще всю интеллектуальную жизнь Дании.

Первому его знакомству с Гегелем способствовал Йохан Людвиг Хайберг, бывший для целого поколения интеллектуальным диктатором датского Парнаса — отчасти благодаря своей критической деятельности, отчасти в качестве автора ряда театральных пьес, отчасти как директор Королевского театра и, наконец (но не в последнюю очередь), благодаря своему браку с ведущей датской актрисой тех времен Йоханной Луизой Хайберг.

Йохан Хайберг был сыном одного из самых крупных оппозиционеров восемнадцатого столетия, в конце концов изгнанного из страны и уехавшего в Париж, где он какое-то время был секретарем Наполеона. После падения последнего у него начались не лучшие времена; умер он в 1841 году в бедности и к тому же ослепшим. Сын, посетивший отца в Париже, хотел от жизни большего, не жели «элегантности» и художественных удовольствий, и потому спустя год вернулся домой. На первых порах ему пришлось удовлетвориться должностью доцента дат-

ского языка и литературы в Кильском университете, должностью по тем временам не особенно престижной, поскольку усиливающийся среди немецких студентов национализм создавал растущее противодействие всему датскому. Здесь он написал «Морфологию датского языка» и «Скандинавскую мифологию», выйдя через это к философским занятиям. Один из коллег как-то одолжил ему «Энциклопедию» Гегеля. Что из этого вышло, о том он рассказал сам в своих «Автобиографических фрагментах»:

«В то время (летом 1824 г. — *Автор*) я намеревался съездить по личной надобности в Берлин, и поскольку среди других рекомендаций, которыми я запасся, было также поручение Бергера передать устный привет Гегелю и, следовательно, мне в скором времени предстояло оказаться с этим человеком с глазу на глаз, вдвойне не терпело отлагательств хотя бы мало-мальски ознакомиться с его системой. Взятую у Бергера книгу я возвратил ему перед своим отъездом, однако, прибыв в Гамбург, тотчас купил себе экземпляр, который и прихватил с собой в дилижанс, где, сидя рядом с проводником, поочередно то болтал с ним, то изучал Энциклопедию, закончив это занятие в тот самый момент, как въехал в Берлин. В продолжение тех двух месяцев, что я провел в этом городе, я непрерывно и все далее углублялся в новую систему, и не только благодаря систематическому чтению гегелевских сочинений, но также — и быть может главным образом — благодаря беседам с виднейшими тамошними гегельянами, в особенности с Гансом, хотя и в меньшей степени с самим Гегелем, который с величайшим добродушием отвечал на мои незрелые вопросы в те несколько приятных часов, что я провел в его доме и семье.

На обратном пути, остановившись в Гамбурге, прежде чем вернуться в Киль, я в течение шести недель непрерывно размышлял над тем, что мне было еще неясно; и вот однажды случилось так, что, сидя в своем номере в «Английском короле» с Гегелем на столе и с Гегелем в

мыслях и одновременно прислушиваясь к прекрасным хоралам, почти непрерывно звучавшим из механизма курантов церкви Святого Петра, я внезапно — ничего подобного я ни до, ни после не переживал — моментально все увидел внутренним зрением; это было подобие молнии, осветившей вдруг целый регион и пробудившей во мне ясное представление о дотоле скрытых центральных мыслях. С того мгновенья система в ее главных чертах уяснилась мне, во мне родилось убеждение, что я постиг ее сокровенное ядро... И теперь я могу признаться, что это чудесное мгновение было важнейшим событием моей жизни, подарившим мне тот покой, ту уверенность, то чувство собственного достоинства, которых прежде я никогда не знал.

Прибыв в Киль и прослышав там, что в Копенгагене происходят детерминистские распри, и понимая, что предмет борьбы, увиденный из гегелевского центра, может быть продемонстрирован в совершенно новом освещении, я написал статью о человеческой свободе — первый на датском языке экскурс в гегелевскую философию.

Могу с уверенностью сказать, что новый свет, открывшийся мне, оказал влияние на все последующие мои дела и начинания, даже на те, связь с которыми трудно было бы предположить. Так, например, я никогда бы не начал писать водевили и вообще не стал бы драматургом, если бы не научился, благодаря гегелевской философии, понимать отношение конечного к бесконечному и через это испытывать то уважение к конечным вещам, которого у меня до тех пор не было, но без которого драматургу ни за что не обойтись. Если бы благодаря этой философии я не научился постигать важности огранки и ограничений, то не смог бы ни задать границ самому себе, ни остановиться



Гегель. Картина Якоба Шлезингера

на тех небольших, локальных формах, которые ранее мною просто презирались. Впрочем, моему повороту содействовало и недавнее мое знакомство с французским водевилем. Кроме того, во время своего шестинедельного пребывания в Гамбурге я посмотрел там водевиль «Венцы в Берлине», ощутив в этом пересаженном на немецкую почву произведении некую дополнительную окраску

сердечности и музыкальности, не свойственную французам. В этой ситуации нужен был лишь толчок, чтобы мои идеи оформились и явились на свет божий, и такой толчок я получил во время пребывания в Копенгагене летом 1825 года, когда, поделившись с советником Коллином, тогдашним директором театра, своими мыслями о возможности датского водевиля, я услышал пожелание попытаться это сделать. С королевского разрешения я продлил мое пребывание в Копенгагене, и поскольку мой первый опыт удался сверх всяких ожиданий, не стал возвращаться в Киль, а уволился со службы и продолжил писать для сцены*.

Таким образом, гегелевская философия пришла в Данию словно некое откровение — обстоятельство, над которым Киркегор позднее иронизировал. И своего рода жизненной задачей для него самого стала именно борьба с Гегелем; последнее, впрочем, не исключает того факта, что вначале он сам много от него получил, основательно изучив его сочинения.

Но конфронтировал он с Гегелем еще и с другой стороны. Будучи студентом, он ходил на манудукцион* к новоиспеченному кандидату теологии Г. Л. Мартенсену, происходившему из Шлезвига, детство проведенному во Фленсбурге, вследствие чего разговорным языком у него в детстве был нижненемецкий. Благодаря этому он легко вошел в немецкую интеллектуальную жизнь, испытывая симпатию к Шлейермахеру, с которым был в личных дружеских отношениях, равно как и с Гегелем и с католическим мыслителем Францем Баадером, который вывел его — во всяком случае он в это верил —

* Индивидуальные занятия студента с университетским преподавателем, обычные в датских университетах. — *Прим. автора.*

в просторы, лежащие за Гегелем. Впрочем, нетрудно заметить, что все свое мышление Мартенсен построил на понимании бытия как цепочки антагонизмов, которые необходимо «снять», и вклад Баадера в эту основополагающую идею заключался скорее всего в подчеркивании того, что любая философия, надеющаяся обрести цельный взгляд на бытие, должна обладать религиозным исходным пунктом в противовес принципу автономного мышления тогдашней господствующей философии. Тем самым Мартенсен встал на точку зрения Ансельма — *credo ut intelligat*: верю, чтобы мочь понять, чтобы познать; в качестве тварного существа человек не может познать бытие — единственно лишь посредством Бога в качестве предпосылки и авторитета. Таким образом, Мартенсен склонялся к мистике, и не удивительно, что одну из своих будущих книг он посвятит Якобу Бёме.

В негативной форме те же самые мысли мы находим и в эссе, написанном Мартенсеном в 1836 году, после того, как, путешествуя, он познакомился в Вене с поэтом Ленау и углубился в его работу о Фаусте; статья появилась на немецком языке в 1836 году, а четыре года спустя была перепечатана хайбергским журналом «Персей». В фигуре Фауста Мартенсен видит типичного представителя философии, жаждущей абстрагироваться от творца, вследствие чего она отрицает тварность человеческой природы и тем самым упускает саму возможность обрести подлинное знание.

Главная мысль, пронизывающая все творчество Мартенсена, заключалась в том, что вполне возможно объединить веру и мышление и создать всеобъемлющий синтез, в котором растворились бы все противоречия и кон-



*Ганс Лассен Мартенсен (1808—1884).
Рисунок Вильгельма Гертнера*

трасты, — собственно говоря, романтическое жизневоззрение, перенесенное в теологию.

Но борьбу именно с этой идеей Киркегор, став зрелым мыслителем, и рассматривал как первую свою задачу; и когда два эти человека, чьи пути позднее роковым образом пересекутся, встретились впервые (один — студент, другой — манудуктор), то моментально родилась антипатия, хотя вначале и скрытая. Контрастны они были не только несходством во мнениях, но и темпераментами. Мартенсен, еще будучи молодым человеком, манерами и

внешностью напоминал прелата и будущего епископа; Киркегора же отличали, во всяком случае на первых порах, замкнутость и острый критицизм. Мартенсен находил Киркегора одаренным, но склонным к софистике; Киркегор же как-то вскоре заметил, что если кто хочет исследовать проблему всерьез и глубоко, тому бессмысленно обращаться к Мартенсену, ибо его доводы, хотя и блестящие, не выдерживают обстоятельного анализа.

Вследствие всего этого юный Киркегор чувствовал отторжение от рационалистического направления, господствовавшего на теологическом факультете: и от сектантства Грундтвига, и от гегелевской спекуляции, какими они являлись в интерпретации Мартенсена. Теология не могла дать ему того, чего он жаждал, к тому же и дома он чувствовал себя не очень уютно: его постоянно угнетало подозрение, что с отцом что-то не то, что отцовская набожность — разновидность банкротства, а не вера в спасение.

Эта догадка со временем подтвердилась. Все, что нам ныне известно, мы узнаем из его дневников. Первая датированная запись в них относится к апрелю 1834 года, когда Киркегору был без малого двадцать один год. Однако как автор дневника он не отличался тогда особым прилежанием (позднее он изменится в этом отношении), здесь больше поэтических раздумий, нежели заметок о реальных переживаниях. Создается впечатление, что в эти первые годы он избегал фиксировать действительные события своей жизни. Узнаем мы о них лишь из лаконичных намеков дневников более поздней поры, зачастую несколько лет спустя. А если учесть, что нередко из дневников вырваны целые страницы, видимо в тех местах, где, как он полагал, он проявил излишнюю чистосердеч-

ность, и что дневник — в противоположность иным текстам — писался обычно что называется летящим пером, с вольными грамматическими и логическими связками и взаимосвязями, без особой оглядки на возможные противоречия, — станет понятно, что требуется поистине детективное остроумие, чтобы дознаться об истинном происшествии. С полной уверенностью дознаться до реальных событий невозможно, но сам процесс все же поддается реконструкции с вероятностью не столь уж незначительной. Помимо дневников можно обнаружить по крайней мере еще одно убежище Киркегора: произведения, в значительной степени пронизанные автобиографическими мотивами. Так, например, в «Стадиях на жизненном пути» мы встречаем фрагмент под названием «Сон Соломона». Здесь говорится:

«Если существует мука симпатии, то она в том, что приходится стыдиться своего отца — того, кто любим тобою больше всех, кому ты больше всех обязан, но к кому при всем при том ты вынужден приближаться со спины или отвернув в сторону лицо, чтобы никто не заметил твоего смущения. Какое же в сравнении с этим наслаждение иметь возможность любить так, как того вполне жаждет сыновняя потребность, и когда еще к этому счастью добавляется возможность гордиться отцом, поскольку он принадлежит к избранным, поскольку он еще при жизни признан человеком выдающимся, могущественным, признан гордостью страны, Божьим другом, обетованием будущего. Он — прославляемый в прижизненных воспоминаниях о нем! Счастливый Соломон, это был твой жребий!

Итак, абсолютно счастливый, жил Соломон при пророке Натане. Могущество и героическое величие отца не воодушевляли его к деяниям, ибо к тому не представлялось случая, однако они воодушевляли его к изумлению, а изумление помогло ему стать поэтом. Но если поэт почти завидовал своим героям, то сын пребывал в состоянии восторженной преданности своему отцу.

Но однажды случилось так, что юноша застал врасплох своего царствующего отца. В одну из ночей он проснулся: ему послышалось какое-то движение там, где спал отец. Его охватил ужас при мысли о каком-нибудь завистнике, который хочет убить Давида. Он подкрадывается ближе — и видит Давида в состоянии глубокой душевной подавленности, он слышит вопли отчаяния кающейся души.

Чувствуя себя обессиленным, Соломон находит свое ложе, наконец забывается в дремоте, но покой не приходит, его мучает сон; ему снится, что Давид — безбожник, отверженный Богом, что царское величие Давида — это божий над ним гнев, что пурпурные одежды он вынужден носить как наказание, что он проклят на свою власть, проклят принимать поклонение народа, в то время как Господня справедливость тайно и скрытно творит свой суд над виновным. И в этом сне Соломон смутно предчувствует, как бы догадывается: этот Бог — бог не набожных, а безбожников, и именно безбожник должен был стать избранником Бога, и весь ужас сна — в этом противоречии.

И пока Давид лежал на земле с сокрушенным сердцем, Соломон встал с постели, но разумеется был уже сокрушенным. Ужас охватывал его каждый раз, ког-

да он думал, что значит — быть избранником Бога. Он подозревал, что близость святых к Богу, откровенность с Богом людей чистых — не объяснение, но что тайная их вина — вот тайна, которая все объясняет».

Лаконичная запись в дневнике проливает свет на зерно реальности, лежащее в основе этого поэтического этюда:

♦1844

Отношения между отцом и сыном, при которых сын втайне все постигает и все же не отваживается знать. Отец — уважаемый человек, богобоязненный и строгий; но однажды случайно, будучи пьяным, он роняет несколько слов, позволивших догадываться об ужасном. Никаких иных сведений у сына нет, и он так никогда и не осмелился спросить о чем-нибудь отца или кого-либо другого».

Итак, совершенно случайно сын узнает о «тайной вине» отца, а этюд о Давиде и Соломоне подсказывает нам, о чем может идти речь: о сексуальной вине или неудаче, и притом столь серьезной, что она способна совершенно изменить в глазах сына образ отца.

Вероятно, сын так никогда и не сумел получить полной ясности, что же произошло, но для потомков тайны уже нет, ибо церковная книга, опекунское ведомство и другие официальные учреждения дают нам недвусмысленные свидетельства и факты.

Отец женился в 1794 году, однако его супруга уже два года спустя умерла, не успев стать матерью. Через год после ее смерти отец женился вновь, притом на собствен-



*Мать: Анна Киркегор,
урожденная Лунд*

ной служанке, которая четыре месяца спустя разрешилась дочерью.

Михаэль Педерсен Киркегор был весьма склонен быстро утешиться, и возникает вопрос, не начались ли отношения со служанкой еще в то время, когда жена была жива.

У второго брака есть и другая странность: Киркегор-отец заручился брачным контрактом, вещь в те времена в высшей степени необычной, предложив будущей супруге столь жалкие средства в случае развода, что опекуновское ведомство заявило протест. Невозможно избавиться от впечатления, будто Михаэль Педерсен Киркегор предвидел, что в недалеком будущем брак будет расторгнут, и что заключил он его быть может лишь затем, чтобы ребенок не явился на свет незаконнорожденным. Из всего это-



Дом на Ниторе, 29 (слева от большого углового дома), принадлежавший М. П. Киркегору. Здесь Сёрен родился и жил до смерти отца

го можно вновь заключить, что связь возникла, застав кого-то врасплох. Одни высказывают предположение, что это он взял свою служанку силой, другие — что это она соблазнила его, ведь он был для нее хорошей партией, и что именно поэтому, в досаде и гневе, он и не хотел обещать ей больше, нежели самое необходимое.

Едва ли она была для него особенно привлекательной. Воспитания она не получила никакого, и едва ли могла много значить для одаренных своих сыновей; характерно, что Сёрен Киркегор в своих дневниках не упоминает о ней ни разу, в то время как об отце вспоминает часто. В жизни своего мужа и детей она скользит подобно тени, не способной понять орлиного их полета; заботливая, хлопотливая наседка, оказавшаяся не в своей компании.

Не нужно думать, будто *faux pas** отца могло стать поводом к большому вокруг этого шуму. Сегодня подобные вещи отнюдь не рассматриваются как великое несчастье, да и тогда, вероятно, ничего особенного не было в том, что сочеталась браком женщина, уже беременная. Однако Михаэль Педерсен Киркегор был не из тех, кто воспринимает такие истории как пустяковые. Сексуальность сама по себе была для него грехом и грехом *rag excellence***. И чем старше он становился, тем более непростительным и даже заслуживающим вечного проклятия грехом она ему представлялась. Тотчас после заключения нового брака он, вероятно, был больше склонен приписывать вину жене; однако с течением времени мнение его изменилось. Женившись, он перестал заниматься делами, хотя было ему в то время всего лишь сорок лет; однако доход он имел вполне достаточный, владея в Копенгагене шестью домами и получая солидную выручку благодаря арендной плате. С момента женитьбы он предпочел проводить время в чтении и размышлениях, и в этих условиях маленький проступок вполне мог принять в его воображении необыкновенные размеры.

* ложный шаг, опрометчивый поступок, оплошность (фр.).

** по преимуществу (фр.).

Особенно важным было для него воспитать детей добрыми христианами и прежде всего сделать их неуязвимыми для тех искушений, которые он претерпел сам. Поэтому-то он предъявлял к ним тем большие требования, чем более великим грешником считал себя самого. Что же касается детей, то во всяком случае самый младший, тонкочувствующий и проникательный Сёрен довольно скоро заметил, что за всем этим что-то кроется, — покуда отец в одно опрометчивое мгновение не выдал себя, и юноше, к его ужасу, внезапно открылась связующая все его подозрения нить; и с этого мгновения он вступил на свой собственный путь.

Ему вдруг захотелось сбежать от всеподавляющей отцовской опеки, вырваться, чтобы насладиться жизнью, а не сидеть в монастырской келье вместе со старым лицемером, который проповедовал высокую мораль, а сам жил как грязное животное.

С середины тридцатых годов он большей частью отсутствует в отцовском доме, забрасывает теологические занятия и начинает жизнь праздношатающегося франта. Каждый день он прогуливается вверх и вниз по «Стрёгу», этому копенгагенскому Корсо, идущему от крупнейшей рыночной площади («Конгенс Ниторв»), где находится Королевский театр, до самого края города у его западных ворот, до Вестерпорта. На полпути находилась не столь большая сдвоенная рыночная площадь, Гаммельторв и Ниторв (Старый рынок и Новый рынок), возле последнего возвышалась ратуша, а сразу возле нее, пристроенный к ней, стоял импозантный, ныне снесенный, дом, которым владел и в котором жил Михаэль Педерсен Киркегор; в этом доме сын его провел свое детство и юность. Следовательно, Сёрену было весьма нетрудно ушмыгнуть



Королевский театр (слева) на Конгенс Ниторв

на Стрёг, так что отец мог из своих окон наблюдать, как сын с приятелями прогуливается вверх-вниз с важным видом.

На Стрёге находилось много кафе и ресторанчиков, чьим завсегдатаем бывал Сёрен Киркегор, охотно входивший здесь в долги. Его любили в компаниях, где благодаря своему остроумию он мог держать общество в состоянии неослабевающего внимания. Его друзьями были люди из самых разных слоев: полицейские (особое предпочтение он отдавал полиции уголовной), солидные буржуа, а также литераторы, например Хайберг, в чьем салоне он довольно часто бывал и чьей красавице жене время от времени наносил отдельные визиты. Его интересовали актеры, и в продолжение всей своей жизни он оста-



Философ и поэт
Ф. К. Зибберн

вался завзятым театралом, равно охотно посещая драму и оперу. Что касается балета, то нет никаких доказательств, что он интересовался им, хотя в Копенгагене жил выдающийся балетмейстер Бурнонвиль; то же самое можно сказать и в отношении изобразительного искусства, хотя страна дала такого скульптора, как Торвальдсен, и таких выдающихся живописцев, как Кёбке, предвосхитивший импрессионистов, К. А. Йенсен, чьи портреты выдерживают сравнение с лучшими европейскими образчиками портретного искусства той эпохи, или Марстранд, яркий пейзажист и автор жанровых полотен. Быть может, отчетливая зримость изображения мешала его

собственному внутреннему видению? Быть может, во взрослом состоянии в нем продолжалось то, чему он научился когда-то во время домашних прогулок с отцом: созерцание образов собственной фантазии, а не образов воплощенной действительности? Но более всего он любил музыку, и всегда можно было быть уверенным, что встретишь его на новом оперном спектакле в Королевском театре, особенно если в программе — Моцарт. Позднее, когда он бывал захвачен творческой лихорадкой, случалось такое, что он спешил в театр, чтобы прослушать увертюру к «Дон Жуану», а затем стремительно мчался назад к письменному столу.

Впрочем, был еще и университет, однако с теологами он довел все же дело до разрыва. Зато ходил на лекции философов, извлекая для себя много полезного от общения с двумя отличными педагогами — Зибберном и Полем Мёллером; один — философ и поэт, другой — поэт и философ. Ни у того, ни у другого не было работ, которые оставили бы ощутимый след, однако своим личностным своеобразием они сумели взволновать многих молодых людей, в том числе и Киркегора; оба держались мнения, что философия не может быть отделена от жизни.

Сохранилось письмо Зибберна с любопытным суждением о Киркегоре. Он пишет:

«Я вспоминаю, как однажды, это было еще в его гегелевский период, он встретился мне на Гаммельторв и спросил, в чем заключаются взаимоотношения между философией и реальной жизнью. Это меня изрядно озадачило, поскольку вся моя философия исходила из изучения жизни и реальности, однако позднее я понял, что такой вопрос был вполне естественным в устах мыслителя,

пропитанного Гегелем, ибо гегельянец изучает философию не экзистенциально — как выразился однажды Вельхавен в философской беседе со мной».

Вельхавен был одним из самых выдающихся романтических поэтов Норвегии, и следовательно, он и есть тот человек, которому мы обязаны словом «экзистенциальный», подхваченным Киркегором и обретшим в наше время новое терминологическое значение. В качестве существенного мы этого понятия у Киркегора не найдем.

Зибберн, как и многие в его время, начинал как гегельянец, однако потому-то он и порвал с гегелевской философией, что в ней не было места для жизни, и счесть со своим учителем он свел в сочинении 1838 года, озаглавленном «Заметки к философии Гегеля».

Он много размышлял об эволюционном процессе и выдвинул оригинальную гипотезу спорадического развития, то есть развития, идущего из различных, «рассыпанных» точек и обнаруживающего себя как в физическом, так и в духовном мирах: в химических процессах, в росте плодов, в формировании личности и в общественной эволюции; жизнь есть повсеместное движение, споры всего обо всем. Бытие никогда не предстает готовым, мысль никогда не является законченной, потому-то и не может быть выстроена какая-либо философская система.

В этом месте Зибберн предлагает нечто, что он называет *жизненной поэзией*, а иногда — *жизненной иронией*. Мы застыли в наших привычных жизненных формах и потому не умеем ценить красоты бытия. Если бы, скажем, профессора посвящали несколько часов ежедневно доставке городской почты, а почтальоны тем временем отправились в университет слушать лекции, то и те и другие получили бы от этого и пользу, и новые, острые ощущения поэзии

жизни. На эту тему он написал небольшое очаровательное произведение «Письма Габриэлис», где в поэтической форме изложил свое понимание жизненной поэзии. Это то самое, что Гёте обозначал понятием *искусство жизни* (Lebenskunst); от Гёте Зибберн и отталкивался.

Поль Мёллер был прежде всего поэтом, преимущественно лирическим, и в этом качестве обогатил датскую литературу несколькими прекрасными стихотворениями. Он был почитателем греков и стремился пересадить на датскую почву древнегреческое понимание конкретной, пластически-чувственной красоты. Как философ он не создал ничего, что выдержало бы проверку временем, за исключением сборника афоризмов, вдохновивших Киркегора на его «Диапсалматы». Рассмотренные целостно и суммарно, эти афо-

Поль Мартин Мёллер на смертном одре



ризмы подчеркивают, что личностная честность есть основа любого вида философствования, и иронизируют над любой разновидностью аффектации. «Ложь — это поэзия, приходящая не из жизни», — пишет Мёллер в одном месте, и это его требование ставить на карту свою индивидуальность кое-что значило для молодого Киркегора.

Однако знакомство с этим человеком было недолгим: уже в 1838 году Поль Мёллер умер. Лежа на смертном одре, он послал за Зибберном и попросил его передать Киркегору следующее: «Скажи малышу Киркегору, пусть он обратит внимание вот на что: пусть никогда не перегружает себя учебным планом, мне это очень вредило».

Таким образом, Зибберн и Мёллер были экзистенциальными мыслителями, благодаря чему и имели для Киркегора значение. Однако эта значимость выявила себя позднее, ибо вначале Киркегор не был склонен к обнаружению своего экзистенциализма, между тем как сам экзистировал. Ему хотелось просто жить, быть может из упрямства, дабы освободиться от подавляющего влияния отца. И вот он ринулся в светскую жизнь и в кутежи, но еще и в жаркие дискуссии по животрепещущим вопросам современности. В эти годы, последние годы жизни старого короля Фредерика VI, началась весьма неспешная дискуссия об абсолютизме (бывшем в это время формой правления) и о свободной конституции, переходившая также на цензуру и на свободу печати. Фредерик VI и слышать не хотел о каком бы то ни было посягательстве на свою абсолютную власть, однако все же, испытывая страх перед революцией 1830 года, нашедшей слабый отклик даже в герцогствах Шлезвиг и

Гольштейн, позволил уговорить себя на созыв нескольких провинциальных совещательных сословных собраний (штатов): одного на островах, одного в Ютландии, одного в Шлезвиге и одного в Гольштейне. Какой-либо значимости в делах управления страной они не имели, однако содействовали пробуждению общественного интереса к политическим проблемам и, кроме того, обучали избранных в собрания членов парламентской форме жизни.

Первые выборы в сословные собрания состоялись в 1835 году, и в этом же году двадцатидвухлетний Киркегор делает для членов студенческого союза доклад о ежедневной прессе — тема, которую он продолжил позднее тремя статьями в хайбергском «Временнике». В 1836 году он участвовал в организации музыкального союза, которому вскоре посчастливилось принять в свои члены нового композитора, получившего в будущем мировую известность — Нильса В. Гаде, прославившегося «Эхом Оссиана» и до-минорной Симфонией и затем приглашенного Мендельсоном в Лейпцигский Гевандхаус. Здесь он вначале, поддерживая Мендельсона, работал в качестве дирижера и консультанта, а после смерти маэстро — в качестве единственного дирижера; впрочем, это место он занимал недолго: его тяготило, что об этом месте мечтал Роберт Шуман, а кроме того, вследствие столкновения, произошедшего в 1848 году между Данией и Германией, он стал все больше тосковать по своей первой и настоящей отчизне.

Конечно же, Киркегор включился также и в литературные дискуссии. В 1837 году он был захвачен написанием своей первой книги, где речь шла о Г. Х. Андерсене, который как раз к этому времени сделал себе имя не-



Ганс Христиан Андерсен

сколькими романами, а в 1835 году начал писать сказки. Прежде всего Киркегор взялся за роман «Всего лишь шпильман», где у Андерсена было намерение обрисовать гения в его развитии. Но вот мнение Киркегора: «...это никакой не гений, а скорее жалкий бедолага, ибо гений — это не сальная свеча, гаснущая на ветру, а пожар, который буря лишь раздувает еще больше».

С точки зрения Киркегора, Андерсену «скорее подошло бы проехаться в почтовой карете и посмотреть Европу, нежели обозревать историю сердец», — мнение, смяг-

чать которое у Киркегора никогда не возникало желания. «Жалкий бедолага» никогда не был ему симпатичен, равно как и его сказки, которые слишком сильно напоминали ему о детской и слишком слабо о суровом и жестоком реальном мире.

Андерсен, в котором как в человеке действительно было что-то от «жалкого бедолаги», принял критику молодого литератора близко к сердцу, однако позднее в своей автобиографии «Сказки моей жизни» описал этот инцидент с тонкой иронией:

«Роман «Всего лишь шпильман» на краткое время озаботил одного высокоодаренного молодого человека нашей страны, то был Сёрен Киркегор. На улице, где мы как-то встретились, он сказал мне, что хочет написать о нем рецензию и что уж, верно, она мне понравится больше, чем предыдущие, ибо, добавил он, меня понимают обычно неправильно! Прошло много времени, он прочел книгу еще раз, и первое хорошее впечатление улетучилось; я подозреваю, что чем серьезнее он толковал поэтическое произведение, тем ошибочнее оно становилось, и когда рецензия вышла, она отнюдь меня не порадовала; это оказалась целая книга, думаю, первая, написанная Киркегором, довольно трудная для чтения, с гегелевской неуклюжестью в выражениях. Даже поговаривали шутя, что прочесть ее до конца смогли лишь Киркегор да Андерсен. Называлась она «Из бумаг еще живущего».

Итак, в 1834—1838 годах Киркегор намеревался сделать себе имя, участвуя в общественных дискуссиях, параллельно обретая известность в качестве интеллектуального, остроумного собеседника, принятого в лучших домах, хотя нередко он предпочитал как раз наихудшие.

Сердце же его не принимало участия в этом напряженно-судорожном движении, ибо он жил так из упрямства. Ему хотелось освободиться от своей сильной привязанности к отцу, ему хотелось познать жизнь в ее горечи и в ее сладости, как это и подобает подлинному эстетичу и жизнелюбцу.

Однако достичь этого невозможно, действуя лишь из упрямства. И хотя ему удалось-таки всем внушить, что он бравая, жизнерадостная натура, обмануть себя он не сумел. Тоска — истинное выражение его привязанности к отцу — не хотела выпускать его из своих когтей.

•1836

Только что я вернулся из компании, чьей душой был; шутки лились из меня ручьем, все смеялись, все восхищались мной, однако, и в этом месте тире должно быть таким же длинным, как земные радиусы, —
————— однако я ушел и хотел застрелиться».

Дневник этого времени пестрит полемикой с христианством, однако не в том смысле, чтобы он его совершенно отрицал или полагал Евангелие ложью. Нет, просто христианские требования, внушенные ему еще отцом, казались ему теперь бесчеловечными и нелепыми. У жизни своя правда, между тем христианство не желает с этим считаться. Потому и конфликт между христианством и жизнью, в котором Киркегор выбирает второе.

Да, вроде бы он предпочел жизнь, притом вполне сознательно и исходя из оснований вполне убедительных. Однако в глубинах его души пребывало нечто, остававшееся неубежденным, да и вообще не принимавшее во всем этом участия. «У сердца свои доводы, о которых не ведает

разум». Идеалы, приобретенные в детстве, обладают своей собственной убедительностью, неведомой разуму, и если Киркегор некоторое время и вел беспорядочную жизнь, валял дурака, то не столько потому, чтобы следовать внутренней жажде прожигать жизнь, а скорее из неясного внутреннего беспокойства. Его гнал страх, последней причиной которого была угроза потерять тот надежный якорь, которым была для него вера. Дело не в том, чтобы он начал сомневаться в существовании Бога, нет — он усомнился, является ли Бог Богом любви. И не гегельянство или какое-либо иное философское течение было виновно в этом его сомнении, а та душевная беда отца, то его тихое отчаяние, невольным свидетелем которого он стал, отцовское грехопадение и его страх перед погибелью. Именно наблюдение за отцом и привело его к убеждению, что христианство вместо того, чтобы укреплять человека, лишает его жизнестойкости как таковой. В дневнике об этом так:

«1835

Когда я внимательно рассмотрел большое количество человеческих феноменов из христианской жизни, то мне начало казаться, что христианство, вместо того чтобы даровать им силу... да-да, христианство лишило этих индивидов, если сравнивать их с язычниками, их мужского начала, и соотносятся они сейчас, соответственно, как мерин и жеребец».

В душе молодого Киркегора бушевал мощный конфликт. Все мыслимые доводы и аргументы против христианства извлек и поднял он в доказательство той мысли, что жизнь следует испробовать до донюшка, дабы уви-

деть саму ее изнанку, и временами это доходило до кокетства того рода, что необходимо грешить, дабы научиться серьезнее познавать жизнь, как то и предлагала в свое время одна раннехристианская секта:

♦1837

Обыватели никогда не испытывают ностальгии по неизвестному, далекому Нечто, по глубинам, в нем лежащим, по тому, чтобы стать никем и ничем, отправившись в путь с четырьмя шиллингами в кармане и тонкой камышовой тростью в руке по направлению к Нёрребро; они, конечно, вовсе не подозревают о жизневоззрении (которое исповедовала одна гностическая секта), рекомендуя грешить, дабы познать мир, — и тем не менее даже они говорят: в юности следует перебеситься (♦тот человек не молодец, кто сроду не был пьян♦); они никогда не имели ни малейшего понятия об идее, которая рождается, когда через скрытую, тайную, в крошечной тьме лишь одному предчувствию открытую дверь проникаешь в темное царство стонов, где видишь истерзанные жертвы со-вращений и обманов, где видишь холод искуителя♦.

Он делал все, что было в сфере его возможностей: шлялся по кафе и ресторанам, входил в долги, пил, общался с сомнительными личностями и компаниями, шумно фланируя по Стрегу с сигарой во рту и камышовой тростью в руке. Лекции он запустил, носился с мыслями отказаться от теологии в пользу юриспруденции, однако все же воздержался от этого из уважения к отцу.

Во время одной из таких шумных попок в приятельской компании случилось так, что он соблазнился посе-



Естергаде — часть «Стрёга»

тить один из городских борделей. С некоторой степенью вероятности можно датировать этот эпизод десятым ноября 1836 года. В дневнике об этом сказано с той краткостью, к какой он прибегал всегда, когда фиксировал важнейшие события (если вообще их фиксировал):

«11 ноября 1836

Боже мой, Боже мой (...)

И затем, вероятно в тот же самый день:

«Это звериное хихиканье (...)

В своих фантазиях он был готов познавать мир посредством греха, но реально совершить этот грех, грех *par excellence*, он мог бы лишь в пьяном угаре, однако преодолеть чувство своей вины и свой страх он был не в состоянии; и когда в панике пустился в бегство, его преследовало женское зверино-животное хихиканье, продолжавшее звучать в его ушах даже тогда, когда он, вернувшись домой, кинулся к дневнику и надарапал эти несколько слов: «Боже мой, Боже мой...»

По всей вероятности, это злосчастное приключение Киркегора было его единственной встречей с женщиной как представительницей своего пола.

Землетрясение

Конечно же, отец ничего не знал о посещении сыном публичного дома; но коль скоро он очень мало знал, быть может именно это и давало ему пищу для подозрений сына в гораздо больших распутствах, нежели это было на самом деле. Во всяком случае старик, которому в 1837 году исполнилось восемьдесят лет и который не отличался уже блестящим здоровьем, был глубоко опечален, что его младший, его любимец сбился с пути и пошел широкой, гибельной дорогой греха. Отчаяние его возрастало еще и оттого, что в эти годы он вынужден был наблюдать, как смерть одного за другим уносит членов его семьи.

От второй жены у него было семеро детей: три девочки и четверо мальчиков. Из них один умер еще двенадцатилетним, за ним последовала старшая из дочерей — в возрасте 25 лет. Однако настоящий мор начался с 1832 года, когда умерла вторая дочь; в 1834-м скончался сын и — после короткой болезни — супруга, которая была моло-



Петер Христиан Киркегор (1805—1888), старший брат

же его на двенадцать лет. В 1835 году скончалась последняя из дочерей, и вот теперь оставались только двое сыновей — Сёрен и Петер Христиан, родившийся на семь лет раньше Сёрена. В 1836 году казалось, что и Петер станет жертвой серьезной болезни, от которой он позднее все же оправился; однако жена его, с которой он прожил в браке двенадцать лет, скончалась в 1837 году.

Следует ли удивляться, что старик, одиноко сидевший в своем громадном доме на Ниторв, был захвачен мыслями об этих ударах рока. И не было у него желания большего, нежели увидеть своих детей на пути к спасению, а затем покинуть эту юдоль печали. А вместо этого он вынужден был наблюдать, как оба этих вполне жизнестойких молодых человека устремляются как раз именно в эту юдоль. И еще ему казалось, что один из двух оставшихся — зеница его ока, его гордость — отрекается ото всего того, что он, отец, внушал ему, начиная с раннего детства. Он чувствовал себя Иовом на пепелище, ненужным самому себе, покинутым, угрюмым, ограбленным теми, кто был ему дорог. Правда, он был богат, у него были деньги в банке, дома и ценные бумаги, но какую цену все это сейчас для него имело? Все, что можно было купить за деньги, не обладало более для него притягательной силой. Вероятно, у него было чувство, что над ним тяготеет проклятье, божья кара в ветхозаветном смысле слова, и его судьба — лишиться жены и детей и быть оставленным наедине со своим богатством. Не предстояло ли ему пережить всех и наблюдать, как его деньги превращаются в ничто, ибо для него-то они уже не имели никакой ценности и уже не осталось бы пикого, кто мог бы унаследовать их? Из пяти его умерших детей ни один не перешагнул рубежа тридцати трех лет — возраста Иисуса на момент его смерти. Не постигнет ли и двоих последних та же судьба?

Отец доверил эти мысли сыну, и, вероятно, это получило у него неожиданный отклик. Возбудить фантазию Сёрена было нетрудно, чему, кстати, отец сам прежде и способствовал своим оригинальным воспитательным методом. В конце концов отец и сын пришли к единому мне-



*Сёрен Киркегор в возрасте 23 лет.
Гравюра на дереве. 1836*

нию, что обоим оставшимся в живых сыновьям предстоит умереть, не достигнув 33-летнего возраста: Петеру Христиану — в 1841-м, а Сёрену — в 1847 году, — и что отцу придется пережить их обоих. Мысль эта была родственна тем играм воображения, которым они предавались, когда Сёрен был еще ребенком, и вот сейчас эти игры получили

весьма своеобразное продолжение, когда граница между игрой и серьезностью, иллюзией и действительностью была уже просто упразднена. Лишь таким вот способом сумели они найти хоть какой-то смысл в произволе бытия. Они играли в эту игру у подножия той горы, на которой Авраам собирался принести своего сына в жертву.

И все же несмотря на это в Сёрене жажда жизни вновь одержала победу над аскезой и очарованностью смертью. Хотя многочисленные смерти на время и сблизили отца с сыном, равно как совместные их фантазии образовали между ними нечто вроде союза, однако Сёрен отнюдь не собирался отказываться от жизни завязатого бонвивана, что в конце концов и переполнило чашу стариковского терпения. Сёрен ушел из дома, сняв комнату в городе; впрочем, он был обеспечен более чем достаточной ежемесячной суммой, а кроме того отец взялся погасить его долги, составлявшие 1262 имперских талера. Однако разлука была недолгой. Хотя Сёрену и казалось, что наконец-то он бросится в объятия жизни, вышло все по-другому. Разлука открыла ему глаза на ценность дома, отец же, которому явно не так уж долго оставалось жить, остро ощущал его отсутствие и в конце концов настойчиво попросил сына вернуться. Эскапада длилась полгода, и свое 25-летие Сёрен праздновал уже в отчем доме.

По всей видимости, отец использовал это обстоятельство, чтобы объяснить с сыном. Нам постоянно приходится довольствоваться догадками, опирающимися на туманные дневниковые пометы или же на фразы из писем, причем и то и другое чаще всего — из значительно более поздней поры. И все же едва ли будет ошибочным предположить, что старец, чувствующий себя стоящим одной ногой в могиле, был глубоко озабочен проблемой

вечного блаженства и потому не уставал упрекать себя. Из своих промахов в отношениях с женой он уже не делал никакой тайны; скорее даже преувеличивал свою вину, а Сёрен, со своей стороны, был вынужден его успокаивать, стремясь убедить, что уступить своей чувственности отнюдь не есть непростительный грех. И вероятно, эти увещания Сёрена (а быть может, Петера Христиана) в конце концов подвигли старика на то, чтобы дать волю своему измученному сердцу и признаться перед сыновьями в том, что в его душе есть еще более глубокие бездны и еще более страшные факты, которых он ужасается, и что он должен рассказать обо всем этом сыновьям, дабы хоть немного облегчить душу. И вслед за этим он поведал им, как однажды, будучи еще ребенком, совершил самый страшный из всех грехов: проклял Бога. Непосредственно об этом происшествии упоминается в дневниках лишь значительно более поздней поры:

«1846

Ужасающий случай с человеком, который когда-то маленьким мальчиком пас овец в степях Ютландии, терпя множество лишений, голодая, бедствуя; и вот однажды он взобрался на холм и проклял оттуда Бога. И в свои восемьдесят два года он не мог забыть об этом».

Разумеется, Петер Христиан тоже знал об этом случае, и у нас есть свидетельство из значительно более позднего времени. Передано оно человеком, собравшим рукописи Сёрена Киркегора и впервые их издавшим, — Х. П. Варфодом. Когда в 1865 году он нашел вышеупомянутую запись, то показал ее Петеру Христиану, бывшему

в то время епископом в Аальборге (Ютландия). Вот что он пишет:

«Когда я показал епископу это место, он заплакал и произнес: «Это история моего отца, да и наша тоже», после чего рассказал подробности, приводить которые здесь у меня нет права...»

Между тем подробности эти он изложил в одном из своих писем, где говорится следующее:

«В феврале или в марте 1865 года я показал епископу К. этот маленький фрагмент, и он его странно растрогал. После чего он рассказал мне нижеследующее, без сомнения являющееся ключом к мрачным тайнам семьи Киркегоров. Старый М. П. К. — торговец чулками — в свои детские годы пас овец на ютландских пастбищах и частенько чувствовал себя бесконечно несчастным. Он страдал от голода и холода, а летом от палящего солнца, он был представлен лишь самому себе да животному царству, одинокий и несчастный. И вот когда однажды мальчишка (в Копенгаген он прибыл в 1768 году, одиннадцати или двенадцати лет, и инцидент, скорее всего, произошел до этого. — *Автор*) был переполнен таким своим настроением, ощущением своей чудовищной покинутости, он взобрался на камень, лежавший посреди луга, и, возведя лицо и взор к небесам, «проклял Бога господ, который, если бы он был, разве бы допустил, чтобы так страдал беспомощный, несчастный ребенок, и не пришел ему на помощь?»

Память об этом проклятье так и не изгладилась из души мальчика, затем — мужчины, старца. И поскольку как раз с того мгновенья Божья милость вдруг осенила его, осыпав всевозможными благами этого временного мира, так что вместо того, чтобы ощущать Божий гнев, он обнаружил себя постепенно награжденным богатством,

чудесными, талантливыми детьми, всеобщим уважением, — его охватил глубочайший страх. Оказывается, Бог существовал, Бог пришел ему на помощь, а он этого Бога проклял; разве это не тот грех против Духа Святого, что никогда не будет прощен? Потому-то душа старика и была полна страха, потому-то мысленным взором он видел своих детей охваченными «тихим отчаянием», потому-то и взвалил на их детские плечи суровые требования христианства, потому-то многие годы сам был добычей тревог и душевных терзаний».

Большинству история эта покажется утрированной. Да, конечно же, она не может не вызвать чувства сострадания к маленькому человечку, в нужде и одиночестве впадшему в отчаяние, однако сами по себе эти нужда и одиночество вполне могут показаться преувеличенными и даже вызвать улыбку. И все же это было более чем серьезно для самого героя истории, равно как для обеих сыновей, в особенности для Сёрена, для которого узнать об этом инциденте из уст отца было потрясающим переживанием, ибо внезапно он ощутил с отцом ту общность, какой никогда до тех пор не испытывал. Раньше Сёрен ощущал отчуждение от отца, ибо ему не нравилась вся эта история с женщиной, которой предстояло потом стать его матерью; однако он не мог не поумерить своего возмущения после того, как сам впал в сексуальный соблазн.

К этому добавился и еще один, гораздо более важный, момент: подобно отцу, проклявшему в детстве Бога, сын, уже будучи взрослым, от этого Бога отвернулся, отказываясь видеть в нем Бога любви и вечного спасения. Не были ли, если посмотреть внимательно, два эти греха одинаковыми? И не было ли, таким образом, очевидно, что на семье лежало проклятье? Внезап-

но, в свете этой мысли, он понял, что именно подразумевается под первородным грехом. И вот это переживание, это внезапное знание он и назвал «великим землетрясением».

•1838

И вот случилось так, что произошло великое землетрясение, ужасный переворот, навязавший мне внезапно новый, безошибочный критерий для понимания всего. Мне вдруг стало ясно, что преклонный возраст отца был не божественным благословением, а скорее проклятием; что блестящие дарования членов нашей семьи даны лишь к тому, чтобы мы обессиливали друг друга; я почувствовал, как растет вокруг меня тишина смерти, — после того, как увидел в отце несчастного, коему предстоит всех нас пережить, — кладбищенский крест на могиле всех его надежд. Должно быть на всей нашей семье лежит грех, должно быть Божья кара распростерлась над ней. Семья наша должна исчезнуть, должна быть стерта могучей Божьей дланью, должна быть забыта как неудавшаяся попытка. Иногда, правда, я находил некоторое утешение в мысли, что на моего отца был возложен нелегкий долг дать нам религиозное успокоение, объяснив, что нам, без сомнения, откроется лучший мир, даже если мы все потеряем в этом, даже если на нас ляжет кара, насылавшаяся иудеями на своих врагов: даже если память о нас совершенно изгладится и никто о нас знать не будет...»

Однако едва Сёрену Киркегору удалось отыскать лейтмотив, связующий в целостное единство различные об-

стоятельства в жизни семьи, как единство это было заново взорвано. Ибо лишь несколько месяцев спустя случилось то единственное, чего с позиций нового его знания случиться никак не могло: отец умер. Восьмого августа, после нескольких дней болезни, он тихо скончался. «Смерть отца была для меня ужасным потрясением. Сколь громадно было это событие, о том я никогда никому не говорил», — писал он десять лет спустя, в 1848 году, в своем дневнике. В чем суть потрясения, о котором он пишет, догадаться нетрудно. Если «землетрясение» разоблачений привело его к знанию, что все дети умрут молодыми, а отец их всех переживет, то смерть отца, опровергнув это знание, не могла не быть воспринята как новое землетрясение. Тем не менее он, как и прежде, цеплялся за гипотезу, что и ему, и его брату предстоит умереть, не достигнув тридцати четырех лет. Когда в 1848* году брат приблизился вплотную к критической временной точке, Сёрен был в таком недоумении, что полез в церковную книгу, чтобы удостовериться в правильности года его рождения.

Между тем игнорировать тот факт, что отец мертв, было нельзя. Отец умер, и тем самым миф, будто бы ему предстоит пережить всех своих детей, рухнул. Однако, чтобы жить, Киркегор нуждался в мифе и мифологии, и потому он выдумал новый миф: смерть отца есть отцовский наказ сыну. Он пишет:

«11 августа 1838

Отец умер в среду (8 числа. — *Автор*) ночью, в два часа. Моим заветным желанием было, чтобы он прожил еще несколько лет, и смерть его я рассматриваю

* По-видимому, имеется в виду 1841 год. — *Прим. перев.*



Семейная могила Киркегоров

как ту последнюю жертву, что он принес мне из своей любви ко мне. Ибо не от меня он ушел, но — ради меня, он ушел затем, чтобы из меня, если возможно, что-нибудь еще могло выйти...»

В свое время отец упорно и рьяно увещевал Сёрена в том, чтобы тот собрался с силами и сдал госэкзамен по теологии. Каждый раз Сёрен выискивал наилучшие диалектические доводы в пользу нежелательности этого. Сейчас же он не мог более, как он выражался, обманывать старика своим пустословием.

И потому он спешно начал действовать. Став состоятельным молодым человеком, имеющим 30 тысяч имперских талеров в надежных бумагах, он бросил давать уроки, чем изредка занимался, снял удобную квартиру (большой дом на Ниторв занял брат) и погрузился в учебу. Выполнив всю программу в кратчайший срок, он уже через два года осуществил заветное желание отца — стал-таки кандидатом теологии.

Регина, или Поэтическая муза

То, что Киркегор вдруг так энергично стал сдавать экзамены, — и это после многолетнего пренебрежения к систематической учебе, — прежде всего, несомненно, объясняется оглядкой на отца, которого ныне, когда он уже был мертв, нельзя было более *обманывать пустой болтовней*. Однако была все же еще и иная причина, вызвавшая в нем прилив энергии: он был влюблен и собирался жениться.

Уже весной 1837 года он вынашивал этот план. Избранницей его была молодая девушка из буржуазных ко-

пенгагенских кругов — Болетта Рёрдам, принадлежавшая к очень известному в Копенгагене семейству священнослужителей, еще и сегодня продолжающему подпитывать датскую духовность. Правда, она уже была обручена с одним кандидатом теологии, однако это не смущало Киркегора; он был настолько уверен в симпатиях к себе девушки, что ни на минуту не сомневался в победе над соперником. Однако у него был враг, доставивший гораздо больше хлопот: то была его собственная совесть, говорившая ему, что он не имеет права связывать с собой юную женщину, покуда не поведаст ей о тайнах своей жизни, о своих сексуальных прегрешениях, а также о прегрешениях своего отца. Его *vita ante acta*, его прошлое, словно тяжелая каменная глыба, лежало между ним и счастьем, которого он жаждал. Но как было ему, в совершенстве умеющему разыгрывать роль остроумного и находчивого Дон Жуана, открыть свои сердечные недуги и беды столь юной и невинной девушке, к тому же едва ли вообще подозревающей о возможности существования столь жутких вещей?

Из дневника явствует, что Киркегор много раз направлялся к Боlette, чтобы объясниться, но каждый раз возвращался с полпути, застигаемый страхом и тоской перед очевидной безнадежностью своего намерения. Его комплексы перекрывали ему гортань, парализуя инициативу. В конце концов он все же заставил себя прийти к ней, но разговора не получилось; ни с чем вернулся он в свое одинокое жилище.

Так продолжалось некоторое время, покуда одним прекрасным днем, когда он как раз был у Боlette, не произошло нечто, все разом перевернувшее. Ибо там он познакомился — случилось это в мае 1837 года — с дру-



Регина Ольсен (1822—1904). Портрет Е. Д. Бэрентцена

гой молодой девушкой, еще более юной, чем Болетта, — с одной из ее подруг, пятнадцатилетней школьницей Региной Ольсен, дочерью заведующего главным финансовым ведомством советника Теркеда Ольсен.

Киркегор пришел без предупреждения и застал общество из восьми молоденьких девушек, которые вначале, при появлении молодого человека, пришли в некоторое смущение, поскольку репутация его была отнюдь не безукоризненна, однако довольно скоро он сумел с помощью парадоксов и веселых фантазий, а также столь свойственных ему переливов иронии и приветливости завязать беседу:

«Мне удалось-таки перевести всеобщее внимание и разговор на тему, в каких случаях помолвку следует расторгнуть. Покуда взор мой в этом девичьем цветнике наслаждался порханьем от цветка к цветку, с удовольствием задерживаясь то на одной, то на другой красавице, а внешний слух упивался музыкой их голосов, внутренний слух был занят тем, что внимательнейше все подмечал. Порой одного-единственного слова было мне довольно, чтобы заглянуть в сердце юной девушки и прочесть его историю. Сколь все же увлекательны пути любви и сколь любопытно исследовать, как далеко каждая из них прошла по ним. Я продолжал непрерывно подливать масла в огонь; остроты, шутки и эстетическая объективность помогли мне несколько оживить и расковать атмосферу, не выходя за рамки строгих приличий. Покуда мы таким образом шутливо и легко блуждали по тропинкам нашей беседы, сохранялась возможность каким-нибудь одним словом смутить добрые девичьи сердца.

Такая возможность всегда у меня была, хотя девушки не понимали этого, едва ли они о том и подозревали. Легкая игра нашей болтовни в каждое из мгновений отстраняла эту опасность подобно тому, как Шехерезада своим рассказом отдаляла исполнение смертного себе приговора. Я то доводил беседу до предельно грустной ноты, то давал в полноте выплеснуться озорству девушек, то провоцировал их на диалектические игры... Постоянно подбрасывал при этом новые примеры. Так, я рассказал о юной девушке, разорвать помолвку которую вынудили жестокие родители. Эту печальную историю все слушали со слезами на глазах. Рассказал я и о человеке, который разорвал помолвку, приведя два довода: во-первых, девушка была, по его мнению, чересчур высокой, а во-вторых, он забыл встать на колени, объясняясь ей в любви. Когда же я возразил ему, что доводы эти никак нельзя считать достаточными, он ответил: — Отнюдь, их как раз вполне достаточно, чтобы достичь желаемого, ибо ни один человек не сумеет вразумительно на них возразить. — Затем я предложил нашему собранию одну довольно-таки щекотливую ситуацию. Молоденькая девушка отказала жениху, так как убедилась, что они не подходят друг другу. Влюбленный пытался ее образумить, убеждая в том, как сильно он ее любит, на что она ответила: — Одно из двух. Либо меж нами есть внутренняя гармония, подлинное взаимное согласие, и тогда ты не можешь не подтвердить, что мы не подходим друг другу. Либо мы внутренне не гармонизируем, и тогда ты не можешь не признать, что мы не подходим друг другу. — Было одно удовольствие наблюдать, как юные девушки ломали себе головы, пы-

таясь уразуметь столь загадочные силлогизмы, и все же я отчетливо заметил, что некоторые из них прекрасно меня поняли, ибо когда дело касается такого предмета, как расторжение помолвки, каждая юная девушка становится прирожденным казуистом. Я думаю, когда речь заходит о том, в каких именно случаях позволительно разорвать помолвку, мне было бы легче спорить с самим Вельзевулом, нежели с юной девушкой».

Это цитата из книги «Или — Или», из раздела, который называется «Дневник обольстителя», где вообще довольно много сцен, весьма точно передающих то, что происходило между Киркегором и Региной; к приведенной выше сцене это относится в полной мере. Столь подробные разговоры о разорванной помолвке, по всей вероятности, метили в Болетту, все еще державшуюся за своего теолога и не спешившую менять его на нового кандидата, внезапно объявившегося в поле ее зрения. И если это действительно было так, то молодой человек вполне мог переключить свое внимание на других юных красавиц, быть может на одну из тех, кто отлично понял, на что он, собственно, намекал. Болетта была быстро забыта, предоставленная своему жениху. Впрочем, бедняжке не много было от него радости: он умер год спустя от туберкулеза, и замуж она вышла лишь в 1857 году, двадцать лет спустя.

Все страстные чувства Киркегора были с того майского дня 1837 года перенесены на Регину. Она была почти совсем еще дитя, впрочем прекрасное и одаренное дитя, и все же о том, чтобы сделать ей предложение, покуда не могло быть и речи. Скорее речь могла идти о том, чтобы подготовиться к экзамену, позаботившись о приличном

доходе ко дню, когда можно будет претворить мечту в действительность.

Два последующих года были тоже довольно-таки богаты событиями в его обычно столь событийно бедной жизни. То было время, когда он ушел из дому. В марте следующего года умер Поль Мёллер, и из дневника мы узнаем, что смерть эта произвела на Киркегора сильное впечатление, а кроме того, она поставила практический вопрос, не является ли он тем ближайшим к Мёллеру человеком, которому следует передать освободившееся место на кафедре философии. Начав вскоре после этого работать над диссертацией, Киркегор, вероятно, не мог не думать об этом обстоятельстве. Темой своей диссертационной работы он избрал понятие иронии, рассмотренное с постоянным обращением к Сократу; что, кстати, было совершенно в духе Поля Мёллера.

Потом было возвращение в отчий дом, исповедь отца, «землетрясение», отцовская смерть и новое «землетрясение», а спустя месяц, в сентябре 1838 года, вышла его первая книга — небольшая критическая работа о Г. Х. Андерсене под загадочным названием «Из бумаг еще живущего», непонятым всем, кроме самого Киркегора, исходившего из молчаливого предположения, что умереть ему суждено, не достигнув возраста 34 лет. Следовательно, жить ему оставалось максимум девять лет и был он, значит, *еще живущим*. Вот это как раз и характерно для Киркегора: он не преминул намекнуть таким образом на нечто в высшей степени тайное и в высшей степени личное, на то, что он, между прочим, хотел бы укрыть от людей любой ценой.

Все это время он не виделся с Региной или почти не виделся. Летом 1840 года — в это время ему 27 лет — он

сдал наконец экзамены и сразу же после этого совершил своего рода паломничество в Западную Ютландию, на родину отца.

Киркегору было нетрудно вжиться в атмосферу, витавшую над этой меланхолической местностью, — в ту пору меланхолической еще в гораздо большей степени, нежели сейчас, ибо тогда вересковая степь захватила почти весь ютландский полуостров, что грозило вытеснить и без того не слишком многочисленное его население.

То были времена, когда в пасторе Стине Стинсене Блихере полупустыня нашла своего великого певца. Вступительные строки его новеллы «Торговец чулками» — это словно бы олицетворение самой степной души, а также, впрочем, и души Киркегора:

«Порою, когда я бродяжил по просторам этой великой полупустыни, где видел вокруг себя лишь коричневатый вереск, а над собою — голубое небо; когда я бродил здесь вдали от людей и от памятников их торопливой деловитости, кои в сущности всего лишь кротовые норы, которые когда-нибудь сровняет с землей время или какой-нибудь беспокойный Тамерлан; когда я шлялся там с легким сердцем, горделиво переполненный своей свободой, словно бедуин, не загоняющий в клочок земли ни своего дома, ни своего поля, но владеющий всем, что он видит, не проживающий там-то и там-то, но — гуляющий, где он хочет; и когда при этом мой широко и свободно странствующий взор вдруг замечал на горизонте жилое строение и бывал тем неприятно заторможен в своем легком полете, — тогда порою во мне возникало желание, — да простит меня Господь за эти мимолетные мысли, ибо ведь и были они лишь мимолетностями, — желание такого рода: о, если бы кто убрал отсюда все эти человечьи жилища!

Ведь проживают в них заботы, тяготы и беды, в них ссорятся и бранятся, в них спорят: мое — твое! Но эта вот счастливая пустыня — моя точно так же, как и твоя, она принадлежит всем, и она не принадлежит никому».

В полный унисон этому Киркегор описывает в дневнике одного беззаботного человека нищенского облика:

«Июль 1840

Бродил в окрестностях Хальда. Встретил там пожилого человека, который беззаботно возлежал в вереске на спине, с одной лишь палкой в руке. Мы пошли вместе к мельнице возле Нона. Проходили мимо струящегося водного потока, который называется Кольдбек. Он стал уверять, что это целебнейшая вода во всей округе, после чего спустился вниз, улегся на живот во весь свой рост и стал пить. Мы пошли дальше, и вскоре он признался мне, что, собственно, отправился просить милостыню.

Но что за счастливая у него жизнь! Как беспечно лежал он в своем вереске и спал, с каким абсолютным удовольствием вкушал прохладную воду! А если он, быть может, и спит несколько дольше, нежели другие, то ведь у него же нет дел на бирже. И когда он доберется до какого-нибудь местечка, он поприветствует общество, посетует на трудные времена, попечалится, что «не сумел обратиться к королю в Виборге, а ведь там не было никого, кто бы получил меньше двух имперских талеров», после чего ему покажут для ночлега его место в людской...

И это жизнь, которую нас приучили презирать! А мы? Вкалываем и надрываемся — вот и вся наша жизнь».

И вслед за этой записью следующая, быть может в тот же самый день:

«Мое несчастье, вообще говоря, в том, что покуда я вынашиваю идеи, я внутренне устремлен к идеалу; оттого-то я и рожаю на свет уродов и оттого-то действительность никогда не соответствует моим страстным томленьям. Дай-то Бог, чтобы такого не случилось со мной в любви. Ибо и там тоже меня охватывает тайный страх: а не перепутал ли я идеал с действительностью. Да не допустит этого Господь! Ведь этого же еще не случилось.

Но сам этот страх и приводит к тому, что, желая заглянуть в грядущее, я как раз его-то и боюсь!»

Киркегор всегда стремился укрыть свое прошлое, оставив при этом все же выставленным его краешек, дабы можно было догадываться об укрытом, и точно так же ему очень хотелось вызнать что-нибудь о своем будущем, и однако при этом он боялся его. Он называет это состояние страхом, подразумевая под этим тот страх, в котором нет ничего определенного и который действует одновременно и пугающе, и влекуще.

Точно так же обстояло дело и с его эротической сферой. Здесь он тоже доводил идеализацию до крайности, хотя его рациональное «я» в это же самое время великолепно понимало, что действительность никак не может исполнять идеальных к себе требований. Потому-то он и испытывал беспокойство, неуверенность, тоску и боль — одним словом, страх, страх своего прошлого, страх самого себя, страх своей жизни и своей любви.

И все же путешествие укрепило его в мысли, что вре-



Сёрен Киркегор. Рисунок Нильса Христиана Киркегора. 1838

мя действовать пришло. Он увидел обстановку, в которой вырос его отец, намного лучше стал понимать его трагедию, исполнив тем самым свой долг в отношении прошлого. Теперь дело было за будущим. В данный момент следовало действовать. Следовало начать новую жизнь или, точнее: только сейчас впервые и должна была всерьез на-

чатся жизнь. А жизнь теперь у него ассоциировалась с той юной девушкой, на которую он некогда бросил взгляд. Сейчас она уже была, хотя все еще очень юной, однако уже не ребенком, а взрослой.

Поэтому, едва возвратившись домой, он отправился к ней и, застав ее дома одну, открыл ей свое сердце, ничуть не удивившись, услышав в ответ немедленное «да».

Но уже два дня спустя в нем проснулись угрызения совести. Призраки, обитавшие в его душе и совсем не готовые следовать за ним в его попытке прорваться вперед, начали протестовать, напоминая ему о его прошлом, о его *vita ante acta*, о родовой вине, к которой он причастен, а также о меланхолии, от которой, и он это знал, он никогда не сумеет избавиться. Мог ли он заставить участвовать во всем этом юную, неопытную девушку? Муки совести, которые он несколькими годами раньше испытывал в отношении Болетты Рёрдам, сейчас проснулись вновь, тысячекратно усилившиеся, поскольку Регина была моложе Болетты, а сам он стал старше. Ведь они с Региной не были двумя равными и вполне подходящими друг другу; она была юной и совсем ничего не знающей о мире, он же был бесконечно более старшим и опытным мужчиной. Однако послушаем его самого:

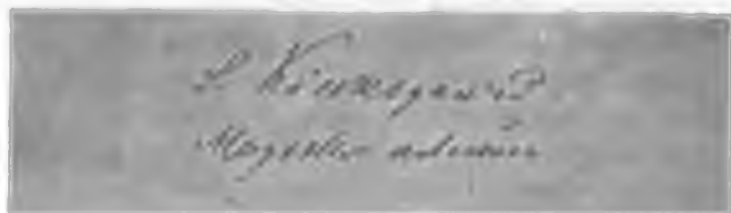
• 24 августа 1849

Летом 1840 сдал государственный экзамен по теологии.

Сразу же после этого побывал у нее дома. Потом уехал в Ютландию, но уже в тот раз, кажется, чуточку приблизил ее к себе (хотя бы тем, что снабдил на время своего отсутствия книгами, обязав в одной из них прочесть отмеченные мной места).

В августе я вернулся. Время с 9 августа по сентябрь можно в строгом смысле обозначить как время моего с ней сближения.

Восьмого сентября вышел из дому с твердым намерением все разрешить. Мы встретились на улице как раз напротив ее дома. Она обмолвилась, что дома никого нет. У меня хватило безумной отваги понять это как приглашение, как именно то, в чем я нуждался. И вот мы оказались с ней наедине в гостиной. Она слегка нервничала. Я попросил ее немного поиграть, как она обычно и делала. Она поиграла, однако у меня дело не шло на лад. Тогда я беру внезапно нотную тетрадь, довольно шумно ее захопываю, швыряю через рояль и говорю: ах, зачем мне музыка, ведь на самом деле я ищу вас, уже два года я вас ищу. Она потеряла дар речи. Впрочем, я ничуть не стремился ее обольстить; напротив, я предостерегал ее, в частности против моей меланхолии. Когда же она заговорила о своих отношениях со Шлегелем, я сказал: отношения эти не суть важны, ибо я притязую на главную роль. (N. В. Хотя, впрочем, о Шлегеле она говорила десятого, восьмого она не произнесла о нем ни слова.) В основном она молчала. Наконец я ушел, потому что боялся, что кто-нибудь придет, застанет нас вдвоем и заметит, как



она взволнована. Не откладывая, я поднялся наверх к советнику. Помню, что я испытывал ужасный страх, не слишком сильно ли взволновал ее наш разговор и потом — не даст ли мой визит повода к каким-нибудь недоразумениям или даже — не повредит ли он ее репутации.

Отец не сказал ни да, ни нет, однако, как я легко заметил, в общем был настроен явно позитивно. Я настоял на новой встрече, мы встретились десятого сентября после обеда. Мне не понадобилось никаких речей — она тотчас сказала «да».

Здесь же я представился всему ее семейству. Особенно любезным я старался быть с отцом, о котором, впрочем, всегда был наилучшего мнения.

Но что творилось у меня внутри... Уже на второй день я понял, что совершил ошибку. Я грешник, несущий покаяние, у меня есть моя *vita ante acta*, при мне моя меланхолия, — этого достаточно.

Страдания мои в те дни неописуемы.

Она же, казалось, ничего не замечала. Под конец она стала так высокомерно-шаловлива, что однажды заявила, будто приняла меня из жалости, короче — подобного озорства я никогда прежде не видел.

В каком-то смысле это и есть самое опасное. Если она не принимает это близко к сердцу, думал я, не принимает настолько, что, как она сама однажды выразилась, «если бы она поверила, что я хожу по привычке, то немедленно бы все прекратила», если это так мало задевает ее за живое, — что ж, тогда она мне и поможет. И я обрел спокойствие. Хотя не могу не признать, что на какое-то мгновение я почувствовал возле Регины гнев.

Я стал действовать активнее — она уступает мне не шутя. Однако появилась другая крайность — исключительная покорность «из пиетета». Это то, в чем я до некоторой степени виновен сам и за что несу ответственность, ибо, слишком ясно видя наперед все трудности наших взаимоотношений, а также предвидя, что для преодоления моей меланхолии, если это вообще возможно, мне понадобится вся мыслимая власть и сила, я как-то сказал ей: сдайся, смири свою гордость, и этим ты поможешь мне. То были абсолютно правдивые слова, искренние и откровенные по отношению к ней и предательски-меланхолические для меня самого.

Разумеется, тотчас же моя меланхолия пробудилась, ибо покорность Регины вновь означала, что на меня ложится ответственность такого масштаба, какой вообще только возможен, в то время как возьми она на себя всю ответственность, это освободило бы от «ответственности» меня самого. Одним словом, вижу: разрыв неизбежен. Мое мнение таково же, что и тогдашние мои мысли: это Божья мне кара.

Совершенно не могу понять, какое, собственно, эротическое впечатление произвела она на меня. Капитулировала она передо мной почти благоговейно, моля любить ее, и это до такой степени тронуло меня, что я готов был ради нее поставить на карту все. Как сильно я ее любил, видно хотя бы из того, что я долго пытался скрыть от самого себя именно то обстоятельство, как сильно она меня, собственно, растрогала. Но, конечно, к эротике это едва ли имеет отношение.

Если бы на мне не лежало Божье проклятье, а за спиной не стояла моя *vita ante acta*, и если бы мелан-

Dear Reginald!

[illegible]

Недатированное письмо Киркегора к Регине Ольсен

хотя бы не владела мною — союз с ней сделал бы меня таким счастливым, какого и представить себе невозможно. Даже когда я вынужден был сказать — ибо я,

увы, это я, — что в моем несчастье я все же буду счастливее, если буду без нее, нежели с ней, — она вела себя так трогательно, что я бы с величайшей охотой все для нее сделал.

Все-таки она немножко догадывалась, что со мной. Ибо все чаще у нее вырывалось: ты никогда не радуешься, так что я не могу понять, могу ли я оставаться с тобой. А однажды сказала, что не желает меня ни о чем расспрашивать, но хочет просто быть рядом со мной.

Но Бог против, я так это истолковал. Венчание. Я всячески замалчивал эту тему...

И вот я написал ей и отправил кольцо. Записка дословно приводится в «Психологическом эксперименте». Хочу быть дотошно историчным. Я никому, ни единому человеку не рассказывал об этом, ибо я молчаливее, чем могила. И если когда-нибудь она захочет почитать эту книгу, пусть она навеет ей воспоминания...

И как же она поступила? В своем женском отчаянии она перешла все границы. Вероятно, осознавая, в какой я тоске и меланхолии, она решила запугать меня до крайности. Однако произошло обратное. Хотя она действительно испугала меня до крайности, однако во мне поднялась внезапно гигантская волна сопротивления, желание освободиться. Оставалось одно-единственное — изо всех сил противостоять.

То было ужасно мучительное время: стараться быть жестоким, продолжая любить. А она боролась как львица, и если бы я не знал, что во мне действует Божье сопротивление, — она бы победила.



Эмиль Бёзен (1812—1881) — единственный друг Киркегора

В эти два месяца, исполненных обмана, я, пытаюсь быть заботливо-предусмотрительным, время от времени говорил ей совершенно напрямик: отступись же, позволь мне уйти; ты не выдержишь этого. На что

она страстно отвечала, что предпочтет все выдержать, нежели дать мне уйти.

Кроме того, я предлагал ей иной поворот: пусть отказ исходит от нее, и таким образом она избежит всех обид. Но и этого она не захотела, заявив, что коли она выдержала так много, то выдержит и остальное, заметив вполне сократически, что едва ли найдется кто-либо, кто позволит что-нибудь сказать в ее присутствии, а то, что говорят о ней за ее спиной, ей совершенно безразлично.

Разрыв случился примерно два месяца спустя. Она была в отчаянии. Впервые в жизни я ругался. Это было единственное, что можно было сделать.

От нее я напрямик пошел в театр, так как думал встретиться там с Эмилем Бёзеном. (Из этого обстоятельства в свое время выдумали историю, ходившую по городу, будто бы я, достав часы, обратился к семье: если у вас есть что сказать, поспешите, поскольку мне нужно в театр.) Первый акт уже прошел. Когда я выходил из своего второго партера, из первого партера вышел финансовый советник и сказал: могу я с вами поговорить? И мы пошли к нему домой. Она — в отчаянии. Он говорит мне: она не переживет этого, она в совершенном отчаянии. Я отвечаю: я попытаюсь ее успокоить, однако дело это решенное. Он говорит: я человек гордый; все это жестоко; и все же я прошу вас не порывать с ней. Право, он вел себя благородно, он взволновал меня. И все же я остался при своем. Мы поужинали с ним вместе. Уходя, я поговорил с ней. На следующее утро я получил от него письмо, он писал, что она всю ночь не спала, что я должен прийти и присмотреть за ней. Я пришел

и поговорил с ней весьма рассудительно. Она спросила: ведь ты никогда не женишься? Я возразил: как же, лет этак через десять, когда остепенюсь, мне понадобится молоденькая девушка, дабы помолодеть. Необходимая жестокость. Потом она сказала: прости меня за все, что я тебе сделала. Я ответил: если кто и должен об этом просить, то я. Она сказала: обещай думать обо мне. Я обещал. Она сказала: поцелуй меня. Я сделал это — но бесстрастно. О милосердный Боже!

Она достала маленькую записочку, в которой было словечко, написанное мной, обычно она носила ее на груди; и вот она достала ее, тихо разорвала на мелкие кусочки и сказала: ты сыграл со мной ужасную игру.

Она сказала: ты же ни капельки не любишь меня; я отвечал: если ты желаешь продолжать в том же духе, то да, я не люблю тебя...

Разорвать отношения, выступив в роли негодяя, а если возможно, то и в роли отъявленного негодяя, — был единственный способ вновь стать свободным, дав ей при этом стимул для нового брака. Однако при всем при этом я был изысканнейше учтив. При моей сноровке мне было бы совсем нетрудно удалиться под благовидным предлогом. Что подобный образ действий есть именно учтивость, хорошо показал молодой человек у Константина Констанциуса, и я вполне солидарен с ним.

Так мы расстались. Правда такова: в тот же день, когда я получил от нее все мои вещи и т. п., я написал финансовому советнику письмо, которое он возвратил нераспечатанным. По ночам я лежал в постели и плакал. Но днем был привычно тем же и даже более ша-

ловливо-резвым и остроумным, чем когда-либо. Брат сказал мне, что отправится к ним и объяснит, что я вовсе не мерзавец. Я ответил: если ты сделаешь это, я всажу тебе в голову пулю. Лучшее доказательство того, сколь глубоко задевали меня эти обстоятельства.

Потом я уехал в Берлин. Страдал я чрезвычайно. Думал о ней ежедневно. Вплоть до сегодняшнего дня придерживался неперменного правила: молиться за нее по крайней мере раз в день, а зачастую и дважды, это помимо того, что думал я о ней непрерывно».

Суть дела заключалась в следующем: собравшись с силами, Киркегор во время одного из тех кратких маниакальных периодов, что подобно маленьким островам вышались над океаном его депрессии, попросил руки Регины. Однако его энергия в этом поступке исчерпала себя, так что уже на следующий день он вынужден был раскаяться в содеянном. Угрызения совести начали являться с утроенной силой, почему он и попытался вернуть ситуацию в исходное положение. Однако Регина, бывшая с ним совершенно искренней, не хотела его те-

Печать Киркегора



рять. Был период, когда он не раз делал попытки разрыва, а она в своем юном чистосердечии полагала, что все же сумеет, приложив со своей стороны усилия, удержать его. Однако что она могла противопоставить этому диалектическому чудовищу? Однажды она попыталась разыграть высокомерие, сообщив ему, что приняла его предложение из сострадания. Это вызвало с его стороны взрыв гнева; она же тотчас обессилевает, выказывая свою сокрушенность, что не могло его не тронуть. Со своей стороны он пытается объяснить ей причину, по которой он не отваживается вступить в брак, говоря ей о своей меланхолии, которая, конечно же, не была для нее тайной. Однако снизойти до того, чтобы объясниться с ней действительно откровенно, он не мог. Следовательно, не так уж странно, что его аргументы не произвели на нее никакого впечатления. Впрочем, вполне может быть, что если бы даже он и доверился ей полностью, то это не произвело бы того действия, на которое он рассчитывал, ибо кое-что позволяет думать, что своей женской интуицией она обо всем догадывалась. Во всяком случае, как здоровая женщина она чувствовала, что для больного человека лучшим целительством является нормальная жизнь, в том числе эротическая. А из осторожных намеков самого Киркегора, разбросанных в разных местах, можно предположить, что она делала попытки спровоцировать его к интимным отношениям. «Однажды она показала мне, сколь далеко она может выйти из обычных границ», — писал он в дневнике 1849 года. Еще мы знаем, что как-то она пришла к нему домой, — шаг по тем временам весьма необычный для юной девушки. Едва ли можно сомневаться, что если она желала начать сексуальные отношения, то надеялась тем самым привязать его к себе.

Однако на большее ее интуиции не хватало. Ведь она же не знала о его *vita ante acta*, и ей казалось, что его сексуальный страх — это страх девственника в канун совершения поступка; она ничего не знала и не понимала в той разновидности перверсии, когда сексуальность реагирует не только на страх, но и на антипатию, отвращение, омерзение, а также на чувство вины. Она была дитя природы, юное и невинное, вдохновляемое само собой разумеющейся самоотверженностью. Он же был артефактом, высокоценным искусственным продуктом, тысячу лет выводимым в пробирке; он был человеком, переполненным сознанием греха задолго до свершения самого греха; одним словом, как биологическое существо он был калекой.

Итак, в конце концов Киркегор принял решение прекратить отношения, которые на тот момент продолжались уже год, ибо с каждым новым днем разорвать их было все труднее хотя бы уже потому, что расторгнутая помолвка — по тем временам вещь редкостная — компрометировала того, кто был страдательной стороной. Здесь же действие разворачивалось вокруг помолвки, о которой говорил весь Копенгаген. Однако Киркегор, после нескольких безуспешных попыток подвигнуть Регину на разрыв отношений по ее собственному почину, набрался духу и написал ей короткое письмо:

«Чтобы не делать более попыток совершить то, что должно свершиться, то, что будучи свершенным, придаст столько необходимых сил, — совершаю это. Первым делом забудь того, кто пишет это: прости человека, который, если вообще что-то может, то уж одного-то точно не может — сделать девушку счастливой».

Вместе с письмом было возвращено и кольцо. Это и есть то письмо, на которое намекает Киркегор, упомянув, что оно дословно приведено в «Психологическом эксперименте», то есть в той части «Стадий на жизненном пути», которая озаглавлена: «Виновен? Невиновен? История, исполненная страданий. Психологический эксперимент». Это письмо и подвигло Регину на чрезвычайный поступок: на следующий день после получения письма, предположительно 12 августа 1841 года, она отважилась на весьма необычный по тем временам шаг, отправившись к возлюбленному домой. Не застав его дома, она оставила записку! Прочитируем вновь «Психологический эксперимент»:

«Великий Боже! Пока меня не было дома, она побывала в моей комнате. Я нашел записку, исполненную безутешной страсти: она не может без меня жить, она умрет, если я ее брошу, она заклинает меня ради Господа, ради моего блаженства, заклинает памятью всех, кто мне дорог, заклинает тем святым именем, которое я произношу крайне редко, ибо отчаяние мое не позволяет мне пребывать вблизи него, хотя ни перед кем я не благоговею так, как перед ним».

Что ему теперь оставалось? Завершить отношения к общему согласию не представлялось возможным. Просто продолжать идти своим путем было положительно невозможно, поскольку это могло создать для девушки невыносимую ситуацию. И тогда у него возник план, по которому разрыв будет неизбежным и притом случится так, что виноватой стороной будет выглядеть именно он сам. Читаем дальше в «Психологическом эксперименте»:

«Мы расстались, однако я сделаю все, что смогу, чтобы помочь ей. Наполни же меня всей своей мощью, могучая страсть-фальсификатор, ублюдочная подмена правды, мошеннически неотличимая от последней. Дай мне силы на два месяца, только на этот срок, ни на день больше; да, это много, но зато все будет сделано филигранно и добросовестно. Преврати мои сердечные мучения в шаловливые движения губ, мой пафос — в болтовню, которая будет длиться, едва я раскрою рот. Изыми, спрячь любую черточку, любое выражение лица, всякое чувство, которые могли бы ей понравиться; спрячь так надежно, чтобы сквозь обман не пробилось и намека на правду. Измени мой облик, сделай меня дремотным и скучным истуканом, когда я буду сидеть у нее, истуканом с бессмысленной улыбкой на губах, в дымовой завесе болтовни... Итак, завтра начнется последний бой, кошмарный этап».

Итак, Киркегором завладела отчаянная фантазия разыграть роль законченного эгоиста, пустомели и грубого циника, разыграть эту роль и перед Региной, и перед всеми окружающими, чтобы таким образом принять в глазах света вину за разрыв всецело на себя. Однако, конечно же, все это едва ли было осуществимо. Возможно, что окружающие их люди и дали бы себя одурачить, но уж никак не Регина, цеплявшаяся сейчас за него даже еще более обычного, несмотря на то, что временами он обращался с ней намеренно грубо. Когда однажды она спросила, думает ли он когда-нибудь жениться, он ответил: «Конечно, лет этак через десять, когда перебешусь, мне понадобится молодка, дабы освежить меня». Однако много ли

проку было в такого рода разглагольствованиях, если сразу же после этого он мог заплакать или впасть в меланхолию, что более чем очевидно раскрывало его подлинные чувства.

Параллельно всему этому были у него еще и другие заботы: он завершал обучение в пасторской семинарии, читая проповеди в одном из копенгагенских храмов, что предшествовало определению на должность пастора. Вслед за этим необходимо было защищать в университете докторскую диссертацию. После двухлетней работы научный трактат был готов, в июле он был принят факультетом, а 29 сентября 1841 года (как раз посреди «кошмарного этапа») состоялась защита. Диссертация оказалась весьма объемистой: триста страниц плотного печатного текста, написанного по-датски, что было редкостью по тем временам, когда большинство научных работ сочинялись на латыни; впрочем, устную защиту Киркегор вел

Копенгагенский университет, 1840



на латыни. Думал ли он о Регине, когда стоял на кафедре в дискуссионной аудитории и рассматривал следующие вопросы: чего было больше — сходства или различия между Сократом и Христом, насколько форма постоянного вопрошания у Сократа соответствует гегелевской негативности, в какой степени Сократ, активнейше использовавший иронию, был сам побежден ею, в какой мере ирония принадлежит этике и в какой мере жизнь, желающая называться достойной, начинается с иронии?.. Подумать только — и все это на латыни! Едва ли этот ученый труд мог принести ему какую-либо особую радость, тем более что цели, которая маячила перед ним, когда он садился за диссертацию, уже не было перед глазами: кафедра философии, осиротевшая после смерти Поля Мёллера в 1838 году, была только что занята философом Расмусом Нильсеном, университетским товарищем Киркегора, чуть более его старшим.

Что ж, в академической стезе больше не было для него ничего соблазнительного. А то, что сейчас его раздражало, было пустяком, ну прямо-таки сущим пустяком: он находился в отчаянной ситуации, которую нужно было перетерпеть, перестрадать, не обращая внимания на суть. И вот 11 октября, две недели спустя после защиты, последовал окончательный разрыв с Региной. А спустя еще две недели он покинул Копенгаген и отправился в Берлин.

Почему Киркегор порвал с Региной?

Почти во всех книгах, написанных Киркегором в последующие годы, а также в большей части дневников того времени, речь идет о его взаимоотношениях с Региной;

и когда он, будучи диалектической натурой, освещает и поверяет эти отношения — и, конечно же, со всех мыслимых точек зрения, — при этом поверяя также все свои размышления, то возникает почти полная ясность в причинах разрыва. Вот что говорится в одной записи 1843 года, где многое, что называется, приведено к общему знаменателю:

«Если бы я был вынужден объяснить ей все, то мне пришлось бы посвятить ее в ужасные обстоятельства: в мои взаимоотношения с отцом, в природу его омраченности, в ту вечную ночь, что поселилась в глубинах его сердца, в мою извращенность, в мои загулы и похоти, которые, впрочем, едва ли так уж вопиющи в глазах неба, ибо побуждал меня к моим ошибкам страх. Да и где я мог найти опору, если я знал или догадывался, что даже тот единственный человек, силой и мощью которого я мог бы восхищаться, все же пребывает в колебаниях и сомнениях».

Заметка эта интересна тем, что вскрывает многочисленные психологические осложнения, лежащие в основании разрыва. Не подлежит ни малейшему сомнению, что, решив жениться, Киркегор почитал своим долгом объясниться начистоту, однако сделать этого он не смог. У него не было на это сил, несмотря на то что сам он вполне трезво осознавал, что все его пороки и загулы, о которых могла идти речь, «едва ли так уж вопиющи в глазах неба». Таким образом, здравый его рассудок подсказывал ему, что поведение его и его реакции основывались не на разуме. Почему же все-таки он не мог поговорить с Региной вполне откровенно? Потому что разум бессилен в таких



Сёрену Киркегору около 27 лет. Рисунок Н. Х. Киркегора

делах, потому что его собственное «распутство» в конечном счете было прочно связано с распутством отца, речь шла уже о цепочке родового греха, который, в свою очередь, как он ясно понимал, был следствием всепроникающего *страха*.

Понятие страха — одно из центральных в мире идей и в творчестве Киркегора, а его быть может важнейшая работа так и называется — «Понятие страха». Объясняется это прежде всего тем, что его собственная жизнь была пронизана страхом. Однако понимает он под этим вовсе не то же самое, что мы вкладываем обычно в это слово, подразумевая всякого рода боязни и опасения. В страхе, если иметь в виду то, как употребляет это понятие Киркегор, нет никакого объекта, страх есть указание на то, что человек предназначен к чему-то более высокому, нежели просто оставаться природным существом. Выявления страха разнообразны. Он может приходить внезапным ужасом, как к Паскалю, когда тот однажды в ноябрьскую ночь осознал возможность гибели. Однако он может являться и в качестве постоянной, изнурительной меланхолии. Страх, следовательно, есть точка пересечения двух миров в человеке: духовного и природного, божественного и животного. Именно по этой причине он одновременно и притягателен, и страшен, скрывая в себе одновременную возможность и спасения, и гибели. Последнее зависит от того, к чему устремляется человеческий выбор: к контакту с духовным, чтобы посредством этого вступить в царство свободы, или к пребыванию в природосообразном состоянии, то есть в состоянии животности, что и является *грехом*. Грех *par excellence* есть сексуальность, поскольку обусловленность природным началом выявляет себя здесь наиболее мощно. Цело-

мудрые и стыдливость — это голос, предупреждающий нас о страхе, указующем на возможность свободы и на реальность духа. Молодой человек, испытавший острый страх перед сексуальной реализацией и провожаемый к выходу из публичного дома «звериным хихиканьем», избрал возможность свободы, осуществляя себя в качестве существа духовного. Освобождается он от страха посредством спасения — в христианском смысле слова.

Именно потому Регина, хорошо постигшая природу меланхолии Киркегора (как состояния страха) и надеявшаяся вылечить его, направляя к нормальной сексуальной жизни, и натолкнулась на самое бурное сопротивление. Она действовала как существо природное, он же реагировал как переполненный страхом духовный человек. В мгновение ока все шансы были ею упущены, и разрыв стал неотвратим.

То, что Киркегор реагировал столь бурно, обусловливалось, конечно же, не философским его мировоззрением, оформившимся лишь позднее, а фундаментальным состоянием страха, пронизывавшего все его существо, — состоянием, уходящим корнями в то воспитание, которое дал ему отец. И раз он в своих сексуальных грехах идентифицировал себя с отцом, который уж во всяком случае имел сексуальные прегрешения, то и Регину, пытавшуюся соблазнить его на сожительство, он вынужден был идентифицировать с той проституткой, что совершала нечто вполне похожее. Отсюда — столь бурная реакция.

Однако это не спасло его от греха, ибо грех может являться в самых разных обличьях. Страх — это всего лишь возможность свободы в человеке, и снят он может быть, если свободы достигают. А обретают ее посредством веры. Однако есть люди, у которых нет желания изба-

виться от страха, ибо они в него влюблены. Это очень-очень замкнутые люди, меланхолики. Именно таким человеком и был Киркегор. Однако в атмосфере замкнутости страх трансформируется в отчаяние, в *болезнь-к-смерти*, как он позднее этот страх называл и о чем написал книгу под этим названием. В ней он, в частности, пишет:

«Если бы кому-то вдруг удалось стать сообщником его скрытности и этот соглядатай сказал бы ему: так это же гордыня, так ведь ты же, собственно говоря, гордишься самим собой, — он едва ли бы согласился с этим. Окажись он наедине с самим собой, тогда он пожалуй бы признал, что что-то в этом есть, однако та страстность, с какой его «я» познавало свою слабость, вскоре стала бы вновь убеждать его в том, что это никак не может быть гордыней, поскольку это и есть как раз тот его недостаток, по поводу которого он отчаивается, — как если бы не являлось гордыней придавать столь громадное значение своей слабости или как если бы он не смог вынести само сознание этой своей слабости, если бы был горд самим собой. И тогда, быть может, кто-то ему скажет: весьма странная вышла коллизия, весьма странное стечение мотивов, ибо все несчастье и зло, собственно, проистекают из способа и из манеры, в какой сплетается мысль. В обычном случае это даже вполне нормально, это именно тот путь, который тебе и следует избрать: отчаиваясь в самом себе, ты достигнешь себя. В том, что касается слабости, ты вполне прав, однако это не то, в чем тебе следует отчаиваться. <...> Если бы все это было ему сказано, то в минуту бесстрастную он бы все это понял, однако вскоре его страсть снова ввела бы его в заблуж-

дение, и он совершил бы ложный вираж, впав в свое отчаяние».

Здесь Киркегор говорит из глубины дорого оплаченного опыта. Как всегда, он вполне в состоянии с помощью трезво-бесстрастной рефлексии увидеть свое своеобразие и свою ограниченность: гордыню, странные коллизии и сопряжения своей диалектики. И он знает, что то знание, к которому ему удастся прийти в свои бесстрастные мгновенья, улетучивается в то самое мгновенье, когда он вновь охвачен пафосом своей ситуации, своим отчаянием, и тогда он в тысячный раз совершает полный вокруг своей оси поворот и ныряет в отчаяние.

Все это означает, что он любил свою меланхолию. Поэтому-то он и не мог ее преодолеть. Потому и не *мог*, что не *хотел*. Во второй части «Или — Или» читаем:

«В тоске и унынии есть что-то неизъяснимое. Тот, кто претерпевает страдание или у кого горе, знает, почему он страдает или в чем состоит его горе. А спроси тоскующего, какова к тому причина, что именно его обременяет, он ответит: я этого не знаю, я не могу этого объяснить. В этом и заключена бесконечность тоски. Такой ответ совершенно справедлив, ибо если бы он причину эту узнал, тоска тотчас бы прошла, в то время как страдания скорбящего отнюдь не прекращаются оттого, что он знает причину своей скорби.

И все же уныние и тоска есть грех, настоящий грех *instar omnium**, ибо это грех желать чего-то не глубоко и не всей душой, что и является матерью всех гре-

* подобный всем (лат.)

Ручка
Киркегора



хов... В уныние человек впадает лишь по собственной вине».

Зайдя столь далеко в своем самоанализе, Киркегор познает себя, как видим, не просто как жертву некой душевной болезни, но как человека, в этой своей болезни виновного, познает себя в качестве грешника. Однако тем самым отношения его с Региной еще более усложнились, так как в своей невинности и неопытности она находилась по ту сторону всякого греха. Невинность — это неведение, пишет Киркегор в «Понятии страха». Но разве мог виновный решиться устранить неведение невинной? Ведь если бы он передал ей все свое знание, то лишь сделал бы ее соучастницей в вине. В дневнике 1845 года говорится:

«Какая тяжесть свалилась бы с него, каким свободным ощутил бы он себя, если бы посвятил ее в свои страдания, однако именно этого он и страшился, ибо этот ужас придавил бы ее и разрушил либо же так привязал ее к нему, что она следовала бы за ним повсюду, словно Каинова жена. Но этого он как раз и не хотел».

Однако в той же записи есть вот еще что: «Скрытность заключается в том, что он не отваживается позволить кому-либо узнать о том, что это — наказание, претерпеваемое им».

Оба эти объяснения не слишком согласуются друг с другом. Почему же он не мог откровенно объясниться с Региной? Потому ли, что заботился о временном и вечном ее благе или же путь к откровенности перекрывал

ему страх самой возможности довериться кому-либо? Он так и не смог договориться с собой на эту тему, ибо в альтернативе «вина или судьба?» он так никогда и не смог разобраться до конца.

Будучи неисправимым христианином, он вынужден был до конца держаться мифа о реальности свободы, возлагая ответственность за свое несчастье на самого себя (принявшего первородный семейный грех), однако одновременно с этим он проводил и совершенно иную мысль, мало созвучную первой, а именно ту, что в силу божественного волеизъявления он явился в мир с некой особой миссией, что он, так сказать, путешествует по жизни с запечатанным приказом, который будет однажды вскрыт, прочитан и реализован в его жизни.

Здесь явно ощутимы реминисценции ветхозаветного стиля, которым был наполнен отчий дом. И раз ему представлялось само собой разумеющимся, что судьба отца (его богатство!) была карой за то, что тот, будучи ребенком, вслух проклял Бога, и раз самоочевидным было для него, что все дети отца по этой причине должны будут умереть, не дожив до тридцати четырех лет, а отец переживает их, — точно так же абсолютно само собой разумеющейся была для него мысль, что благодаря своим необыкновенным дарованиям он предназначен к некой особой миссии:

•1853

Есть две мысли, столь рано явившиеся моей душе, что я даже не могу указать момента их возникновения. Первая мысль о том, что есть люди, чье предназначение — жертвовать, тем или иным способом приносить кому-либо жертвы ради торжества идеи, и что я, несущий мой особый крест, и есть такой человек.

Вторая мысль состоит в том, что я никогда не окажусь в положении, вынуждающем меня зарабатывать на жизнь. Так будет отчасти потому, что мне казалось: я умру молодым, отчасти потому, что Бог, принимая во внимание мой особый крест, избавит меня от этих забот и страданий. Откуда взялись эти мысли, не знаю; однако знаю одно: я нигде их не вычитал и никто из людей не наводил меня на них».

Что это действительно именно так, видно из записи 1839 года, то есть из того времени, когда он еще не был помолвлен, но уже был готов к возможности отказаться от Регины (с которой обручен еще не был) во благо своей более высокой миссии:

«О слепой Бог любви! Ты, зрящий во мраке, даруй мне ясность! Найду ли я то, чего ищу, здесь, в этом мире, доживу ли до следствий всех эксцентрических предпосылок моей жизни, заключу ли тебя в объятия или прозвучит приказ: дальше!?

Предшествовал ли ты моей тоске и страсти или просветленно подаешь мне знак из другого мира? О, я готов отринуть от себя все, чтобы обрести легкость и последовать за тобой».

Выходит, что Киркегор предвидит здесь возможность получить более высокий приказ, вследствие которого отринет от себя все, включая Регину, чтобы мочь исполнить свою миссию. И эта мысль, как известно, прочно и надолго утвердилась в нем, чтобы в конце концов вовлечь его в спор с церковью. Но эта мысль ведет к еще одному следствию: если он, Киркегор, такое же исключение, как про-

рок или апостол, то это никак не может быть совместимо с теми обязанностями, которые берут на себя, *реализуя всеобщее*, иначе говоря — вступая в брак.

От реализации всеобщего к религиозной исключительности нет никаких путей, равно как нет путей от любви Регины к посланнической миссии Киркегора. Однако есть путь от отцовской греховности, свидетельствующей об исключительном, к тоске и унынию сына, ставшими — как он сам изложил позднее — жалом в плоть, тем червем, точащим изнутри, что препятствовал ему реализовать всеобщее, приберегая его для особой миссии. Порвав с Региной, Киркегор выбрал отца. Исконная его связь с отцом была очень мощной, она не позволяла ему обосновываться в жизненном пространстве, но повелевала пересекать океан бытия, имея при себе запечатанный приказ.

На какую цель ориентировал этот приказ — о том он размышлял всю оставшуюся жизнь, вплоть до самого последнего года, когда он полагал, что узнает это наверняка. В действительности же в тексте депеши стояло единственное слово: *пиши!*

С инстинктивной уверенностью вел Киркегор свой корабль посреди громадных волн, избегая столкновений со скалами и рифами. Взаимоотношения с отцом, развив его фантазию, пробудили в нем и его поэтический дар. Взаимоотношения с Региной подарили ему материал (взаимоотношения *мужчины с женщиной*), из которого он мог создавать свои поэмы. Регина сделала его поэтом, однако покуда она была рядом, творить он не мог. Вот почему он вынужден был нанести ей удар. Задача поэта не в том, чтобы *проживать* отношения, а в том, чтобы их *вспоминать*. И Киркегор, конечно же, делится собствен-

ным опытом, когда в «Стадиях на жизненном пути» устами Константина Константиуса говорит о женщине следующее:

«Благодаря женщине в жизнь приходит идеальное. И кем был бы мужчина без него? Многие мужчины благодаря девушке стали гениями, иные из них благодаря девушке стали святыми. Однако никто еще не стал гением благодаря той девушке, на которой женился; поступив так, он сможет стать лишь финансовым советником. Ни один мужчина не стал еще героем благодаря девушке, на которой женился; благодаря этому он может стать лишь генералом. Ни один мужчина не стал поэтом благодаря девушке, на которой женился, ибо посредством этого он становится лишь отцом. Никто еще не стал святым с помощью девушки, полученной в жены, ибо кандидат в святые не получает в жены никого; когда-то он мечтал о своей единственной возлюбленной, но не получил ее. Точно так же кто-то стал гением, героем, поэтом — благодаря девушке, которая не досталась ему в жены... Или, быть может, кто-то все же слышал о человеке, который стал поэтом благодаря своей жене? Женщина вдохновляет, покуда мужчина не владеет ею. Вот правда, лежащая в основе поэтической и женской фантазии».

Киркегор не нуждался ни в каком запечатанном приказе. С интуитивной уверенностью он следовал своему внутреннему влечению, влечению к литературному и философскому творчеству. После того как благодаря отцовскому воспитательному методу в нем пробудился поэти-

ческий дар, а материал для поэтического творчества был подарен Региной, взаимоотношениями с ней, ему оставалось сделать лишь одно-единственное: прекратить эти отношения, дабы вместо того, чтобы их проживать, быть вынужденным их вспоминать, то есть иначе — сочинять. Так оно и произошло. Разрыв с Региной был продиктован гораздо более вескими причинами, нежели те, которые он сам приводил, разрыв был продиктован его внутренней, задушевнейшей потребностью. Уже во время «страшного этапа» началось движение его поэтической гениальности, а после разрыва, в те четырнадцать дней, когда он еще был в Копенгагене, началась та серьезная работа, что в продолжение многих лет не отпускала его ни на мгновение.

Поэтическое творчество

Первая поездка в Берлин

25 октября 1841 года Сёрен Киркегор сел на пароход, отправлявшийся в Штеттин, чтобы оттуда проследовать в Берлин. Пока он плыл, мысли его непрерывно кружили вокруг той чудовищной реальности, которую он оставил позади, и дневниковым его признаниям нет конца:

«Ты говоришь о том, что я потерял или, вернее, что я отнял у себя сам; что я потерял... Ах, как ты можешь что-либо об этом знать или в этом понимать? Когда об этом заходит речь, самое лучшее, что ты можешь сделать, это молчать. Да и кто же может знать это лучше, нежели я — тот, кто всю свою чудовищно

рефлектирующую душу превратил в оправу, выполненную с таким вкусом, на какой был способен, в оправу для ее души — тонкой и глубокой. Все свои мрачные мысли, тоскливые мечты, блестящие надежды — сверх этого мою громадную нерешительность — короче, весь этот блеск я положил у ног ее бесконечной симпатии. Ибо ничего нет столь же бесконечного, как любовь. Если же ее чувство не опускалось в такие глубины, но лишь в легком танце любви порхало над всем этим, что ж...

Что я потерял? То единственное, что любил. Что я потерял? То, во что вложил свою честь, свою радость, свою гордость и буду вкладывать всегда, не позволяя себе ужасаться удару разрыва, но продолжая быть верным... И все же душа моя беспокойна, как тело вот в эти мгновенья, когда пишу в каюте, сотрясаемой двойными движениями парохода..

Прибыв в Берлин, Киркегор остановился в гостинице на Миттельштрассе вблизи университета, однако, недовольный плохим обслуживанием, через два месяца переехал на Егерштрассе (Охотничью улицу), 57, к югу от Унтер ден Линден (Под липами), где почувствовал себя вполне уютно.

Он приехал в Берлин, поскольку этот город был, как он о том сообщал в одном из писем, «единственным местом в Германии, куда стоило ехать, если руководствоваться научными соображениями».

И в этом он был вполне прав, потому что Берлин отличался интенсивнейшей интеллектуальной жизнью, хотя и был всего лишь прусской столицей, еще не страхнувшей с себя провинциальных черт. Тем не менее город этот

притягивал к себе многих интеллектуалов, а Гегель вплоть до своей смерти в 1831 году оставался здесь некоронрованным королем духовной жизни. На момент приезда Киркегора туда как раз был приглашен стареющий Шеллинг,— приглашен, чтобы составить противовес гегелевской школе, представленной профессорами Карлом Вердером и Филиппом Конрадом Мархайнеке, одним из основателей спекулятивной теологии, «правой рукой» Гегеля. К шеллингианскому крылу принадлежал датско-норвежский геолог и философ Генрик Стеффенс, в начале столетия прочитавший в Копенгагенском университете курс лекций о философии природы и способствовавший вхождению романтизма в датскую духовную жизнь, главным образом благодаря своему влиянию на поэта Адама Оеленшлегера. В 1804 году его приглашают в университет в Галле, позднее — в Бреслау, а с 1832 года он — в Берлине.

Киркегор тотчас погружается в интенсивнейшие занятия; помимо ежедневного часового совершенствования в немецком он ходит на три-четыре лекции и коллоквиума — все это по философии. О Вердере он высказывается благосклонно, во всяком случае такое впечатление, что от него он получил какие-то достойные упоминания стимулы и импульсы; в Стеффенсе же он разочарован и потому отказывается от первоначального намерения познакомиться с ним лично. О Мархайнеке он упоминает лишь вскользь, а Шеллинг... Вот где ожидания его были действительно обмануты. Об этом можно судить по его дневниковым записям и по письмам домой, значительнейшая и важнейшая часть которых была адресована другу Киркегора Эмилю Бёзену, к которому он в течение всей своей жизни испытывал полное доверие.



Шеллинг. Рисунок Франца Крюгера

Handwritten text, possibly a signature or title, with horizontal lines below it.

№ 1

Handwritten text, possibly a date or reference.

2

Handwritten text, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text, possibly a title or section header.

Handwritten text, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text, possibly a signature or title.

3

Handwritten text, possibly a date or reference.

Handwritten text, possibly a paragraph or list item.

Записи
Киркегора,
сделанные
на лекциях
Шеллинга
в Берлине
(1841—1842)

•22.11.41

Я так рад, рад неописуемо, что слушал вторую лекцию Шеллинга. Ведь сколько же я томился, томилась во мне мои мысли; и вот, когда он произнес слово «действительность», говоря об отношении философии к действительности, плод мысли во мне дрогнул, как в Елизавете. Я запомнил почти каждое слово, которое он сказал, начиная с этого мгновенья. Быть может явится наконец ясность. Это то слово, что напомнило мне о всех моих философских страданиях и мучениях... Отныне я все свои надежды возлагаю на Шеллинга...♦

•18.11.41

Шеллинг начал, однако при таком шуме и гвалте, при свисте и стуканье в оконные стекла всех тех, кто не смог войти в набитую битком аудиторию, что если так пойдет дальше, то пожалуй что и захочется отказаться его слушать. У Шеллинга внешность весьма незначительного человека, что-то вроде сборщика налогов; между тем он обещал нам содействовать такому расцвету науки (и нашему вместе с ней), какого она давно заслужила, и притом высочайшему, какого она когда-либо достигнет. Стариков это должно утешать, однако для молодых людей это весьма рискованное предприятие — в столь юные лета оказаться современниками столь невероятного расцвета. И тем не менее я продолжаю в Шеллинга верить и планирую, риску жизнью, еще раз его послушать♦.

(Письмо к П. Й. Шпангу*)

* Копенгагенский пастор, юношеский друг Киркегора. — *Прим. автора.*

«Шеллинг читает перед чрезвычайно большой аудиторией. Он отстаивает тезис, что существует две философии — негативная и позитивная. Гегель не принадлежит ни к одной, являясь усовершенствованным спинозианцем. Негативная философия дана в философии тождества, позитивную он собирается дать сейчас и посредством этого помочь науке подняться на подлинную высоту. Как видишь, это означает продвижение по службе всех, у кого есть ученая степень по философии...»

(Письмо к Бёзену)

«Вероятно, Вы спросите, что новенького? Литературных новостей немного, исключая выступления Шеллинга, которые продолжают оставаться новинкой и вызывать интерес. Вышел второй том Энциклопедии Гегеля; Михелет осмелился написать предисловие, в котором довольно жестко нападает на Шеллинга... Шеллинг выглядит таким свирепым, словно пьет уксус. Достаточно услышать лишь, как он говорит «я завтра же отсюда уеду» (*ich werde morgen fortfahren*) — в противоположность берлинцам, выговаривающим немецкое «g» очень мягко, он произносит очень твердо — как «k»: *mogken*, — чтобы представить всю ожесточенность его горечи. Недавно он опоздал на полчаса. Сам Якоб фон Тибой (главный герой одноименной комедии Хольберга. — *Автор*) во время осады Амстердама не имел такой устрашающей физиономии, с какой явился Шеллинг, сорвавший свое раздражение на аудитории в нескольких тирадах по поводу того, что в Берлине нет ни одних общественных часов. Чтобы все успеть, он захотел читать лек-

цию сверх намеченного времени. Но в Берлине этого не терпят, раздались шиканья и шарканья, Шеллинг рассвирепел и закричал: «Если господам слушателям неприятно слушать, то я весьма охотно прекращаю: завтра же я уеду прочь (ich werde morgen fortfahren)».

(Письмо к Шпангу)

«16.1.42

Я мог бы уже сейчас сесть в вагон и поехать в Копенгаген, но я не хочу этого. Последующие лекции Шеллинга, к сожалению, едва ли обещают быть чем-то значительным. И в этом смысле, уехав, я бы поступил правильно, однако я этого не сделаю, ибо не хочу, ибо означало бы слишком мало доверять себе, если бы я сделал так раньше срока, который сам же назначил еще тогда, когда уезжал из дома».

(Письмо к Бёзену)

«Февраль 42

Болтовня Шеллинга совершенно несносна. Если ты хочешь получить об этом настоящее представление, тогда я попрошу тебя (тем самым ты добровольно накажешь себя) проделать следующий эксперимент: вообрази себе бродячие философствования пастора Р. со всей его абсолютной случайностью в научном мире, добавь блаженного пастора Х., выдающего неутомимость и ученость, соедини это вместе, добавив ту наглость, в которой ни один философ не превзойдет Шеллинга; после этого отправься в одну из рабочих клетушек дома для бедных, и вот тогда ты получишь представление о шеллингианской философии и о той температуре, при которой ее приходится восприни-

мать. А тут еще ему пришла в голову идея обострить отношения новым способом: читать лекции дольше, чем раньше, отчего мне пришла идея не желать воспринимать его в подобных количествах, чего прежде мне хотелось. Спрашивается, чья же идея лучше? — Одним словом, в Берлине мне больше нечего делать. У меня нет времени по капле принимать то, что я могу проглотить сразу и целиком, приоткрыв рот чуть шире. Я слишком стар, чтобы слушать лекции, а Шеллинг слишком стар, чтобы их читать. Все его учение о потенциях выдает крайнюю степень импотенции».

(Письмо брату — Петеру Христиану)

Первоначально Киркегор намеревался провести в Берлине целый год. Однако если он вернулся домой даже раньше, чем через полгода, то не только потому, что был разочарован лекциями, но в неменьшей степени оттого, что в одном из писем Бёзен передал ему слух о болезни Регины. А Киркегор ни на мгновение не переставал думать о ней. Да, помолвку он расторг, и хотя таким образом он и уединился, все же ни в коем случае не рассматривал отношения как завершенные. В своем воображении он продолжал непрерывно изыскивать новые варианты, скажем — возможность какой-нибудь разновидности братско-сестринских отношений, своего рода платонического брака. При этом его ничуть не тревожило, что был человек, намеревавшийся всерьез с ней сблизиться: Фриц Шлегель. Киркегор ни на мгновение не сомневался, что если захочет, то оттеснит своего соперника в любой момент. Что она может сказать «да» другому, об этом он даже не задумывался, потому что был абсолютно убеж-

ден: если ему тем или иным способом не удастся найти решения, как реализовать свои с ней отношения, она останется ему верна благодаря воспоминаниям, храня до конца дней девственность.

Невозможно оспаривать тот факт, что время от времени он затевал маленькие интриги с целью удерживать ее возле себя, в то время как официальная его политика заключалась в противоположном — в отталкивании. В письмах из Берлина он поручал Эмилию Бёзену разведывать о ней:

«Как дела у вас дома? Как у той, чье имя я не хочу упоминать, хотя и надеюсь, что в твоих письмах найдется хоть какая-то информация для меня. Сообщай мне все новости. Однако пусть все это будет в глубокой тайне. Чтобы ни одна душа не догадывалась об этом моем пожелании. Встреть ее как-нибудь непременно. Твое окно поможет тебе. По понедельникам и четвергам с четырех до пяти — занятия музыкой. Но не встречайся с ней на улице, за исключением понедельника после обеда в пять часов или в половине шестого, когда она идет от Вестервольде по Вестергаде в Клёдебодерн, или в тот же день в семь или в половине восьмого, когда она, вероятно, идет с сестрой через галерею к бирже. Но будь осторожен... Она не должна заподозрить, что я интересуюсь ею, она могла бы истолковать это неверно и это могло бы развиваться в опасную болезнь».

Используя простодушного Бёзена в качестве шпиона, Киркегор одновременно рассчитывал и на его наивность. В дневнике есть следующая декабрьская запись:

«Здесь, в Берлине, одна барышня — Хедевиг Шульце, певица из Вены — поет партию Эльвиры. Она довольно-таки хороша собой, у нее характерная манера себя держать — в походке, росте, одежде (платье из черного шелка с декольте, белые перчатки) поразительное сходство с одной юной дамой, которую я знал. Странный случай. Мне даже понадобилось сделать над собой усилие, чтобы избавиться от этого ощущения».

А к письму к Бёзену от 14 декабря приложена записка, где Киркегор писал:

«Для женитьбы у меня нет времени. Между тем здесь в Берлине есть певица из Вены мадемуазель Шульце, исполняющая партию Эльвиры. Когда первобытное влечение захлестнет меня, я пожалуй попытаюсь с ней сблизиться, не обязательно с *самыми честными намерениями*. От певички едва ли что убудет, зато она похожа на нее. Когда я слишком устану от размышлений или мне станет чересчур больно от иных моих мыслей, это небольшое развлечение придется кстати. Живет она совсем близко от меня. Думаю, это будет занятно. Тебе хорошо известен мой язык, так что ты, конечно, легко поймешь, что все это значит, большего за тем, о чем пишу, нет. И все же мне не хотелось бы, чтобы ты невзначай обронил: мол, есть в Берлине такая певица, или что она исполняет партию Эльвиры и т. п.».

Налицо заметное различие между интонацией и манерой дневниковой записи и письма. В последнем он явля-

ется в позе пресыщенного Дон Жуана — роль, в которой он был для Бёзена, конечно же, неубедителен, ибо тот знал его как свои пять пальцев и был вполне в курсе «жуткого этапа». По-видимому, Киркегор полагал, что наивный Бёзен покажет письмо своим друзьям, быть может даже и Регине, не исключено, что он надеялся заронить в нее таким образом искру ревности. Киркегор вел войну не только с окружающим миром, но воистину и с самим собой, и его маленькое приватное тщеславие вновь и вновь умудрялось обвести вокруг пальца умного диалектика и опытного психолога. Именно этому как раз и способствовал безупречно порядочный Бёзен, когда, судя по всему, не показал записку никому, тем более Регине, а скорее всего даже не упомянул о ней. Для Киркегора же было мучительно не иметь о Регине никаких достоверных известий. Она не умерла от горя, не отправила ему тайного письма, и он все более страстно желал дознаться наконец, что же с ней. И когда в конце концов Бёзен прислал письмо, где намекнул, что здоровье ее не блестяще, это стало для Киркегора хорошим предлогом попрощаться с городом, где Шеллинг и все иные философы столь явно его разочаровали, и взять курс к родным берегам. Возвращался он домой через Киль, отплыв из которого на пароходе «Христиан VIII», прибыл в Копенгаген 6 марта 1842 года, то есть после пяти с половиной месяцев отсутствия.

Копенгаген как культурный центр

Копенгаген, куда вернулся Киркегор и где он в последующие годы писал свои книги, в социальном и хозяйственном отношении был городом вполне провинциальным,



но в культурном смысле это был центр интенсивной духовной жизни.

Город в 1840 году насчитывал сто двадцать тысяч жителей, стесненных на маленьком пространстве, окруженном дамбами, поскольку по ту сторону от них строить запрещалось по причинам военно-стратегическим. Уже за сто лет до этого, в хольбергские времена, при той же площади, но при семидесяти тысячах жителей, город считался полностью застроенным. К 1840 году он был чудовищно перенаселен и вреден для здоровья, так как все

*Ниторв со зданием ратуши,
выстроенным по проекту
К. Ф. Ганзена. 1839*



освоенные участки земли эксплуатировались нещадно. Свободных площадей оставалось очень мало, и крупнейшими такими местами были Конгенс Ниторв со своим театром и один-единственный парк Конгенс Хаве, называемый так и сегодня, со свободным в него доступом как тогда, так и ныне. Улицы были узенькими, с булыжными мостовыми, а вместо рвов для сточных вод тянулись обычные сточные канавы.

В восемнадцатом столетии богатые купцы и наиболее предусмотрительные муниципальные и государственные



Фру-кирка. 1830

чиновники начали воздвигать красивый, полный воздуха и света город с великолепными дворцами, которые и сегодня можно увидеть во многих столичных кварталах. Однако обильный приток денег, сделавший возможным эти планомерные застройки, внезапно прекратился с вступлением Дании в 1807 году в наполеоновские войны, когда она на свою беду встала на сторону Наполеона, чья звезда уже начала закатываться. Нападение англичан на Копенгаген, приведшее к гибели датского флота и к обстрелу города, после чего его центр превратился в руины, привудило датского короля заключить союз с французским императором; а семь лет войны, последовавшей за этим, разрушили цветущую торговлю с Ост- и Вест-

Индией, завершившись государственным банкротством 1813 года и Кильским миром (1814 г.), прекратившим четырехсотлетнее содружество Дании и Норвегии, поскольку Норвегия отошла к Швеции, сумевшей своевременно занять верную сторону.

Наступили времена бедности, и лишь медленно и постепенно Копенгаген отстраивался вновь после всех этих разрушений. Несмотря на нехватку средств, одному из виднейших архитекторов К. Ф. Ганзену все же удалось восстановить целый ряд зданий в благородном классическом стиле, которые и сегодня остаются украшением города, как, например, ратуша (сегодня это «домхуз», то есть суд), непосредственно примыкающая к земельному участку на Ниторв, принадлежавшему Михаэлю Педерсену Киркегору, или Фру-кирка, некогда готическая церковь, затем превращенная в классический храм с цилиндрически-сводчатым кессонным потолком, а также ионийскими колоннами и скульптурами Торвальдсена.

И все же в целом Копенгаген сохранял черты провинциального городка. Начавшееся было планомерное развитие застопорилось, у частных лиц не было средств для строительства; и на иностранца город должен был производить впечатление кусочка провинции. Гавань была маленькой: в ней стояло лишь несколько парусных судов и еще меньше колесных пароходов — и это все. Старые торговые компании владели жалким существованием. В восемнадцатом веке они ввозили в страну, главным образом из Китая, товаров на миллионные суммы, все это сбывалось главным образом на аукционах в Гамбурге и приносило многосотпроцентные доходы. А в 1831 году единственным импортным товаром был чай Азиатской компании, который к тому же не удавалось

реализовать. Накапливались запасы, которые, как сообщалось в газетах, «медленно и с трудом продавались по ценам на 60—70 процентов выше тех, по которым товар можно было приобрести в Гамбурге». При таком раскладе едва ли имело смысл вести дела; компания продала свой последний корабль и в 1840 году была ликвидирована, а четыре года спустя торговля с Китаем прекратилась вообще.

В 1840 году уровень жизни в Копенгагене был очень низким. В реальности тем главным местом, где шла датская большая торговля, был не Копенгаген, а Гамбург, занимавший в хозяйственной жизни датчан примерно такое же доминирующее положение, какое Любек занимал во времена Ганзы.

Однако как раз в это время в Европе, как и в Копенгагене, начал ощущаться общий хозяйственный подъем. До этой поры национальный банк проводил жесткую дефляционную политику, делавшую невозможной частную инициативу по созданию капитала для инвестирования. Однако после того как талер пошел по своему номиналу, банк уже смог предоставлять деловому миру некоторые кредиты, и как раз в это время стремительно появились и стали крепнуть несколько торговых домов. Все это можно рассматривать как выражение того предпринимательского духа, который позволил датскому правительству в 1841 году дать субсидии на строительство первой в королевстве железной дороги от Альтоны до Киля.

Итак, вернувшись из Берлина, Киркегор застиг город в его поворотном моменте; после эпохи упадка, длившейся свыше тридцати лет, начинался новый подъем. Впрочем, приобрести новые зримые черты город сумеет лишь



Естерброгаде. Картина Хр. Кёбке. 1846

спустя много лет, уже после смерти Киркегора. А при его жизни существование было заперто в пространстве меж крепостных валов, а сам город оставался рассадником болезней, эпидемий и нищеты, продолжая сохранять тот свой провинциальный стиль, который отмечен во многих текстах Киркегора, как, например, в этой вот дневниковой записи:

«Бродячий музыкант играл на тростниковой флейте или на чем-то похожем (я не видел, что это было: он стоял в соседнем дворе), играл менуэт из «Дон Жуана», аптекарь толоч свои лекарства, что-то мыла во дворе служанка, конюх чистил своего коня, выбивая скребницу о камень, а издалека, с другого конца города доносился голос ловца крабов».

Но каким бы скромным ни был фон народной жизни, каким бы скромным, особенно в сравнении с большими европейскими столицами, ни выглядел Копенгаген, все же он порождал питательную среду, достаточную для интенсивной интеллектуальной жизни, вполне соизмеримой с интеллектуальной жизнью любого другого города мира.

Сутью этого интеллектуального подъема была та подлинная увлеченность либерализмом, которая, несмотря на реакцию и абсолютизм, продолжала распространяться по Европе. Так было и в Дании, где абсолютизм оставался неприкосновенным, над чем ревностно бдил старый король Фредерик VI. В юности он был страстным поборником перемен, однако в старости боролся с теми самыми реформами, которые помогал проводить пятьдесят лет назад. Умер он в декабре 1839 года, не оставив сына. Взошедший на престол Христиан VIII, сын его брата, был человеком одаренным и хорошо образованным, отличавшимся интеллектуальной живостью, прекрасным знанием литературы, наук, искусства. В юности он тоже был охвачен свободолобивыми идеями и, будучи губернатором Норвегии до ее отделения от Дании, подписал ту свободную конституцию, что была принята норвежцами в 1814 году, — тогда это была самая свободная конституция в мире. Однако на данный момент Христиан VIII был уже не молод, на трон взошел пятидесятилетнелетний человек, распрощавшийся с либеральными ориентациями своей юношеской поры. Он отнюдь не был реакционером, однако, как сказал о нем русский посол в Париже: «Если кто-нибудь сейчас и является аристократом, то это он». Он был умеренный консерватор, и свои взгляды выразил в одном из писем следую-

щим образом: «Искусство управления состоит в таком противостоянии реформаторскому духу, чтобы тот уже не соблазнял на вредные перемены, и в таком руководстве консервативным духом, чтобы тот не чинил препятствий усовершенствованиям».

Однако эта умеренная программа не могла быть соединена с требованиями момента. Передача трона послужила сигналом к мощной демократической и либеральной волне, исходившей из академических кругов, в особенности из студенчества, тотчас захватившего инициативу и оказавшегося с той поры в напряженных отношениях с королевской властью. Группа высокоодаренных молодых людей, взяв лидерство в политической жизни и удерживая его, достигла руководящих постов, будучи ответственна за тот политический курс страны, что торжествовал в революционном 1848 году, потерпев окончательный крах в 1864-м — в войне с Пруссией.

С первых шагов либерализма ему сопутствовал сильный национализм, следствие той ситуации в герцогствах Гольштейн и Шлезвиг, когда национальное пробуждение привело к требованию гольштейнцев отделиться от Дании и присоединиться к Германии. Официальной датской стороной это требование оспаривалось, однако либералы, или, точнее, национал-либералы, как они сами себя называли, просто-таки мечтали видеть Гольштейн выделенным из Датского королевства. В то же время сами гольштейнцы хотели быть вместе со Шлезвигом, являвшимся почти исключительно датской землей, апеллируя при этом к старым договорам и прежде всего к тому соглашению в Риебе 1460 года, по которому было определено, что Шлезвиг и Гольштейн должны пребывать «*up eewig tosamen de ungedeelt*».

Проблемы, здесь обозначенные, были запутанными, что и приводило к возникновению ежедневных и еженедельных печатных изданий, освещавших политические дебаты. У национал-либералов выходил «Федреланд», у консерваторов — «Берлингске Тиденде», существующий еще и сегодня, а среди еженедельников выделялся «Корсар» — небольшой пиратский журнал, редактируемый студентом Меиром Ароном Гольдшмидтом, которому в 1840 году, когда журнальчик появился впервые, был двадцать один год. Журнал подражал французским политически ангажированным юмористическим листкам, нападая, словесно и иллюстративно, на королевскую власть и на церковь. Тексты в «Корсаре», сочинявшиеся главным образом самим Гольдшмидтом, были остры, остроумны, иногда патетичны, однако всегда разили точно в цель. А вот рисунки и карикатуры были, напротив, не столь уж ценны. Если во Франции политическая сатира могла похвастать Домье, в Дании она произвела лишь Клеструпа.

Объяснить это можно тем, что жанр этот был еще не разработан, а в хорошем обществе почитался за нечто не вполне приличное, тем более что в датском искусстве в то время творили большие мастера. Великий классицист и натуралист Экерсберг, прошедший выучку школы Давида, открыл новую эпоху в датской живописи, где рука об руку шли формальная строгость и пристальное созерцание природного мира. У него было много учеников и среди них несколько гениальных колористов, таких как Кёбке — предтеча импрессионизма, или портретист К. А. Йенсен, чья кисть была не менее одухотворенной, чем кисть Франса Хальса. В работах Лундбая доминировало желание постичь природу; быть может, он самый

тонкий интерпретатор датского ландшафта. Константин Ганзен, расписавший стены нового университета в греческом стиле, хотя и на мотивы северной мифологии, был привержен классицизму. Это художественное направление наибольшую значимость, конечно же, имело в скульптуре, главным представителем которой был Торвальдсен. В 1838 году, после многолетнего пребывания в Риме, Торвальдсен возвратился в Данию, привезя с собой повторения всех своих работ. По всей стране был организован сбор средств для строительства музея его творений. В центре этого здания покоится ныне его могила. Внешняя ограда украшена фризом Ёргена Зонне; фриз рассказывает о возвращении мастера на родину и о том, как его встречали.

Итак, в датском изобразительном искусстве было много течений, взаимно проникавших друг друга, однако датский художественный темперамент вовсе не был расположен к участию в политических дебатах, тем более ведущихся в резких тонах. Тем более, что такой тон вообще был новинкой в стране. Здесь были привычны к юмору и добродушию, но отнюдь не к злости, и искаженно-деформированные изображения известных людей воспринимались скорее как подлость — мнение, вполне разделявшееся Киркегором, ставшим вскоре одной из первых жертв карикатуризма.

Тональность тех времен замечательно ощутима у такого рисовальщика, как Вильгельм Педерсен, столь превосходно проиллюстрировавшего сказки Андерсена, что ни один иллюстратор Андерсена с тех пор не мог ни превзойти его, ни потягаться с ним. Однако все же популярнейшим рисовальщиком той эпохи был Фриц Юргенсен, добродушную иронию которого возбуждали юмористи-



*Деталь фриза Ергена Зонне в музее Торвальдсена.
По рисунку Ф. Б. Лунга*

ческие ситуации повседневности, а также те способы и та манера, которыми народ изъясняется. Юргенсен, конечно же, отнюдь не выдающийся художник, он скорее психолог карманного масштаба, однако в его рисунках и тек-

стах с тонко схваченными интонациями и разговорами копенгагенская речевая манера сороковых годов, копенгагенский диалект и копенгагенский юмор живут с такой полнотой ощутимости, как нигде больше. Именно здесь, а не в мелочно-пристрастных карикатурах Клеструпа расцветает датская графика тех лет.

Если для изобразительных искусств время было плодотворным, то тем более это было заметно в литературе, где велись оживленнейшие общекультурные дебаты. Еще был жив осыпанный почестями король поэтов Адам Оеленшлегер, создатель задушевной, правдивой романтической лирики и драмы. Правда с годами он, вероятнее

Музей Торвальдсена в Копенгагене



всего под влиянием своего друга Торвальдсена, все более склонялся к классическому идеалу, подобно своему великому кумиру Гёте, у ног которого он сидел когда-то в Веймаре, читая ему вслух по-немецки свои произведения. И все же на всех этапах своего пути Оеленшлегер сохранял ту чувственную свежесть, которая не позволяла ему впасть в романтический фанатизм или в классицистическое эпигонство.

Почти что сверстником его был Грундтвиг, занятый в эти годы мыслями о высшей школе, захваченный идеей народного университета, а также места, где могли бы встречаться студенты всех северных стран. В 1844 году в Южной Ютландии был открыт первый народный университет, и число тех, кто принимал необычное учение Грундтвига, в догматической части которого странным образом совмещались язычество и христианство, неизменно возрастало. Впрочем, деятельность этого человека была стабильно результативной, являясь значительным фактором демократического развития. Среди его последователей был и Петер Христиан Киркегор, в то время как Сёрен, отвергавший темноты в натуре и учении Грундтвига, всегда испытывал к нему антипатию. *Мне кажется, что Грундтвиг — пустомеля.* Таков кратчайший из его комментариев.

В сороковых годах Г. Х. Андерсен написал ряд своих проникновенно-глубокомысленных сказок, обретя всеевропейскую известность, однако подлинным властителем десятилетия был все же Й. Л. Хайберг, чья слава в это время была в зените. Позади было его духовное пробуждение в гамбургском отеле «Английский король», после чего он переработал и преодолел догматическое гегельянство. От своего собственного гегельянства он не отказы-



*Н. Ф. С. Грундтвиг (1783—1872) — теолог,
историк и поэт, основатель датских
народных университетов.
Портрет К. А. Йенсена*

вался никогда, однако оно непрерывно выплавлялось в нем в его глубоко индивидуальную, личностно окрашенную философию, где ведущими категориями стали понятия духа и спелости (вызревания) духа. Благодаря этому он и стал просветителем своих современников, напутствуя и обучая их искусству жизни. Его влияние на поколение было как литературного, так и социального свойства, и происходило это не в последнюю очередь благодаря многочисленным журналам, им издаваемым. Это он, выпустив поэтическую книгу «Новые стихи 1841»,

начал культурную дискуссию сороковых годов, центром которой стала комедия в стиле Аристофана «Душа после смерти». Душа умершего вначале пытается найти вход в Царство небесное, а затем в греческий Элизиум, однако и там и тут получает от ворот поворот, ибо не может выполнить поставленных ей условий. Этот описываемый покойник — обыкновеннейший маленький типовой копенгагенский филистер, к которому и Хайберг, и Киркегор в качестве аристократов духа испытывали отвращение, ибо живет он в аду скуки, и именно поэтому свой конец он может обрести лишь там, в этом аду, и нигде в другом месте. В сущности, всю свою жизнь он провел в аду, и когда после смерти он прибывает собственно в Ад, то оказывается приятно поражен, что там все то самое, к чему он так привык: читает он там те же самые газеты, а в театре смотрит те же скверные пьесы (к примеру, Г. Х. Андерсена).

После этой рационалистичной и ироничной пьесы следуют стихотворения пантеистического содержания. В последних из них описывается эволюция религиозной мысли, движущейся вплоть до того момента, когда человеку становится ясно: если хочешь познать Бога, ты должен направить свой взор внутрь самого себя:

*В себя, в себя направь свой взор!
Все, что случилось в твоём мире,
пребудет в мысленном эфире.
Исчезнувшее не пройдет:
в сознании оно живет.*

Мысли такого рода побудили Мартенсена обратиться к Якобу Бёме и написать о нем книгу. Похожая концепция нашла себе выражение в книге естествоиспытателя Х. К. Ёрстеда «Дух в природе» — сборнике статей, излага-

ющих романтико-пантеистическое мировоззрение этого ученого. Ёрстед открыл явление электромагнетизма, кроме того, он увлекался поэзией и был другом Г. Х. Андерсена, чья сказка «Колокол» была навеяна его мыслями.

Почти одновременно с «Новыми стихами 1841» вышло в свет начало другого важнейшего произведения датской литературы, к тому же более всех напоминающего о взглядах Киркегора, — большой повествовательной поэмы Фредерика Палудана Мюллера «Адам Хомо» (1841—1848); по форме это стансы, известные по творчеству Байрона. Адам Хомо — имя главного героя, чью жизнь мы прослеживаем от колыбели до могилы. Это человек, поднимающийся все выше и выше по социальной лестнице. Он женится на графине, получает все мыслимые ответственные посты, становится директором Королевского театра — по понятиям того времени это почти наивысшее, чего можно достичь в этом мире. Он получает ордена и титулы, однако с чисто человеческой точки зрения становится все мельче и мельче, изменяя своим нравственным внутренним императивам. Так, например, он бросает женщину, которую любит, так как в другом месте ему представились гораздо большие возможности и перспективы. Эта поэма — вместе с сочинениями Киркегора — послужила толчком к «Пер Гюнту» Генрика Ибсена, где в драматургической форме повторена проблематика, поставленная Палуданом Мюллером.

Суммируя, можно сказать так: для поэзии сороковых годов характерным было то, что в ней отражались все те дискуссии, которые в других сферах и на более высоком уровне велись по проблемам политическим, моральным, философским. При этом она сплошь и рядом изменяла философской выучке, светскому речевому этикету и вы-

сокопарящему идеализму, пуская в ход шутку, иронию и диалектическое остроумие. Это тот фон, на котором легче увидеть литературное своеобразие Киркегора.

Концентрированным выражением духа времени был тогда Королевский театр, занимавший ведущее место в образовании и шлифовке умов. Эта сцена — одна из двух старейших в Европе, восходящая к 1722 году, когда в Копенгагене был открыт первый государственный театр. Старше его лишь парижский Французский театр.

Королевский театр всегда играл значительную роль в культурной жизни Копенгагена, однако никогда эта роль не была столь весомой, как в сороковых годах прошлого столетия, когда благодаря целой плеяде гениальных актеров он достиг своего расцвета.

Особое место среди этих актеров и актрис занимала Йоханна Луиза Хайберг, жена поэта Хайберга. Ей удалось воплотить ряд тех сложных, мерцающих двойным светом женских образов позднего романтизма, которые были любимы публикой даже более, нежели героини сугубо романтические. Среди поклонников этой актрисы был и Киркегор, даже посвятивший ей небольшую свою работу, появившуюся вначале в виде серии статей в тогдашних газетах, — «Кризис вообще и кризис в жизни одной актрисы».

Двойное движение бесконечности

20 февраля 1843 года Киркегор опубликовал свое первое большое произведение, «Или — Или», которое, если отвлечься от его небольшого трактата о Г. Х. Андерсене и довольно объемной диссертации, было, что называется, его первенцем.



Йоханна Луиза Хайбергс

Эта большая книга, вышедшая в двух томах, была поистине продуктом и следствием оживленных теоретических дискуссий сороковых годов. В книге противопоставлены два типа жизневоззрений — эстетический и этический, причем подчеркивается, что читателю необходимо сделать выбор, который отнюдь не является таким уж простым делом. Или — или: либо ты выбираешь эстетический жизненный стиль и становишься после этого по-

Enten — Eller.

Et Livs-Fragment

udgivet

af

Victor Eremita.

Første Deel

indeholdende A's Papirer.

Et en Aftensmaalet kaldt,
et Aftensmaalets Fæstning i
Hjertet.

Kjøbenhavn 1843.

Haar hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Первое издание «Или — Или»

следовательным эстетиком, либо ты выбираешь этическую жизненную позицию и становишься этиком душой и телом. Беспринципные шатанья и колебанья между этими разнородными формами жизни — презренны и недостойны. Одновременно читатель посвящается в то, что, собственно, это значит — быть этиком или эстетиком. Делает это автор в поэтической наглядной форме, первую часть произведения отдав эстетической позиции, а вторую часть — этической.

Однако читателю не следует ждать академически вышколенного философского трактата, движущегося сквозь череду аргументов к логически убедительному финалу. Нет здесь и никакого выхода в собственном смысле слова, да и никаких аргументов, но зато есть фейерверк ситуаций и остроумных суждений, совокупно дающих читателю ясное понимание того, что значит строить свою жизнь на основании эстетического либо этического воззрения. Нужно лишь пояснить, что под эстетическим Киркегор понимает не то, что связано с искусством или с искусствоведением, а скорее чувственное проживание жизни. Сфера «эстетического» изображается Киркегором во всех ее нюансах, от самых возвышенных переживаний, скажем, музыки Моцарта, до неприкрытой эротики. Совокупно все эти нюансы представлены в первой части, финал которой — «Дневник обольстителя» — приближается к романной форме.

Провозглашенная альтернатива была для Киркегора проблемой его собственного существования. Существенно важным было для него, чтобы читатель уяснил: сделать выбор *необходимо*. Киркегор устремлялся к категоричной ясности не только в философии, но и в жизни. Выбор рассматривался им как самостоятельная этиче-

ская категория. В то же время он не ставил своей задачей вступаться за один из жизненных стилей в ущерб другому, выбор должен быть внутренним делом каждого отдельного индивида. Все, что можно и нужно было сделать, это открыть людям глаза на сугубую важность свершения выбора.

Автор словно бы проигрывает свои собственные возможности, описывая альтернативу в многообразии нюансов. У него была возможность стать совершенным эстетиком, однако когда он оказался перед необходимостью принять решение, ответ на его собственный к себе альтернативный вопрос обнаружил себя не в плоскости «или — или», а в плоскости «ни — ни»: он отверг как эстетическую, так и этическую жизненные формы, избрав третью возможность — религиозную, которая была, по его представлениям, фундаментально отлична от этической. Поэтому-то второй том завершается «Ультиматумом», провозглашающим эту третью возможность, однако не раскрывающим эту тему. О третьей возможности не следует писать, на нее можно лишь указать.

Впрочем, быть может религиозную стадию как особую категорию он еще сам себе не вполне уяснил, во всяком случае было нечто, что еще удерживало его в эстетическом и этическом пространстве и от чего он ни при каких обстоятельствах не желал избавляться: отношения с Региной. Вновь остроумный психолог перехитрил сам себя. Ведь это Регина вложила ему перо в руку, и с тех пор он со всех мыслимых точек зрения проигрывал свои с ней отношения, освобождаясь во время акта письма от материала. Разве не точно так душе поэта необходимо постоянное присутствие фермента жизненных впечатлений? В этом смысле Киркегор не составлял исключения, и потому эту



Пульт для письма, которым пользовался Киркегор

его книгу, как и ряд последующих, следует рассматривать как поэтические произведения, даже если в них вклинивалось и нечто иное. Поэтическое начало было в эти годы — вопреки его собственному о том мнению — первичным и первенствующим. Убыwanie физической витальности и разочарованное отречение от общения с противоположным полом неизбежно побуждали его к неустойчивой деятельности в художественной сфере, к своего рода сублимации, благодаря которой он только и мог сохранять душевное равновесие.

От общения с людьми он почти полностью отказался, хотя еще довольно часто ходил в театр и появлялся на улицах, дабы поддерживать миф о себе как о бонвиване и фланере. Однако в собственном смысле слова он жил лишь тогда, когда оказывался у себя дома, окруженный своими книгами, стоя возле пульта для письма или перипатетически разгуливая по комнате, формуя фразы и произнося их громко вслух, дабы убедиться, что они обрели единственно верную форму.

То была монашеская жизнь. Он держал слугу и секретаря. Изредка виделся с Бёзеном, предпочитая при этом встречаться вне своих четырех стен. Когда к нему приходил кто-нибудь незнакомый и просил обсудить с ним свои идеи, он почти всегда отказывал.

Выход «Или — Или» произвел в Копенгагене впечатление взорвавшейся бомбы. Тотчас в прессе и среди читателей разгорелась оживленная дискуссия, книга была воспринята с пониманием и с сердечностью, причем даже холодным Хайбергом, даже революционным Гольдшмидтом, опубликовавшим в «Корсаре» быть может самый положительный за все время существования журнала материал.



Киркегор в кафе за работой. Эскиз К. Лойтена, 1843

Однако к этому времени Киркегор уже был погружен в следующее свое сочинение; он не мог довольствоваться одной книгой в год. В 1843 году у него должно было выйти не менее шести текстов, в том числе три сборника «Речей (он намеренно не пользуется словом «проповедь») в назидательном стиле» и два лирико-философских текста из «Страха и трепета»: «Диалектическая лирика Иоганнеса де Силенцио», толкующая категорию веры,

и «Повторение. Опыт экспериментальной психологии Константина Констанциуса», где к вере автор подходит с психологической точки зрения.

Речи Киркегор издал под своим собственным именем, в то время как остальные сочинения — под псевдонимами. Это разделение он проводил и дальше. Смысл его вполне ясен: христианские тексты выражают его собственные убеждения вполне однозначно, поэтому он может изъясняться без обиняков от собственного имени; а вот остальные сочинения имеют экспериментальный характер, будучи написаны из предпосылок и установок, которые не всегда могут быть обозначены как его собственные.

Площадь жандармерии в Берлине, 1830



Однако в одном отношении они все же остаются выражением его собственных предпосылок: и в «Страхе и трепете», и в «Повторении» речь с самого начала и до конца идет о его переживаниях, связанных с отцом и с Региной. Постановка проблемы в «Страхе и трепете» сюжетно состоит в том, что Авраам жертвует Исааком — прямое отражение взаимоотношений Киркегора с отцом, который в пылу своего религиозного фанатизма пожертвовал жизненным счастьем сына. Одновременно здесь отражаются и его взаимоотношения с Региной, счастьем которой он вынужден был пожертвовать, исходя из *своей* религиозной внутренней установки. Жертвы, принесенные обоими мужчинами, в человеческом смысле не назовешь этическими поступками, и потому возникает вопрос, сформулированный Киркегором в его излюбленном (и одновременно гегелевском) ключе: существует ли телеологическое отстранение этического? Другими словами, могут ли возникать ситуации, когда этическое уже не обладает более законностью и когда должен быть применен больший масштаб — религиозный?

Но и «Повторение» сплошь построено на личном опыте. Это одна из самых легко читающихся и обаятельных его книг, где строгая интеллектуальная архитектура пронизана искусной фабулой. Частично вещь была написана в Берлине, куда Киркегор уехал весной 1843 года в поисках уединения для работы и где он пробыл с апреля по июнь. Жил он еще уединеннее, чем в первый раз, остановившись на той же квартире по Егерштрассе (Охотничьей).

«Наконец-то я в Берлине. Сразу поспешил на свою старую квартиру, дабы удостовериться, в какой мере

повторение возможно. Каждого заинтересованного читателя могу заверить, что в прошлый приезд я имел от Берлина наименее приятные впечатления, а сейчас могу заверить в том еще определеннее, ибо осмотрел город лучше. Площадь жандармерии — прекраснейшая в Берлине, здание театра и обе церкви выглядят превосходно, особенно в сиянии луны, когда обзереваешь все это из окна. Когда я уехал, воспоминание много чего добавило к этому. Поднимаешься на второй этаж освещенного газом дома, открываешь маленькую дверь, стоишь у входа. Слева — застекленная дверь, ведущая в кабинет. Если пойти прямо, окажешься в передней, позади которой расположены две абсолютно одинаковые и одинаково меблированные комнаты, так что кажется, будто одна комната просто отражается в зеркале. Задняя комната приятно освещена. На рабочем столе стоит канделябр, возле стола — легкое, изящное кресло, обтянутое красным бархатом. Ближняя комната не освещена. В ней слабый свет луны смешивается с более сильным освещением, идущим из комнаты задней. Садись на стул и принимаешься рассматривать огромную площадь, замечая на стенах тени спешащих мимо людей. Все превращается в некое подобие театральной декорации. Грезящая действительность мерцает на заднем плане души. Возникает желание, сбросив плащ, медленно красться вдоль стены, бросая вокруг шпионящие взоры и обращая внимание на каждый шорох. Однако не делаешь этого. Только видишь, как делал это в юности. Закуриваешь сигару, возвращаешься во внутреннюю комнату и начинаешь работать. Минула полночь. Гасишь свечи, зажигаешь малень-

кий ночник. Однако побеждает лунный свет. Оди-
нокая тень кажется еще темнее, а одинокие шаги
звучат долго-долго, пока не исчезают. Безоблачный
небесный свод выглядит таким печальным и задум-
чиво мечтательным, будто светопреставление уже
свершилось, но небо так и осталось в целости наеди-
не с самим собой. Снова выходишь через переднюю в
коридор, а оттуда в маленький кабинет — спать,
если конечно принадлежишь к тем счастливым,
которые могут спать. — Но стоп! Вот с этого момента
повторения оказались уже невозможны. Мой хозя-
ин, торговец аптекарскими товарами, «*hatte sich
verändert*»*, в том смысле, в каком понимает это
выражение всякий немец (насколько я знаю, на не-
которых копенгагенских улицах «он изменился»
понимается подобным же образом): он женился.
Я хотел его поздравить, однако, не будучи настоль-
ко силен в немецком, чтобы моментально овладеть
моментом, и не имея наготове приличествующих
случаю выражений, ограничился пантомимически-
ми телодвижениями. Я приложил руку к сердцу и
посмотрел на него так, чтобы на моем лице можно
было прочесть нежное участие. Он пожал мою руку.
После того как мы таким образом поняли друг дру-
га, он приступил к доказательству эстетической
ценности брака. Это чрезвычайно удалось ему, уда-
лось почти так же хорошо, как в прошлый раз — до-
казательство совершенства холостяцкой жизни.
Когда я говорю по-немецки, то становлюсь самым
сговорчивым человеком в мире.

* Немецкая фраза, имеющая несколько значений, в том числе: он
изменился; он женился. — *Прим. перев.*

Мой прежний хозяин весьма хотел мне услужить, мне тоже хотелось остановиться у него; итак, я занял комнату и прихожую...*

Атмосфера Берлина действует на него возбуждающе, однако физическое его состояние не самое лучшее. В письме к Бёзену он сообщает:

«Вначале я был болен, сейчас сравнительно здоров, это значит, что мой дух бьет ключом и, вероятно, убивает мое тело. Никогда я не работал так интенсивно, как ныне. По утрам выхожу ненадолго на улицу. Потом возвращаюсь и сижу в комнате, не прерываясь, примерно до трех часов. Глаза к этому времени уже почти не видят. Затем, опираясь на трость, тащусь в ресторан, но чувствую при этом такую слабость, что, думаю, если бы кто-нибудь громко окликнул меня по имени, я бы упал и умер. В прошедшие месяцы я, полон беспечности, до предела накачал материалом соответствующую душевую установку, нынче дернул за шнур, и идеи обрушились на меня: здоровенькие, веселые, удачные, бодрые, благословенные дети, легко явившиеся на свет, хотя и отмеченные личностной родинкой. В остальном же я, что называется, слаб, ноги дрожат, в коленях щемит и т. п., но это еще что; пользуясь излюбленным выражением моего любимого актера господина Гробекера, его фразочкой, которую он периодически весьма удачно вставляет в свою речь: «ich falle um und bin hin» — или, в соответствии с другой неплохой вариацией: «ich falle hin und bin um».*

* Словесная игра, нечто вроде: «Я валюсь с ног в смертельном восторге» и «Я падаю и выкатываюсь».



Королевский городской театр в Берлине

В числе немногих развлечений Киркегора был театр. В Берлине он частенько ходил в Королевский театр, где смотрел свои излюбленные водевили и фарсы, о чем в «Повторении» говорится следующее:

«В Берлине три театра. То, что ставится в Оперном,— оперы и драмы,— говорят, просто «großartig»*, а то, что идет в драме, говорят, весьма поучительно, образующе, одним словом, не для одного толь-

* великолепно (нем.)

ко удовольствия Впрочем, мне это неизвестно А вот что мне доподлинно известно, так это то, что в Берлине есть театр, называющийся Королевским городским Солидные путешественники посещают его реже, чем другие театры, хотя и несколько чаще (и это весьма значительно), нежели весьма уютные места увеселений, лежащие несколько в стороне, где датчанин всегда имеет возможность вспомнить о Ларсе Матисене и Кемте (два ресторана в Копенгагене — *Автор*) Когда я прибыл в Штральзунд и прочел в газете, что в местном театре будут давать «Талисман», у меня тот час поднялось настроение Сейчас в моей душе пробудилось воспоминание об этом, а когда я впервые оказался там, мне чудилось, будто первые впечатления пробудили в душе воспоминание о чем то, уходящем в глубь времени

В Королевском городском театре идут фарсы, собирающие, что вполне естественно, публику в высшей степени разношерстную, так что тот, у кого есть патологическое желание изучать смех в зависимости от многообразия общественных статусов и темпераментов, тот не должен упускать этой возможности, тому следует непременно приходить на эти комедийные представления Ликование и громкий смех галерки и балконов второго яруса — нечто совсем иное, нежели аплодисменты образованной и критичной части публики И то, и другое — тот постоянный аккомпанемент, что совершенно необходим движению комедии В общем то действие фарса происходит в просто народной среде, потому то галерка и второй ярус тот час узнают себя, так что их шум и крики «браво!» означают не эстетическую оценку игры отдельных

исполнителей, а чисто лирическое волеизъявление удовлетворенности. Они не осознают себя в качестве собственно публики, им просто хотелось бы соучаствовать в этих сценах там внизу, на улице или где вообще сюжетно разыгрывается в данный момент действие. Но поскольку сделать этого они не могут по причине расстояния, то ведут себя в точности как дети, которым позволили наблюдать за уличным происшествием лишь из окна. Зрителей первого яруса и партера фарс тоже, случается, доводит до хохота, однако существенно отличного от киврско-тевтонских народных воплей. Само разнообразие видов смеха внутри этого круга зрителей дополняется бесконечной нюансировкой и притом в совершенно ином смысле, нежели это происходит во время самых лучших комедийных спектаклей. Последние смотрят с точки зрения совершенства или несовершенства, здесь же дело совсем в другом.

В Королевском городском театре дают фарс и, на мой взгляд, делают это отлично. Мое мнение, конечно, сугубо частное, я его никому не навязываю и протестую против всего навязываемого. Чтобы фарс имел успех, необходимо особым образом подобрать актеров. Среди них должно быть два, самое большее три разнохарактерных таланта или, точнее, продуктивных гения. Они должны быть детьми юмора, способными опьяняться смехом, веселыми танцами, даже если во все иное время, даже за мгновение до этого, они пребывали точно такими же, как все остальные люди. Но едва они слышат звонок помощника режиссера, как моментально преображаются, напоминая благородных арабских скакунов, начинающих сто

*Актёр Бекман
в роли праздного
гуляки*



нать и храпеть, в то время как раздувающиеся ноздри свидетельствуют о волнении духа, который таится в них, увлекаемая лететь вперед в диком мчании. Они отнюдь не те рефлектирующие художники, что изучают смех, скорее это лирики, стремительно бросающиеся в его пучину, чтобы благодаря его вулканической

мощи быть выброшенными на сцену. Они не рассчитывают свои действия, позволяя позаботиться обо всем мгновению и естественной силе смеха. Они обладают мужеством рисковать, на что способны лишь единицы, да и то наедине с собой; это то, что позволяли себе безумцы во все времена и что может себе позволить гений, со спокойствием гения уверенный в неизбежности смеха. Они знают, что в состоянии в течение всего вечера поддерживать смех на должной высоте, затрачивая на это усилий не более, нежели трачу сейчас я, марая эту бумагу...

...Актеры Королевского городского театра в значительной степени подобраны словно бы по моему желанию. Если бы у меня и были возражения, то касались бы лишь исполнителей второстепенных ролей, ибо против Бекмана и Гробекера у меня не найдется и словечка. Бекман — определенно комический гений, умеющий разряжать комическую энергию чисто лирически, не за счет отчетливости характеристик, но благодаря форсированию и трансформации настроения. Его достижения не слишком велики в плане художественной соразмерности, но восхитительны в плане индивидуальной безмерности. Он не нуждается ни в чьей и ни в какой поддержке, ему не нужны ни партнеры, ни декорации, ни аранжировки, ибо если он в ударе, то все приносит с собой; и в той мере и в то время, в какой и когда он излучает вокруг свой задор, он сам же и оформляет себе сцену, не обращая внимания на работу театрального художника, каков бы тот ни был. Даже в подлинно художественном театре довольно редко встречаются актеры, действительно умеющие ходить и стоять. Хотя я кое-кого в этом

смысле и видел, однако я не видел актеров, которые бы умели то, что умеет Бекман. Он умеет не только ходить, но он умеет выходить на сцену, загораюсь. Этот его первый выход-возгорание — нечто совершенно особенное. Благодаря своей гениальности он, выходя на сцену, импровизирует, создавая вокруг необходимое сценическое пространство. Он не просто изображает бродячего подмастерья, но он уже выходит на сцену таким подмастерьем, и притом так, что ты все-все узнаешь — видишь пыль проселочной дороги, уходящей от улыбчивой деревеньки, слышишь все ее тихие звуки, видишь тропинку, бегущую вниз вокруг деревенского пруда и сворачивающую к кузнице, — и вот видишь, как на эту тропинку выходит Б., полный внутреннего огня, с узелком за спиной, палкой в руке, беззаботный и неунывающий. Появляется он на сцене с уличными мальчишками за своей спиной, которых мы на самом деле не видим. Даже доктору Риге* в «Царе Соломоне» и в «Йоргене Хутмахере» не удавалось достичь подобного эффекта. Воистину господин Б. — подлинная экономия для театра, ибо, имея его, не нужно ни уличных мальчишек, ни кулис. Однако этот подмастерье отнюдь не завершенностатичный тип, для этого он чересчур свободно-подвижен в своих действительно мастерски очерченных контурах. По сути он — инкогнито, в котором живет демон безумного комика, который вот-вот себя проявит, вовлекая все и вся вослед своей необузданности. В этом смысле несравненны танцы Бекмана. Спев куплеты, он начинает танец. То, на что здесь отважи-

* Датский врач, бывший также и актером. — *Прим. автора.*



Актер Гробекер

вается Б., исполнено отчаянного безрассудства, ибо, по-видимому, у него нет намерения в строгом смысле слова воздействовать на зрителя своими танцевальными па. И при этом он совершенно великолепен. Ни в его фигуре, ни в его речи мы не найдем подобного простора для безумия смеха. То он, подобно Мюнхгаузену, сам себя поднимает за волосы, то отдается ликующим сумасшедшим козлиным подпрыгиваниям — и все это в полном соответствии с основным настроением. Каждый может, что называется, сам почувствовать меру умиротворенности, следующей из всего

этого, но чтобы делать все это на сцене, нужно быть законченным гением, лишь уровню гения это под силу, в противном случае из того же самого выйдет какая-либо гнусность.

Каждому комику следует иметь голос, который бы легко и тотчас узнавался, даже когда артист еще за кулисами и таким образом уже пролагает себе дорогу на сцену. У Бекмана отличный голос, что разумеется не идентично с хорошим биологическим голосом. У Гробекера голос несколько скрипуч, однако каждое его слово, прозвучавшее из-за кулис, по своему воздействию подобно тройному трубному взыванию на Дирехавсбаккен (площадь для гуляний возле Копенгагенского зоосада. — *Автор*), предрасполагающему к смеху. В этом отношении я бы даже отдал Гробекеру предпочтение перед Бекманом. Бекман опирается на незакрепощенный, озорной ум, благодаря чему и достигает своего чудесного сумасбродства. Гробекер же к своему сумасбродству, напротив, поднимается порой посредством сентиментальностей и тоскливых томлений...♦

Однако за задорно-шаловливым стилем этих фрагментов, за занятостью будто бы исключительно эстетическими нюансами скрывались старые его мучения, главным образом взаимоотношения с Региной. «Повторение» продолжает ход мыслей, которыми завершалась предыдущая его книга, где речь, собственно, шла о религиозном отстранении этического. Под *повторением* Киркегор понимает нечто вполне определенное. В другое время он назовет это *двойным движением бесконечности*. После первого непосредственного освоения каких-либо отношений,

скажем любовных, следует разрыв с конечно-тленным, ибо один лишь этот разрыв может освободить нас от нашей привязанности к земному. Без такого разрыва Бог никогда не возьмет власть над нашим сердцем. Но если ты освободился, то тогда-то и становится возможным, чтобы к тебе, как к Иову, все возвратилось. С этого момента старое оживает на новый манер, обусловленное тем смиренным отречением, которому ты подчинил себя. Это и есть *повторение*. Это и есть *двойное движение бесконечности*.

В «Повторении» Киркегор расщепил себя на две персоны: одна из них — старший по возрасту, скептический Константин Констанциус, выступающий в качестве автора книги; другая — молодой человек, вступающий в жизнь; существо чистое, нетронутое, открытое всем надеждам.

Для Константина, живущего анахоретом, человека странного и чудаковатого, оказавшегося в проблематичных отношениях с миром и с жизнью, но главным образом с женщинами, повторение — проблема. Он подробнейшим образом объясняет, что он понимает под этим термином, однако не стоит слишком уж ломать себе голову над этими его размышлениями, поскольку вообще-то за ними ничего нет. Вся первая (и самая объемная) часть книги — шутовская игра, затеянная остроумным и ироничным Киркегором с целью обмануть читателя, замести следы. Константин едет в Берлин (как когда-то и Киркегор), где он уже прежде бывал (так же как Киркегор), останавливается в том же самом отеле, посещает в театрах по возможности те же самые спектакли (как и Киркегор), надеясь, что, сравнив две эти поездки, он получит представление, воз-

можно ли повторение. В конце концов он приходит к выводу, что оно невозможно.

Однако все это, как уже сказано, лишь шутовство. Серьезность приходит лишь с появлением молодого человека, переживающего любовную историю, аналогичную истории Киркегора вплоть до мельчайших подробностей. Свообразие ее лишь в одном: мы видим ее словно бы глазами циничного Константина, а не самого молодого человека, всегда и во всем вполне соответствующего Киркегору в пору его помолвки. Константин охотно предлагает свои услуги, пытаясь помочь молодому человеку выбраться из его внутренней сумятицы, заключающейся в том, что он чувствует невозможность реализовать свои отношения с девушкой, поскольку он вполне удовлетворен измерением воспоминания и нужна она ему в качестве музыки, а не супруги. Константин советует последовать тому плану, который реализовал Киркегор: превратить отношения в бессмысленные и тем их похерить.

Однако — и здесь история впервые отклоняется от собственно киркегоровской — этого-то молодой человек сделать и не смог. Вероятно, в том и заключался замысел Киркегора: дать молодому человеку шанс продемонстрировать реальность тезиса о возможности повторения — не в том легковесном смысле, который придавал ему Константин, но в смысле религиозном — как возможность все возратить силой двойного движения бесконечности: получив возлюбленную в мирском смысле, он отказывается от нее, чтобы в конце концов вернуть ее силою веры и абсурда. Однако книга заканчивается вовсе не так. Покуда Киркегор сидел за столом и писал книгу, произошло нечто, побудившее его полностью изменить ее финал.

В глубине души Киркегор все еще сохранял надежду, что возможность союза с Региной существует. Как именно это может осуществиться, вполне отчетливо он этого не знал, однако был убежден, что это не может быть невозможным, что хотя он и отказался реализовать двойное движение бесконечности по отношению к самому себе и осуществить повторение, все же вопреки всякой вероятности союз с Региной может быть осуществлен, реализованный в платоническом ключе.

Потому-то он с таким огромным вниманием следил за житьем-бытьем Регины, даже сейчас, находясь за границей. К тому же он ни мгновение не сомневался, что она-то во всяком случае это двойное движение бесконечности совершила и пережила и теперь лишь ждет свершения абсурдного, ждет, что то, к чему они когда-то прислушивались, придет и позволит повторить отношения на более высоком уровне.

До и после берлинской поездки он аккуратно делал записи в дневнике, фиксируя случайные с ней встречи на улице или в церкви, что было совершенно неизбежно в таком маленьком городе, как Копенгаген. Вот недатированная дневниковая запись за 1843 год:

«В первый пасхальный день на вечерней службе во Фру-кирке она кивнула мне во время проповеди Мюнстера. Я не понял, было ли это с оттенком мольбы или прощения, во всяком случае в этом была большая преданность. Я сидел на отшибе, однако она отыскивала меня. Видимо, это судьба, что она так сделала. Выходит, мои мучения последних полутора лет были напрасны, вся моя чудовищная внутренняя напряженность. Она не верит, что я обманщик. Она верит мне...



Внутренний вид Фру-кирки

Она оказывается на моем пути каждый понедельник между девятью и десятью часами утра. Я ничего не предпринимаю для этого. Она знает, какой дорогой обычно хожу я, а я знаю, какой дорогой ходит она...*

Далее лист из дневника вырван, как это зачастую бывает у Киркегора, когда он записывал нечто особой важности. Однако и этого достаточно, чтобы убедиться: он постоянно кружил вокруг нее, а она, возможно, вокруг него тоже. И отнюдь не без основания он рисовал в своем воображении совместное с ней будущее, полагая, что когда-нибудь между ними возникнет новая связь — благодаря двойному движению бесконечности, благодаря повторению, благодаря вере, являющейся сердцевинкой повторения. Регину он потерял, потому что был скептиком. Но ныне, когда после отречения он наконец-то созрел для повторения, быть может наконец-то пришло время для создания нового союза? Об этом он пишет в дневнике:

• 17 мая 1843

Будь у меня вера, я остался бы с Региной. Хвала Господу, что наконец-то я это понял. В минувшие дни я был близок к тому, чтобы потерять рассудок. Сказать по чести, я был прав по отношению к ней. Рассуждая по-человечески, я был прав по отношению к ней, видимо никогда ни с кем я не смог бы обручиться, и вот с какого-то момента я стал вести себя с ней честно... Я начал тут один сюжет под названием: Виновен ли невиновный? В нем есть нечто, способное повергнуть мир в изумление, ибо за полтора года я пережил внутри себя больше поэзии, чем ее содержат все романы вместе взятые. И все же я не могу и не хочу



Фриц Шлегель

допустить, чтобы мои к ней отношения поэтически улетучивались, ведь их реальность — совершенно иного рода. Она не стала принцессой из театральной пьесы, так пусть же, если это возможно, она станет моей женой•.



Регина Шлегель, урожденная Ольсен

Но тут случилось, что в существование Киркегора ударила молния. Из Берлина он вернулся счастливый сознанием своей могучей поэтической силы, в ожидании, что однажды он наверняка снова соединится с Региной. Казалось, что мир заново открывается ему. И вдруг он получа-

ет известие об официальной помолвке Регины и Фрица Шлегеля! Все фантазии Киркегора о повторении разом рухнули, а самого его как подкосило. Придя же в себя, он принялся изливать гнев на неверных женщин и на женщин как таковых — правда, все это, по счастью, лишь в своем дневнике. Впрочем, в книге «Повторение», которую он к этому моменту еще не закончил, гнев этот выплеснулся вполне отчетливо, ибо Киркегор решил радикально изменить ситуацию. До сих пор предполагалось, что молодой человек опровергнет утверждение Константина Констанциуса о невозможности повторения, опровергнет тем, что реализует всеобщее и женится, как вдруг в одном из писем к Константину этот молодой человек сообщает:

«Она вышла замуж, за кого — я не знаю, ибо когда я прочел об этом в газете, меня словно хватил удар, газета выпала из рук, и желания снова ее раскрыть так и не возникло. Я снова предоставлен самому себе. Это и есть мое повторение. Мне все стало ясно, и бытие предстало прекраснее, чем когда-либо. Словно прошла гроза. А ей, о как я благодарен ей за ее великодушные, за то, что все так случилось».

Как видим, молодой человек совершает здесь мощный кувырок, ибо до сих пор возможность повторения заключалась в том, чтобы мочь реализовать всеобщее, по выражению Киркегора. Сейчас же, напротив, повторение хотят видеть в том обстоятельстве, что девушка, пренебрегшая им, возвращает ему его свободу, и он, ликуя, кидается навстречу этой свободе словно навстречу некогда потерянному и вдруг найденному сокровищу, иронически

благодаря девушку за то, что та помогла ему стать свободным.

Если до сих пор Киркегор всеми своими писаниями словно бы заверял Регину, что он остается ей верен, то теперь, когда она, по его мнению, оказалась неверна ему, он обращается к ней таким образом, чтобы она ни в коем случае не вообразила, будто он опечален ее уходом, но напротив — думала, что он испытывает чувство обретения свободы.

Правда же была другой. Киркегор был вне себя, он впал в ожесточенность, хотя ему и казалось, что все это — к лучшему. Когда она клялась ему и уверяла, что умрет, если он ее бросит, он поверил ее словам. И вот нате: прошло всего два года, и она уже под ручку с другим, словно бы ничего и не было! Выходит, все тогда было лишь болтовней! Отныне его презрение к женщинам не знает границ, неизменно откликаясь в последующих его текстах вплоть до главного мотива одной из частей «Стадий на жизненном пути» — «*In vino veritas*»*.

Сведение счетов с Гегелем

Следствием этого презрения стало то, что Киркегор еще более погрузился в себя, еще лихорадочнее устремившись в писательство как в средство забвения своих чувств. Продуктивность последующих лет становится все более мощной. В 1844 году он выпускает три сборника назидательных речей и три текста за псевдонимами: помимо небольшого предисловия это два важных его сочинения — «Философские крохи, или Немножечко филосо-

* Истина в вине (лат.).

фии» Иоганнеса Климакуса, издано Сёренсом Киркегором, и «Понятие страха» Вигилиуса Хауфньенсиса.

Два этих сочинения соотносятся друг с другом так же, как «Страх и трепет» с «Повторением»: первое — философское изложение темы, второе — ее психологическая демонстрация.

«Философские крохи» — главное догматическое произведение Киркегора, однако сколь отлично оно от любого другого догматического произведения мировой литературы! Уже название вводит в заблуждение, поскольку в тексте нет обращения к общепринятым догматам — не было никогда теолога менее догматичного, чем Киркегор, — и вместе с тем здесь предпринята попытка посредством дедуктивного метода философски определить христианство, не прибегая к помощи привычных средств. Так, например, Христос здесь не упомянут, но вполне логично назван Богом-во-времени, в связи с чем возникает парадокс, поскольку Бог определяется в качестве существа, пребывающего вне или над временем. Киркегору было особенно важно утвердить христианство в качестве формы экзистенции, предполагающей понятие свободы, без которой все становится бессмысленным. Это была фронтальная атака против господствующей гегельянской философии, маневрировавшей среди великолепных всемирно-исторических перспектив, где словно пылинки бесследно исчезал отдельный человек.

С этим Киркегор не мог согласиться. Он никогда не соглашался с таким воззрением, тем более что жизненные обстоятельства вынуждали его ощущать себя одиночкой, который никогда не мог раствориться в более обширной целостности. Потому-то у него не было внутренней потребности выяснить, каков его личный взгляд на

отношение христианства к истории и к индивиду. Высказав в «Крохах» свои взгляды на христианство, он подготовился тем самым к сведению счетов с Гегелем; однако предварительно ему нужно было распространить свои мысли о философии свободы на область психологии, что он и сделал в работе «Понятие страха», признанной последующими поколениями одним из важнейших его сочинений.

«Крохи» подчеркивали понятие свободы в качестве предпосылки христианства — в том случае, если мы хотим наделить его хотя бы каким-то смыслом. Киркегор хорошо понимал, что свободу невозможно обосновать философски, так как любое обоснование предполагает логическую необходимость, что является противоположностью свободы. Именно в этой непоследовательности он и упрекал Гегеля. Нельзя в мышление, движущееся в абстрактных формах необходимости (что присуще всякому мышлению), вовлекать свободные действия. Истолкование свободы, вследствие этого, принадлежит не логике, а психологии. Впрочем, свобода сама по себе не может быть изображена психологией, но лишь то состояние, что предшествует свободному действию. Именно через это и становится понятным, как возможна свобода. Однако состояние, делающее свободу возможной, есть не что иное, как страх. Посредством страха происходит прыжок из невинности в грех по отношению к самому себе, а также из вины в веру.

То, что страх делает возможным прыжок из невинности к вере, и было как раз ситуацией Киркегора в пору, когда он совершил свой ложный сексуальный шаг, и это же самое он имеет в виду, когда пишет в дневнике: «...это был, конечно, страх, это он принудил меня впасть в за-

блуждение». Таким образом, страх есть предпосылка греха, а не его следствие, как можно было бы подумать. Это соответствует тому, о чем говорит Фрейд в своей статье «О чувстве вины»: человек не потому исполнен сознания вины, что грешит, но грешит, потому что исполнен сознания вины.

Таким образом, путь к окончательному разрыву с гегельянством был свободен. Однако прежде Киркегору нужно было еще раз освободиться от всеподавляющего богатства своих поэтических идей и от напора вдохновения. Ему необходимо было еще раз рассмотреть те возможности, что остались нераскрытыми при изображении им «Стадий». И он принялся излагать философию свободы. Свобода, будучи предпосылкой прыжка, то есть выбора, была, следовательно, и предпосылкой христианской философии. Однако выбор предполагает наличие того, что именно избирается, и здесь *стадии* являются решающей инстанцией. Собственно говоря, слово «стадия» выбрано не очень удачно, поскольку тем самым словно бы ожидается постепенный переход от одной стадии к другой, подобно некой лестнице, по которой идут вверх. Однако реальный смысл на самом деле здесь другой, ибо Киркегор как раз и требует, чтобы была избрана одна из этих стадий и затем последовательно и настойчиво проживалась. И дело не в том, какую именно избрать, а в том, чтобы понять: если ты упускаешь свершить свой выбор, то превращаешься в *болтуна*, а это хуже, чем стать преступником. Стадия, таким образом, это экзистенциальная сфера, и Киркегор различает три (не считая нескольких переходных форм) такие стадии, или экзистенциальные формы: эстетическую (то есть непосредственную стадию наслаждения жизнью), этическую (когда

осознают свою ответственность и «реализуют всеобщее», то есть живут в согласии с требованиями человеческого общества) и религиозную (когда во имя этических требований отстраняются от всех соображений, которые могли бы помешать этическому или ограничить его права, и когда тот, кто действует религиозно, оказывается живым исключением, таким чудачком).

В «Или — Или» Киркегор обрисовал эстетическую и этическую стадии. Однако сейчас он уже не был доволен этой своей книгой — ни с интеллектуальной точки зрения, ни с художественной. И в самом деле, хотя к моменту работы над новой редакцией «Стадий» не прошло еще и двух лет после издания первого варианта, однако в эти два года Киркегор претерпел неслыханно стремительное развитие, причем в обеих стадиях пережив нечто для себя решающее. Помолвка Регины укрепила его в уверенности, что он — исключительный случай, и, кроме того, окончательно прояснила для него то, о чем до сих пор он лишь догадывался: религиозное — не только расширение сферы этического, но суверенная экзистенциальная сфера. Он еще не знал этого, когда писал «Или — Или», и потому книга никуда не годилась и должна быть еще раз переписана. Результатом стали «Стадии на жизненном пути», вышедшие в апреле 1845 года.

Для любого художника всегда рискованно пытаться улучшать свои более ранние достижения, однако в данном случае результат оправдал усилия. «Стадии на жизненном пути» — книга во всех отношениях более совершенная, нежели ее предшественница, а если рассматривать ее с собственно художественной точки зрения, то это писательский шедевр Киркегора. В ней большее равновесие между частями и более явственная целостность ком-

позиции. Язык, обычно исполненный излишней силы напора, здесь сдержан и упруг. Философия, лежащая в основе книги, высвечивается с помощью образов и ситуаций, исполненных исключительной выразительности и эмоциональной силы. Такое впечатление, будто личные несчастливые обстоятельства вливали в Киркегора внутреннюю энергию. Словно бы он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда был несчастлив. Но так оно в общем-то и было: чем несчастнее он оказывался, тем счастливее он ощущал себя в качестве художника-творца и мыслителя, но отнюдь, конечно, не в качестве частного лица.

В «Стадиях на жизненном пути» он еще раз итожит свои личные переживания, излагая их в качестве универсальных истин. Первая из трех частей, «*In vino veritas*», — симпозиум в платоновском смысле, собрание речей о женщине, где Киркегор дал волю своему презрению к прекрасному полу, — презрению, развившемуся в нем в связи с Региной. Богатство и блеск мысли едва ли не заставляют нас забыть, что здесь, собственно, злейшим образом оклеветана половина человечества и все лишь оттого, что одна-единственная особь из вида *homo sapiens* оказалась, видите ли, морально несостоятельной.

Вторая часть книги называется «Немного о браке», и здесь уже в названии сообщается, что этическая точка зрения, словно бы зажатая в книге промеж двух стадий, наступательно идущих на нее, вгоняется в оборонительное состояние. Третья, и последняя, часть — «Виновен ли невиновный?» — значительно обширнее и объемнее других, и несомненно, что именно она более всего занимала Киркегора. Он еще раз перетряхивает всю историю с помолвкой, однако под новым углом зрения. Религиоз-

ное выявляет себя при этом в качестве особой экзистенциальной сферы.

Если любовную трагедию, заключающуюся в том, что любящие не могут соединиться, рассматривать на эстетическом уровне, то объяснить ее можно тем, что им противостоит некая чуждая сила, как в случае с Ромео и Джульеттой, когда две находящиеся в ссоре семьи препятствуют соединению молодых людей. На этическом уровне проблема заключается в том, что любящие принадлежат различным экзистенциальным сферам, а именно: девушка понимает свою любовь эстетически, а мужчина — этически. И для того, чтобы преодолеть этот разрыв, мужчине необходимо поднять женщину в свою экзистенциальную сферу, что удастся очень редко. На религиозном уровне трудность, напротив, заключается в том, что одна сторона здесь органически отлична от другой, и отношение этой стороны ко всему временному можно определить как *страдательное*, ибо ее призвание заключается в том, чтобы вырваться из временного и подготовиться к вечному. Именно поэтому любовные отношения в этой сфере обречены на то, чтобы потерпеть фиаско. Если герой-эстетик чувствует, что сопротивление идет извне, то религиозный герой находит его внутри себя. Величие героя-эстетика в том, что он одерживает победу, величие религиозного героя в том, что он страдает. Однако страдание в процессе служения идее и есть претворение самой этой идеи в религиозную сферу экзистенциального опыта. Это и была та мысль, которой Киркегор еще не знал, работая над «Или — Или», и ради которой он был призван написать еще одну книгу.

Полгода ушло у Киркегора на написание этой могучей книги, после чего он предпринял небольшую, третью по

счету, поездку в Берлин, длившуюся всего лишь около недели. Это и был весь отдых, который он себе позволил. Затем он ринулся в новую, еще более значительную по объему работу — в фундаментальное сведение счетов с модным философствованием своего времени: гегельянской умозрительностью. Ему давно хотелось этого, к тому же самой своей жизнью он был подведен к итоговой реальности и к мировоззрению, которые в любом отношении были противоположны гегелевскому.

Своей философией Гегель создал самую привлекательную систему из всех, когда-либо зарождавшихся в философском мозгу. Вся совокупность бытия была поделена здесь на параграфы и разъяснена, все противоречия были объявлены кажимостью и устранены с помощью диалектического процесса, названного Гегелем медиацией. Исторический процесс был объяснен из диалектического процесса; различные стадии первого, в том числе христианство, были истолкованы как стадии эволюционного процесса, обладающего видимостью необходимости и соответствующего саморазвертыванию мирового духа, являющегося выражением чистого мышления в единстве объективного и субъективного начал. И если весь процесс мирового развития Гегель мог рассматривать как воплощение цепочки философских понятий, то объяснялось это тем, что он без всяких церемоний уподоблял мышление существованию (экзистенции).

Киркегор анализирует это и показывает несостоятельность всех гегелевских понятий. Он не оставляет камня на камне от гегелевской логики и диалектики, наглядно демонстрируя, что все это не более, чем словесная игра. В результате великолепный исторический процесс начинает оседать, как снежная баба в солнечный день, сли-

ние субъекта с объектом оказывается иллюзией, а идентификация мышления и бытия может быть выброшена на свалку как суеверный хлам. Собственно, вообще невозможно выстроить систему бытия по той простой причине, что бытие еще не завершилось. В дневниковой записи той поры читаем:

♦1846

У большинства систематиков их взаимоотношения с их системами складываются так же, как у того человека, который строит громаднейший замок, а сам живет рядышком в сарайчике: сами они не живут в громадном здании своей системы. Однако в сфере интеллектуальных отношений это-то как раз и было, и остается решающим аргументом. В интеллектуальной сфере сами мысли человека и есть то здание, в котором он живет,— иначе все абсурд и бессмыслица♦.

Здесь выражена суть той критики, которая развернута в объемном сочинении с импонирующим заголовком: «Заключительный ненаучный постскриптум к *Философским крохам*. Мимически-патетически-диалектическая мешанина, экзистенциальная реплика. Сочинение Иоганнеса Климакуса. Издано С. Киркегором». Вышла книга в сентябре 1846 года.

Как видим, в подзаголовке есть выражение «экзистенциальная реплика». Таким образом, сочинение это не есть исключительно атака на гегелевскую философию, напротив — благодаря этой критике Киркегор получил возможность высказать свои собственные взгляды с большей обстоятельностью и связностью, нежели это имело место прежде и даже когда-либо позднее. Поэтому можно

считать эту книгу главным его произведением. И поскольку обозначено оно как экзистенциальная реплика, то и дана в нем суть его собственного метода: на место гегелевских великолепных, но шатких историко-мировых обзоров Киркегор, а точнее Климакус, ставит единичное, частное, а на место умозрений-спекуляций — того, кто их производит. В этом — суть. Одиночка и есть реально экзистирующий (существующий) индивид. И проблемой для него является не мировой процесс, а его собственное существование.

Это подводит нас к проблеме: что значит экзистировать? Климакус отвечает: экзистировать — значит осуществлять вечное во временности, ибо человек — синтез временного и вечного. Вечное — основа его субъективности, и вводится оно во временное посредством творческого акта. Благодаря этому осуществляется удивительный парадокс: вечное возникает, «становится», собственно говоря, лишь посредством действий, деяний экзистирующего субъекта. И поскольку вечное — это грядущее, в нем не может быть полной уверенности в объективном смысле слова; уверенность пребывает в сфере деяний. Поэтому-то уверенность базируется на вере, выстраиваясь на основаниях, объективно весьма ненадежных. Для экзистирующего субъекта не существует никакой объективной истины, но существует истина всегда субъективная, фиксируемая им в процессе овладения своей глубиннейше-страстной и задушевной проникновенностью. Вот это последнее и есть наивысшая истина для экзистирующего существа. Действовать, исходя из столь неопределенных оснований, включая постоянную неуверенность, — вот он, подлинный риск. Но этот риск и является как раз непременным условием существования-экзистенции, до-

стоверность и уверенность здесь принципиально исключены. Однако именно это и действует на личность образующе и преобразовывающе, лишь поэтому бытие всерьез входит в отношения с личностью.

Все это установки, ставшие исходным пунктом для современного экзистенциализма. В это произведение Киркегор вложил все, что он хотел сказать своему времени. Как уже было отмечено, книга появилась не просто под псевдонимом, но и с указанием на него, Киркегора, как на издателя (так же, как и в случае с «Философскими крохами»). Тем самым Киркегор давал понять, что сам он вполне разделяет взгляды, изложенные в том и в другом произведении, и что, следовательно, они не носят того экспериментального характера, какой имеют остальные его псевдонимные тексты; и значит, два этих произведения являются своеобразным переходом между псевдонимными текстами и собраниями назидательных речей, появлявшимися исключительно под его собственным именем.

Кроме того, он полагал, что две эти книги окажутся последними в его жизни. Да и можно ли было сказать что-то сверх этого?

Гольдшмидт, или Столкновение с мирским

Закончив наконец свои большие книги и ощутив после пятилетних интенсивнейших трудов, аналогию которым надо еще поискать в мировой литературе, огромную усталость, он снова начал подумывать о пасторской должности. Однако размышления об этом сопровождались всеми

возможными сомнениями: есть ли у него на это моральное право, обладает ли он истинной силой веры, позволяет ли ему это его предыдущая жизнь? Все это были искренние сомнения, давно его одолевавшие. В конце 1845 года он писал в своем дневнике:

«Купил новый экземпляр канонического права, чтобы вновь попытаться разобраться, могу ли я быть пастором. Но когда я еще только покупал его, меня охватила дрожь ужаса: мне показалось, что даже продавец заметил, сколь мучительной будет для меня эта процедура».

А вот что он пишет в начале следующего года:

«7 февраля 1846

У меня сейчас идея — готовиться к пасторству. Несколько месяцев подряд я молился Богу, чтобы он помог мне в этом, ибо мне уже давно совершенно ясно, что я не могу больше быть писателем, что я либо должен захотеть быть им всецело, либо не быть им вообще. По этой причине занимаюсь сейчас лишь корректурой и не начинаю ничего нового, если не считать маленькой рецензию на *Две эпохи*, которая, собственно, и является для меня финалом».

В последних строчках — ссылка на рецензию, которую Киркегор тогда писал, это рецензия на роман «Две эпохи», появившийся в печати в 1845 году. Издан он был анонимно, однако ни для Киркегора, ни для литературной общественности не было секретом, что автор книги — 72-летняя госпожа Гиллембург-Эренсверд, впервые взяв-

Карикатуры на Киркегора, рисованные Клеstrupом (образец слева), не только плохи по рисунку, но и не похожи на оригинал. Эскизы Марстранда, хотя и сделанные по памяти в 1870 году, передают черты лица Киркегора и его фигуру, скорее всего, гораздо более правдиво



шаяся за перо, когда ей было около шестидесяти Она была матерью Й Л Хайберга, и, без сомнения, именно его поддержке следует приписывать тот факт, что она столь неожиданно ринулась в писательство Однако, едва начав, она сразу же пошла путем, совершенно отличным от хайбергского, и ее романы (или «новеллы», как она сама их называла) стали предвестниками реалистической литературы Впрочем, по форме ее книги еще не сколько неуклюжи, диалоги несколько натянуты, а развитие интриги весьма напоминает традиционные образцы прозы рубежа XVIII—XIX веков И все же в них большой запас человеческого ума, немало психологической проницательности, правдивых бытовых наблюдений и — не в последнюю очередь — сдержанной страстности, ответственной самокритичности по отношению к своему времени, что всегда производит впечатление, производило и тогда, произвело впечатление это и на Киркегора

У нее был достаточно специфический личный опыт, который она могла использовать в качестве материала для творчества Ее первый муж, отец Й Л Хайберга, был первым революционным писателем Дании Как мы уже упоминали, он был выслан из страны и уехал в Париж После этого она вышла замуж за шведского дворянина Гиллембург Эренсверда, который навсегда обосновался в Дании, так как был замешан в деле об убийстве шведского короля Густава III (том самом убийстве, что изображено в опере Верди «Маскарад») Литературная деятельность сына и ведущая роль на сцене Королевского театра ее невестки открыли госпоже Гиллембург доступ в круг так называемых «поздних романтиков», и в своем романе «Две эпохи» она как раз описывает свободный от предрассудков революционный дух восемнадцатого столетия в

противовес новому времени с его буржуазной, морализирующей и бесстрастной невозмутимостью

Вот здесь то и вмешивается Киркегор. В своих сочинениях он всегда стремился придать своим экзистенциальным идеям наглядную, поэтическую форму, и он всегда с радостью откликался, если обнаруживал, что кто-то другой сумел выразить то, в чем он сам нуждался. В романе Гиллембург он как раз и нашел ту характеристику своей эпохи, которая, что называется, лила воду на его мельницу. «Две эпохи» преисполнены симпатии к революционному времени, поскольку оно было одушевлено страстью и идеями. Да, при случае Киркегор мог выражать подобные же симпатии революции, и по тем же самым причинам, однако — как это выяснится позднее — когда революция в конце концов вторгается в его собственное время, он перестает испытывать к ней какой-либо интерес. Следственно, он симпатизировал не целям революции, к которым он был, в лучшем случае, равнодушен, а самому пафосу действия, вовлеченности в сферу этого действия, воле к самопожертвованию во имя избранной идеи. Его собственное противопоставление двух эпох, революционной и той, в которую он жил, — чрезвычайно характерно для него самого и для того направления, в котором развивались его мысли и чувства в эти годы. Вот что пишет он по этому поводу:

«Сущность революционной эпохи в том, что она исполнена страсти, поэтому она и не может не нести насилия, не может не быть дикой, необузданной, беспощадной ко всему, что не следует из ее идеи, однако все же следовало бы поменьше обвинять ее в жестокости именно потому, что свой предрассудок она несет в

самой себе. Нельзя считать жестоким того, кто, несмотря на то что устремления его направлены вовне, все же сущностно углублен в себя, в наиглавнейшую для него страсть преданности идее. Ураган, землетрясение, бушевание стихий — разве это можно назвать атмосферой жестокости? Но если бы мы все же захотели дать этой атмосфере определение, то можно было бы, наверное, сказать так: это атмосфера жуткой бесхарактерности. Точно так же все обстоит и в мире индивидуальном. Едва исчезает сущностная, существенная страсть, некий предрассудок, как все превращается в незначительность показных формальностей, не имеющих определенного характера; струящийся ручей идеальностей застопоривается, совместная жизнь превращается в стоячий водоем, а вот это и есть настоящая жестокость...»

Пассаж этот продиктован той ненавистью, которую Киркегор испытывал к равнодушию, ко всему, что делает жизнь незначительной и бесцельной. Вся его устремленность была к одному-единственному: подчеркнуть решающую значимость жизни, что, кстати, абсолютно противоположно нигилизму. Киркегор, Шопенгауэр и Ницше вели одну и ту же борьбу по преодолению нигилизма, правда исходя при этом из различных установок. Для самого Киркегора нигилизм никогда не представлял опасности, поскольку он был весьма прочно укоренен в христианском жизневоззрении и этические требования были привиты ему с раннего детства как нечто абсолютно бесспорное и изначальное. Сталкивался он лишь с одной разновидностью идеализма — филистерской бездумностью, свойственной большинству людей его времени (че-

ловеческий тип, во все времена составляющий большинство). Однако тогда же он претерпел глубоко личное переживание, подтвердившее его подозрение, что безмыслие, а также то, что он называл *жестокостью*, становятся обыденностью. Поэтому его начинает бурно занимать проблема взаимоотношений между людьми, и приведенный выше фрагмент он продолжает следующим описанием взаимодействия индивида и массы:

«Когда индивиды (каждый внутри себя) относятся к некой идее сущностно страстно и затем в обществе продолжают относиться к той же идее сущностно страстно, то такое отношение является совершенным и нормальным. Такое отношение свободно избрано (каждый обладает своей индивидуальностью ради самого себя) и идеально примирено. По сути, грубой навязчивости в отношениях человека с человеком при этом препятствует стыдливая нерешительность. В основе идейного единодушия лежит то благородство, которое ради целого забывает о случайности единичного. Следственно, индивиды потому и не подходят никогда друг к другу слишком близко в скотском смысле, что объединяются в идеальности дали. Напротив, когда взаимоотношения строятся индивидами *en masse** (следовательно, без осознанного, индивидуального избрания) лишь во имя идеи, тогда мы получаем насилие, разнузданность. Однако когда у индивидов *en masse* нет никакой идеи и, следовательно, никакого индивидуально избранного сущностного внутреннего понимания, тогда мы имеем *жестокость*.

* во множестве, в преобладающем количестве, в толпе (фр.).

Небесная гармония есть то единство мировых тел, которое они поддерживают каждое ради себя самого и одновременно ради целого. Если исчезнет одно из этих отношений, воцарится хаос. Утрачивается отношение к себе самому, и начинается суматошно-бес-толковая самонастройка масс во имя движения к не-кой идее. Когда же исчезает и это отношение, приходит *жестокость*. Тогда индивиды давят, толкают, по-носят друг друга в бессмыслице пустопорожних дей-ствий, ибо уже нет той стыдливой внутренней жизни, которая отделяет одного человека от другого некой дистанцией, остается лишь движение, ни к чему не ведущее. По одиночке у них нет ничего, но и сообща они тоже ничем не обладают: тогда являются раздра-женно-раздосадованные типы, затевающие ссору и свару... Река идей перекрыта, индивиды и сами себе, и друг другу встают поперек дороги. Соппротивление своей собственной и взаимной рефлексии образует бо-лото, в котором все дружно и сидят. Вместо радости — вечное брюзжанье и недовольство, вместо страда-ния — упрямая, вязкая, твердолобая терпеливость, вместо воодушевления — речистая многоопытная смышленость».

Определив революционное время как сущностно стра-стное, Киркегор далее пишет о «современности» следую-щее:

«Современность в своем существе смышлена, испол-нена рефлексии, бесстрастна, возгорается мимолетным воодушевлением и благоразумно почивает в беспечно-сти... В противоположность революционному времени,

исполненному действия, современность — эпоха уведомлений, всевозможных оповещений и сообщений: хотя ничего и не происходит, зато происходят всяческие сообщения. Самым непредставимым для современности был бы мятеж, восстание; всеподсчитывающая разумность нашего времени посчитала бы смешным подобное напряжение сил. Зато какой-нибудь политический виртуоз, вероятно, способен достичь в наше время изумительных высот в своем искусстве. Он мог бы, скажем, написать приглашение, предлагающее созвать общее собрание, дабы принять решение о революции, и при этом написать так деликатно, что сам цензор пропустил бы этот пригласительный билет. После чего вечером он сумел бы произвести на собрание столь двусмысленное впечатление, что собравшимся бы показалось, что восстание они уже организовали и провели; после чего все бы спокойно разошлись и затем провели в высшей степени приятный вечер».

Пессимизм, о котором свидетельствуют эти заметки, можно в значительной степени объяснить тем, что книги Киркегора находили мало понимания. Впрочем, «Или — Или» была принята хорошо, вызвав большое к себе внимание. Однако в любом случае читателей можно, видимо, извинить уже тем, что о тенденции этого произведения они не знали почти ничего и в дальнейшем едва ли могли следовать до конца за замыслом и целями автора. Значительно хуже было, впрочем, другое: даже критика оказалась не в состоянии овладеть новым материалом, вероятно, ни разу не потрудившись в этом направлении. Хайберг допустил несколько недобрых промахов и ляпсусов, отчего Киркегору стало еще горше.



П. Л. Мёллер. По рисунку Клеэструпа

Однако причиной пессимизма может быть и нечто совсем иное, а именно история, в результате которой назревавшее в Киркегоре презрение к людям разгорелось в яркое пламя.

Гольдшмидт

Толчок ко всей этой истории дал юный Гольдшмидт, уже шесть лет как редактировавший и заполнявший материалами журнал «Корсар», который постепенно приобретал все больший авторитет. Читали его многие, хотя и делали это тайком, ибо он считался бульварным изданием. Сегодня такое было бы немыслимо, поскольку политиче-

ская сатира в датской прессе вполне естественна. Однако тогда все это было абсолютно внове, и смелый критик, всегда остроумный, иногда дерзкий, но никогда не пошлый, нарушал общественные приличия своего времени.

Сам Гольдшмидт не мог надолго удовлетвориться ролью шутника-остряка, ибо в его задачи входило наступить на ногу абсолютизму, равно как и либеральной оппозиции. В 1845 году он выпустил сборник рассказов, датских и еврейских сказок, новелл и в том же году — автобиографический роман «Еврей», в котором предстает превосходным рассказчиком и выдающимся стилистом.

В Дании оставалось не много персон, значимых в общественной жизни, кого бы «Корсар» в течение пяти лет не уколол своим пером. И среди этих немногих был Киркегор, которым Гольдшмидт искренне восхищался. Вместе со своим другом, одаренным поэтом и критиком П. Л. Мёллером, он даже, после выхода в свет «Или — Или», устроил банкет в честь Киркегора, на который, впрочем, виновник торжества не явился. Сами же энтузиасты дали на банкете клятву трудиться только во имя истины, «не взирая ни на кого, в том числе друг на друга, исключив из общения дух торгашества и кумовства; в награду же им будет дарована несокрушимая юность».

Между тем П. Л. Мёллер не был вправе клясться, что действует во имя истины. Репутация у него была не из лучших; своим героем он избрал Байрона и жил, изо всех сил стараясь следовать его аморализму. Будучи ровесниками, Мёллер и Киркегор в студенческие свои годы конечно же не могли не встречаться, а в «загульный» период Киркегора они даже участвовали в общих попойках. Считается, что Мёллер — прототип Иоганнеса-соблазнителя. Быть может, Мёллер не знал об этом, участвуя

в торжественном празднестве в честь матра? Или же, напротив, чувствовал себя польщенным?

Во всяком случае Мёллер никогда не был слеп в отношении изощренного хитроумия киркегоровского мышления и уже в 1843 году объявил, что в «Или — Или» «больше мыслительной пряжи, нежели плоти и крови». Сам он больше всего ценил в искусстве непосредственность, которую находил, например, у Оеленшлегера, великого национального датского поэта, которому в то время было уже под семьдесят. Оеленшлегер уже много лет занимал кафедру эстетики, и Мёллер надеялся сменить его на этом посту. Потому-то он и не отваживался публично признаться в своем сотрудничестве с «Корсаром». Зато он мог, действуя без всякого риска, раскритиковать Киркегора, что он и сделал в большой рецензии, опубликовав ее в ежегоднике, который сам же и редактировал. На этот раз мишенью стали «Стадии». Он осудил их интеллектуальный мазохизм, граничащий с безумием, догадавшись при этом, что Киркегор безжалостно использовал свою невесту в качестве модели, сделав свою любовную историю достоянием общественности.

Все это невероятно возмутило Киркегора, и прежде всего, видимо, потому, что в упреках была добрая порция правды. А нервы его и без того были напряжены до предела многолетним переутомлением, а также тем, что критика упорно и дружно его не понимала. Он несколько раз собирался выступить с возражениями легкомысленным критикам, среди которых были и Хайберг, и Мёллер, однако все ограничивалось злыми пассажами в дневнике. Тут же терпение его лопнуло, и в ежедневной газете «Федреландет» от 27 декабря 1845 года он приступил к генеральному сражению, которое должно было совер-

шенно уничтожить Мёллера, — что позднее действительно случилось, — но которое одновременно имело совершенно неожиданные следствия и для него самого. Статья была не столько возражением на высказанные в рецензии взгляды, сколько атакой на методы и саму личность Мёллера. Заканчивается статья следующими словами:

«Ах, поскорее бы мне попасть в «Корсар»! Какая жестокость по отношению к бедному писателю: оказаться опозоренным в датской литературе именно тем, что ты (предположим, что мы — псевдонимы этого писателя) единственный, кого здесь не выбрали. Моему шефу Хилариусу Бухбиндеру* (букв.: переплетчику. — *Перев.*), если не ошибаюсь, в «Корсаре» льстили; Виктор Эремита* (Отшельник. — *Перев.*) был вынужден снести оскорбление в связи с тем, что его объявили бессмертным — и где? в «Корсаре»! И все же я уже, считай, побывал в нем, ибо *ubi spiritus, ibi ecclesia*** : *ubi* П. Л. Мёллер, *ibi* «Корсар».

Последними словами статьи Киркегор отождествил Мёллера и «Корсар», сообщив то, что для большинства читателей до сих пор было тайной: что Мёллер поставлял статьи для пресловутого издания. Помимо всего прочего это вело к тому, что Мёллеру отрезался путь к академической карьере. Он попытался отомстить Киркегору, сочинив язвительную рецензию на «Постскрипtum», что, впрочем, его собственному делу никак не помогло, и сжег он свой порох без всякой пользы. Вскоре после этого, крайне раздосадованный, он покинул страну, несколько

* Псевдонимы Киркегора. — *Прим. автора.*

** Где дух, там и церковь (*лат.*).

лет прожил в Германии, где довольно интенсивно сотрудничал с тамошней прессой; позднее переехал во Францию, где и умер, надломленный физически и духовно.

А как с Гольдшмидтом? Киркегор не был бы собой, если бы не продумывал до конца всех следствий, идущих из его писаний. Без сомнения, он вполне отчетливо представлял, как поступит с «Корсаром» и его редактором. В более поздних заметках, относящихся к 1849 году, он так излагает дело:

«1849

Это все же заслуживает быть отмеченным

У Гольдшмидта (если отвлечься от его полнейшей бесхарактерности и низости) никогда не было руководящей идеи, но был лишь талант. Во времена, когда он редактировал «Корсар», тот всегда был отмечен талантом, и потому не будет так просто забыт...

«Корсар» был либеральным журналом, бичевал Христиана VIII, чиновничество и т. д. «Корсар» был порождением оппозиции. Что же касается идей, то их у Гольдшмидта никогда не было.

Когда-то, весьма давно, я позволил себе сделать Гольдшмидту одно маленькое замечание: если, отвлекаясь от безнравственности самого феномена, было бы все же позволено говорить об идее в этом или в подобном издании, то ей следовало бы быть направленной в равной мере против всех; нельзя же в наше время вести себя столь глупо, чтобы направлять свое острие лишь против правительства. Намек этот был сделан мною *en passant**, со всей той

* между прочим, мимоходом (фр.).

деликатностью, которую я старался проявлять в общении с ним.

Мое намерение предпринять определенные шаги в отношении Гольдшмидта предполагало достичь следующего: 1) либо он дойдет до того, что осудит сам себя, придя к выводу, что он лишен содержания, и в конце концов он станет презирать себя. Так оно и случилось; 2) либо он признает, что плодовитость в литературе, которой он сам восхищался и о которой столько говорил, не может более поддерживаться на том же уровне, поскольку в ней неизменно лишь одно — стремление подвергать других насмешкам. Поэтому отныне он ограничится лишь скромными выступлениями в «Федреландет»; 3) либо он решит не нападать более на магистра Киркегора.

В последнем случае я намеревался вынести ему мягкий приговор. Я хотел тогда лишь обратить внимание людей на то, перед какой пропастью они стоят, показать им (сам я нападал на вымышленных лиц, следовательно совершенно беззлобно, в чисто эстетическом плане), как надо реагировать на это, и одновременно дать понять, сколь опасным для них может стать, если вместо вымышленных будут названы настоящие имена.

Мое намерение состояло в том, чтобы вырвать Гольдшмидта из этого журнала и устроить его как журналиста по эстетическим проблемам на приличных условиях в приличный журнал или газету. У него была хорошая голова, он единственный из молодых, на кого я, собственно, обратил внимание. Он мог бы быть мне полезен для работы в области эстетики.

Он был ранен с пользой для себя. Он нуждается в подобном воздействии. Он может, как теперь оказалось, очень хорошо продвигаться в жизни, приобретать многих подписчиков и т. д. и т. п., но жизнь его так и останется безыдейной.

Срок испытания в отношении его был строго выдержан. На следующий день или спустя несколько дней после того, как появилась статья о П. Л. Мёллере, он остановил меня на улице, откровенно рассчитывая, что я откровенно выскажусь, что же ему, по моему мнению, делать. Я на это не откликнулся и обошелся с ним даже холодно.

На следующий день после того, как на меня были обрушены целые возы бранных слов, я встретил его на улице. Он проходил мимо, и я окликнул его, позвав: «Гольдшмидт!» Он подошел. Я предложил ему пройти со мной. Я сказал ему на сей раз, что он, по-видимому, неверно понял меня, когда я его укорял и предостерегал, рекомендуя отказаться от своей деятельности в «Корсаре». Он вероятно пребывает в заблуждении, думая, что все это меня не трогало до тех пор, пока я сам не стал объектом его нападок. Теперь он, конечно, понял, что дело обстоит иначе. Поэтому я хочу совершенно серьезно повторить то, что я говорил ему прежде. И я это сделал. Я совершенно серьезно постарался довести до его сознания, что он должен покончить с «Корсаром». Было одновременно и смешно и грустно видеть, как он со слезами на глазах (у него, как обычно у подобного рода людей, легко было вызвать слезы) сказал: «Как вы можете так судить обо всем моем поведении и при этом не сказать ни слова о том, есть ли у меня хоть какой-нибудь талант». Вы-



*Меир Арон Гольдшмидт (1819—1887).
С картины Элизабет Йерихау Бауман*

сказав ему все, я попрощался с ним с той подчеркнутой доброжелательностью, которую я всегда к нему проявлял, и с той же дистанцией, которую я всегда сохранял по отношению к нему.

С тех пор я никогда более не говорил с ним. И это происходило поистине не по моей вине. Ведь я не

только простил его за все, что он причинил мне, но и совершенно не гневался на него за это, я не столь непоследователен. Нет, я считаю, что всему виной обстоятельства. Меня всегда считали ироничным, и если я по ходу событий делал хорошую мину, то можно было опасаться, что я тем самым поддерживаю его, даю санкцию на то, чтобы его поведение тоже было пронизано иронией. Для столь спокойного человека, как я, просто обременительно разыгрывать гнев».*

Что касается последних слов, то Киркегор здесь солгал сам себе, потому что он именно-таки был чрезвычайно раздосадован, более того — он был до крайности зол, что однако не помешало ему захотеть испытать молодого редактора, чье дарование он признавал, и поставить его перед выбором: или — или! Либо закрыть «Корсар» и начать что-либо новое, либо сорвать с себя маску.

Гольдшмидт выбрал последнее, и уже 2 января 1846 года «Корсар» начал делать то, к чему Киркегор его побуждал: ввел его в журнал, однако отнюдь не тем способом и не в том виде, о каком Киркегор мог бы помыслить. Вместо того чтобы самому предпринять против него атаку, Гольдшмидт поручил это своему карикатуристу Клеструпу, и тот стал действовать безостановочно, дав волю своему примитивному рисовальному искусству, изображая легко узнаваемую внешность Киркегора: его несколько сутулую осанку, остроносый профиль и брюки, где одна штанина казалась короче другой, что вполне можно было приписать дефекту телосложения. Сюда же

* Часть этих заметок со слов «Мое намерение...» цитирую в пер. В. Похлебкина по изданию: Э. Л. Вредсдорф. Литература и общество в Скандинавии. М.: «Прогресс», 1971. С. 114, 116, 124, 125. — *Прим. перев.*

добавлялись дорожная трость, цилиндр и приталенный сюртук. Изображался при этом Киркегор во всевозможных комических ситуациях: то он вел рукопашный бой со знаменитостями, то делал смотр своим войскам (изрядно потрепанным и немощным), то раздаивал свои книги (поскольку никто не хотел их покупать) и даже «тренировал свою служанку» (тем, что скакал, усевшись на ее спину верхом).

Можно себе представить, как был потрясен всем этим Киркегор, если учесть, что в те времена о подобных методах и слыхом не слыхивали.

•1847

Позволить гусям затоптать себя насмерть означает выбрать медленную смерть. Позволить истрепать себя насмерть завистью есть также своего рода медленный способ умереть. В то время как вульгарность насмехается надо мной (то, что однажды опубликовано в журнале, стоило бы немногого, если бы это не служило командой для вульгарных людей — школяров, студентов, приказчиков и всякого сброда, которых вульгарная литература подстрекает день за днем насмехаться над человеком и ругать его открыто на улице), зависть приличных людей одобряет это, — разве это не удивительно? И при таких условиях надо жить, хотят, чтобы я жил. Нет, я все же рад тому, что я действовал. И все же столь жестокое обращение грызет меня, страшно мучает. Все имеет свой конец, но это не прекращается. Находясь в церкви, замечать, что несколько олухов садятся возле тебя, чтобы в удобный момент воззриться на твои брюки и насмехаться над тобой в разговоре между собой, который ведется так,

что слышно каждое слово! Однако я к этому привык. Наглость получает доступ в журнал, и вот наглецы начинают считать, что они правы и даже что им принадлежит право формировать общественное мнение. В некотором отношении я ошибался в своей оценке Дании. Я не думал, что вульгарность — это единственное общественное мнение Дании, но теперь могу успешно доказать, что дело обстоит действительно так*.*

Киркегор все более двигался в сторону обобщений, приписывая своим личным переживаниям значимость всеобщности:

• 1847

Того, что здесь, в Копенгагене, господствует жуткая тирания грубости и вульгарности, отвратительная распущенность, — всего этого не замечают вследствие того, что каждый в отдельности вносит в это сравнительно малую лепту. А если немногие лучшие, печально-умудренно заботясь о собственном благополучии, постоянно уходят в сторону, укрываясь в материнском подоле или в лоне семьи, находя убежище в немногих сравнительно благородных кружках и компаниях, — то этого никто никогда не в состоянии заметить. Поэтому я и не хочу отступать и хорошо знаю, что я делаю, в то время как всякие умники почитают меня за сумасшедшего. Люди не столько злы, сколько сбиты с толку, а происходит это потому, что их внимание становится направленным. День, когда чернь это-

* См.: Литература и общество в Скандинавии. С. 123. — *Прим. перев.*



а) П. Л. Мёллер
и Сёрен Киркегор



б) С. К.



в) «С. К., тренирующий свою
служанку» (карикатура
из «Корсара»)

го города начнет бить меня по голове (а день этот, видимо, не за горами), и станет днем моей победы. Тогда-то и увидят, во что, в какие мерзости все это выражается, и одновременно поймут, в чем именно заключается моя вина: в том, что я одиночка, что у меня хватило мужества правым делом заслужить самого себя. Датчане — трусливейшие бабы, и быть может не столько даже на войне, сколько тогда, когда речь заходит о неприятностях. Скоро датский народ перестанет быть нацией и превратится в стадо, подобно евреям; Копенгаген — это вовсе не столица, а истинное местечко».

«Гений в провинциальном, местечковом городке» — вот выражение, которое в последующие годы Киркегор множество раз употреблял в отношении себя и Копенгагена. Презрение к вульгарности, встречавшейся на его пути, толкало его к самоутверждению, принимавшему психопатический характер. Как видим, встречается здесь и понятие «дикость», причем в том, вполне определенном смысле, в каком оно употреблялось им в рецензии на книгу «Две эпохи» — как символ той грубости, того варварства, за которыми нет никакой идеи. Он говорил людям о вечном спасении их душ, а они отвечали островами по поводу длины его штанин. Он все более чувствовал себя одиноким и изолированным. Ему даже казалось — и есть в этом что-то параноидальное, — что он преследуем всеми, между тем как речь могла идти лишь о весьма немногих людях того весьма определенного сорта, которых избегает любой общественный деятель. И чем более третируемым ощущал он себя в Копенгагене, тем чаще являлись ему мысли о должности сельского пастора:

«Однако бесспорно развиваешься, когда в таком маленьком городе, как Копенгаген, живешь так, как это делаю я. Работать с чрезвычайной, почти до отчаяния, самоотдачей, испытывая глубокие душевные муки и бесконечную сердечную боль, тратить деньги на издание книг, чтобы потом не насчитать и десятка (буквально!) человек, которые бы внимательно их прочли. И в то же время студенты и иные пишущие едва ли не поднимают тебя на смех, когда ты выпускаешь большую книгу. А тут еще газетенка, которую все читают, листок, давший себе презренную привилегию болтать все, что ему вздумается, изрекать лживейшую фальсификацию. И ничего, все это читают! А еще целая свора завистников, пособничающих именно тем, что говорят они прямо противоположное, унижая меня еще и таким способом. Быть постоянным объектом всеобщего внимания и дискуссий, наблюдая лишь одну-единственную перемену: защищаешься от нападок лишь для того, чтобы вызвать на себя нападки еще худшего свойства. По приказу «Корсара» любой бандит считает себя вправе оскорблять меня, студентики скалят зубы и хихикают, радуясь тому, что выдающийся человек втоптан в грязь. Профессора — завистливы и втайне симпатизируют нападкам на меня, еще и добавляя кое-что от себя. Одним словом — какое-то бедствие. Что бы я ни сделал, любая малость и мелочь (скажем, я кого-то навестил) немедленно подвергается пересуду, лживо перекрученная. Если об этом узнаёт «Корсар», он это печатает, и вот об этом уже осведомлено все население. Человек, которого я навестил, оказывается в затруднительном положении, он едва ли не разгневан на меня,



«Философская дискуссия»

и упрекнуть его за это невозможно. В конце концов я вынужден жить уединенно и общаться лишь с теми, кого не выношу, поскольку других людей мне было бы жаль. И так вот все это и идет, и когда я однажды умру, у них откроются глаза, они станут восхищаться моими устремлениями и одновременно продолжать обращаться в прежнем стиле с тем из живущих, кто, быть может, и окажется тем единственным, кто меня понимал. О Господи, когда бы не было в глубинах человеческих того места, где все это могло бы быть предано забвению — полнейшему, совершенному забвению в общении с Тобой! — кто смог бы тогда все это выдержать?

Однако, благодарение Богу, моя писательская деятельность закончена. Так мне было суждено, и я благодарю Бога прежде всего за то, что мне удалось выпустить «Или — Или», а затем за то, что я сам кладу это — мой конец, сам решаю, когда следует это прекратить.



«Мироздание вращается вокруг С. К.»

Люди не смогут этого понять, — понять именно того, что я могу доказать в двух словах: а именно, что так оно все и обстоит; что ж, я хорошо это понимаю и нахожусь в порядке вещей...

Если бы я мог настолько внутренне продвинуться, чтобы стать пастором! Занятый этой спокойной деятельностью, я был бы вправе в свободные часы немного сочинительствовать. И сколь ни удовлетворяла бы меня моя предшествующая жизнь, тогда бы мне дышалось легче.

Однако замыслу стать пастором все же не суждено было осуществиться. Ибо подлинное призвание Киркегора заключалось в том, чтобы оставаться поэтом. И точно так же, как когда-то, когда он был близок к тому, чтобы

войти во враждебную поэзии гавань брака, он, чтобы этого все же не случилось, выбросил за борт своих попутчиков, так и сейчас в нем начался процесс, внутренней сутью которого было оправдание своего поэтического гения и права заниматься творчеством и дальше.

Глядя на эпоху, в которую он жил, он полагал, что в ней отсутствует серьезность; серьезное и бессмысленное в ней перепутались и поменялись местами:

♦1846

Большинство людей полагают, что серьезное дело — получить должность, затем внимательно следить, как скоро освободится должность более высокая, чтобы постараться ее занять и чтобы потом переехать на новую квартиру и заняться ее обживанием. Они полагают, что серьезное дело — войти в хорошее общество; к обеду у его превосходительства они готовятся тщательнее, чем к причастию, и если вы увидите их по пути, то обнаружите столь серьезными и важными, что просто ужас. Что ж, все это я еще вполне могу понять. Но единственное, чего я понять никак не могу, так это того, что если все это серьезно и важно, тогда выходит, что вечность — сплошная шутка и шалость. Ибо в вечности-то нет ни продвижения по службе, ни повышения в чине, нет там ни переезда на новую квартиру, ни обеда у его превосходительства».

Все это не обещает ничего хорошего человеку, у которого есть намерение поступить на службу, и в дальнейшем Киркегор все более и более пытается выявить различие между своим, охотящимся за должностями,

временем и временем апостолов, когда подобные вещи были неизвестны и жили люди в житейской неуверенности:

«Был ли апостол Павел государственным служащим? Нет. Имел ли он выгодную работу? Нет. Зарабатывал ли он большие деньги? Нет. Был ли он женат и производил ли на свет детей? Нет. Но ведь тогда выходит, что Павел не был серьезным человеком!»

Но что более всего отвращало Киркегора от попыток занять пасторское место, так это наблюдение за священниками, уже занявшими эти места и ощущавшими себя при этом чиновниками — вместо того, чтобы проповедовать Евангелие с полным осознанием экзистенциального риска:

«1847

Относительно священнического облачения мне хорошо известно, что некоторые священники используют сукно, другие — шелк, бархат, бомбазин и т. п., однако все это их личное облачение; что же касается христианского облачения, то не является ли им нечто совсем иное: скажем, то, что за добрые дела бывают осмеяны, оклеветаны и оплеваны; вот такому субординационному порядку и следует пребывать. И в самом деле, ведь не самоубийцей же был Христос, следовательно вина ложится на мир, на людей, и очевидным это стало, когда его распяли. И что, намного лучше стал мир с тех пор? И после всего этого, облачившись в шелка и в роскошь, читать об этом проповеди перед толпой любопытных! Отвратительно!»

Гнев Киркегора, который он сдерживал и подавлял, постепенно все более сосредоточивался на фигуре главы датской церкви, епископа Якоба Петера Мюнстера, которому в то время было уже за семьдесят. Во многих отношениях он был импонирующей, импозантной личностью и вообще откровенно аристократическим явлением — красивый, исполненный достоинства, несколько холодноватый, высокообразованный мужчина, умевший соединить гётеанский гармонический пластический идеал с евангельским рассказом о страдании, соединить в некое язычески окрашенное христианство консервативного

«Тихо! Вот идет Или — Или!» Рисунок Й. Т. Лундбая



толка. В политическом смысле он все более становился с годами приверженцем абсолютизма, а в духовном смысле — сторонником англиканской и государственной церкви.

Отношение Киркегора к Мюнстеру было совершенно особого рода, ибо определялось тем, что Мюнстер был духовником и душеприказчиком Михаэля Педерсена Киркегора, и сколько себя Сёрен помнил, в доме богатого и склонного к размышлениям сукнопродавца постоянно бывал этот представительный человек. Так что незаметно свою почтительность к отцу он перенес и на Мюнстера. Однако такое отношение не было обоюдным, ибо вследствие своей основополагающей внутренней установки и англиканских пристрастий Мюнстер скептически относился к каждому, кто шел своим собственным путем. Поэтому-то он и поступил столь неудачно (что, кстати, и стало решающим в характеристике его личности потомками), войдя в конфронтацию с людьми, которые, при всем их различии, составили эпоху в датской религиозной жизни: с Грундтвигом и Киркегором.

Вначале Мюнстер с интересом следил за литературной деятельностью Киркегора, однако длилось это недолго, ибо он уже учуял еретика и становился все холоднее и сдержаннее. Киркегор часто навещал его, но однажды Мюнстер велел сказать, что его нет дома:

«4 ноября 1847

Сегодня был у дверей епископа Мюнстера. Он сказал, что очень сильно занят, и я отправился назад. Однако при этом он был еще со мной и очень холоден. Видимо, его очень уязвила моя последняя книга. Я так это понял. Быть может, я и ошибаюсь. Однако

в чем я не сомневаюсь ничуть, так это в совершенно ином — в том, что как раз это обстоятельство и подарило мне то спокойствие, которого раньше у меня не было. Я всегда противился тому, чтобы написать нечто, о чем бы я знал, что это его заденет или тем более рассердит. И вот я вижу, что это случилось. Это случилось много раз и раньше, однако он не позволял себе сердиться. И вот, смотрите-ка, хотя бы на мгновение он задет, я прямо-таки оживаю, я радуюсь. Я никогда не сделал ничегошеньки такого, что бы вызвало его похвалу или одобрение, однако я был бы неописуемо рад узнать, что он со мной заодно — исключительно ради него самого. Ибо о том, что я прав, я знаю достовернейшим образом: из его проповедей».

Что именно Киркегор подразумевает, видно из следующей записи:

«1847

Почти на каждой второй странице мюнстеровских проповедей можно показать, сколь мало существует, по его же собственным ощущениям, подлинных христиан или тех, кто что-либо делает для того, чтобы быть христианином. И разве это не оптический обман — все это совокупное целое: государственная церковь, христианская страна, христианский народ? И что далее можно сказать, если посмотреть на факты: на то, что его, Мюнстера, место оплачивается государством, а он пожинает почет и уважение почти так же, как если бы был профессором древнееврейского языка, не несущим ни малейшей ответственности, много или мало желающих изучать

древнееврейский, но отвечающим исключительно за самого себя? И когда такое признание, какое сделал в своей проповеди Мюнстер, делается, то становится очевидным, что каждый учитель в церкви, в государственной церкви *eo ipso*, является подобием миссионера, работа которого состоит в том, чтобы, рискуя всем, заставить людей внимательно вслушиваться и, в противоположность государству, мочь поручиться за то, что делается все для того, чтобы христиан стало как можно больше. В случае Мюнстера, если бы он захотел стать учителем в апостольском смысле слова, учителем немногих христиан, о чем он сам говорит, то имел бы он весьма скромный доход и к тому же без всякого гражданского чина. И вот, если в одно из мгновений существует лишь очень немного христиан, то в последующие почему-то само государство вдруг становится христианским, и пастору или епископу не остается ничего другого, как, наподобие чиновника, отсиживающего положенное время в своей конторе, читать в церкви проповеди: впрочем, избегая подходить к людям слишком близко — ради повышения по службе».

Громадный пессимизм Киркегора и его презрение к людям как-то явно не сочетаются с мыслями о государственной церкви, члены которой поголовно христиане. Они же ничего не делают для этого, эти громадные скопища людей, каждое воскресенье присутствующие у церковных врат, на пении хоралов и на проповедях. И задача заключалась в том, чтобы встряхнуть их, вывести из тупого состояния христианства как привычки. Однако для этого потребовались бы совсем иные средства воздей-

ствия, нежели рутинные пасторские проповеди, на которых люди засыпают:

«Лучшего во мне все же не понимают. Я работаю в изнурительном ритме, скоро мне придется опасаться за средства к существованию; а меня упрекают в том, что я не поступаю на службу. Мне совершенно ясно, что если я поступлю на службу, то откажусь от того лучшего, что я в состоянии сделать. Этого-то никто и не желает и не может понять. Воображают, будто бы можно сделать больше, вступивши в должность. О да, как бы не так! Нет уж, если начинают с получения должности, то как раз и обустроиваются в надувательстве: нас учат христианству, ибо для того, кто учит, это есть самое настоящее хлебное место. Что это именно так — абсолютно ясно, вот только что делать со всеми этими искателями хлебных мест? И поскольку имя им легион, то они-то и перевернули ситуацию: отныне они-то как раз и серьезные люди — с помощью хлебного места, я же — легкомыслен, ибо хотя и тружусь столь же усердно, как и любой другой, однако хлебного места не имею».

Киркегор все больше приходит к убеждению, что занять должность в церкви равнозначно тому, чтобы стать мошенником или шарлатаном, и что церковное благовествование — чудовищный обман. Необходимо было нечто совсем другое: нужен человек, который, не имея церковных полномочий, смог бы проповедовать подлинное, неискаженное евангелие, человек, имеющий мужество действовать без оглядок на то, к каким последствиям для его личной судьбы это может привести, короче говоря — нужен мученик.

Наше время нуждается не в гении, — я думаю, гениев оно имеет в достаточном количестве, — а в мученике. В том, кто ради того, чтобы научить людей послушанию, сам стал бы послушником и был бы им до самой смерти, в том, кого люди потеряли именно потому, что убили. И когда они его убили, в них вошел страх перед собой. А это и есть то пробуждение, в котором мир нуждается».

Раньше мы уже упоминали, что с ранней юности Киркегор осознавал, что «есть люди, чье призвание в том, чтобы приносить жертвы, тем или иным способом жертвовать чем-то ради того, чтобы оттенить и подчеркнуть идею», и что он, «несущий свой особый крест, именно таков».

Сейчас эта мысль выходит на первый план, в возрастающей мере овладевая Киркегором в последующие годы. Он чувствовал, он ощущал, что был исключением, одиночкой, не способным «реализовать всеобщее», а если добавить сюда его отвращение к людям вообще и к пасторам в особенности, то специфичность его эволюции станет вполне объяснимой.

И эта эволюция подвигла его на новый виток литературной активности. Мысли о работе на селе и об уединенной, укромной жизни улетучились, и его хрупкое тело начали сотрясать новые волны творческой лихорадки и напряжения. И не без оснований он сомневался в том, выдержит ли столь чудовищный темп. «В чем, собственно, нуждаешься, когда имеешь столь слабое тело? В сильном духе», — такова невеселая запись в дневнике. А вот

другая: «Кончится тем, что я просто рухну...» Как это позднее и случилось.

Однако все это лишь мгновенные рефлексии, отнюдь не разрушающие того общего ощущения невероятного облегчения, которое пришло к нему, когда он наконец отказался от мысли искать место службы, оставив за собой одну-единственную службу: писать, соединяя этот процесс со все возрастающей уверенностью в «исключительности» своей особой миссии. Отсюда же проистекала убежденность в важной значимости конфликта с Гольдшмидтом:

«24 января 1847

Хвала Господу, что на меня были обрушены все эти атаки вульгарности. У меня было достаточно времени, чтобы всмотреться в себя и убедиться: идея уйти в пасторство, чтобы в полной отрешенности заниматься покаянием, была безнадежной. Сейчас я утверждаюсь совершенно иным способом, иным, нежели прежде, — я утверждаюсь на своем месте».

В тот же самый день, 24 января 1847 года, Киркегор закончил новую книгу, открыв ею новый этап своего творчества. Этот этап, хотя по объему и не сравним с предыдущим, все же вполне достоин почтительного уважения, ибо только в последующие четыре года он написал не менее четырнадцати больших и маленьких книг. Не все из них были им опубликованы, некоторые он предпочел оставить лежать в ящиках письменного стола и среди них также и ту, что была завершена 24 января.

В «Книге об Адлере» (так назывался неопубликованный текст) рассказывалось о случае, весьма занимавшем

Киркегора в конце 1846 года. Рассказывалось о пасторе из Борнхольма Адольфе Петере Адлере. В юности он был убежденным гегельянцем и даже написал несколько книг о гегелевской логике, как вдруг в 1843 году с ним произошло нечто вроде того обращения (правда, противоположного свойства), какое случилось с Хайбергом, когда в 1824 году во время пребывания в Гамбурге, в гостинице «Английский король», тот вдруг постиг гегелевское евангелие. Адлер же получил откровение от Иисуса и кое-что записал под диктовку. После этого он написал несколько книг, защищавших свободное христианство и пиетистскую религию чувств. В 1845 году Мюнстер позаботился о том, чтобы Адлер был уволен со службы, ибо подвергал опасности престиж государственной церкви, хотя, вообще говоря, Адлер был вполне ортодоксальным христианином протестантского толка.

Этот случай должен был с неизбежностью сильно заинтересовать Киркегора, так как до известной степени это был его собственный случай. Впрочем, говоря по правде, книги Адлера были довольно путанны, отнюдь не свидетельствуя о сильном диалектическом даре. И все же пастор, вдруг сжегший все свои сочинения о Гегеле и в искреннем сердечном порыве отдавшийся христианству, вошедший в конфликт с государственной церковью и в конце концов отлученный Мюнстером, не мог не возбудить в Киркегоре живейшего страстного участия, ибо он как в зеркале увидел здесь свою возможную судьбу, случись ему вступить в государственную церковь и принять сан.

«Книга об Адлере» — это прежде всего исследование феномена откровения и того, какие формы оно принимает, если обретает вдруг реальность в наше время. Далее



*Пастор Адольф
Петер Адлер*

встает вопрос: как отыскать того, у кого есть реальное право говорить об инспирации? Такой человек должен был бы быть чем-то «из ряда вон выходящим», и, на взгляд Киркегора, самым характерным для такого человека следует признать его стремление к самопожертвованию. Он не задумывается о том, каким образом победит то, о чем он возвещает, ибо из него-то, собственно говоря, ничего и не исходит, все находится в Божьих руках и в Божьей воле, хотя:

«На нем лежит ужасная ответственность избранного одиночки за каждый свой шаг, за то, чтобы вплоть до мелочей точно следовать тому приказу, который он вполне определенно и в согласии с Божьим гласом слышит в своем одиночестве, — ужасная ответственность, ибо можно ведь ослышаться или не

расслышать. Именно по этой причине он должен бы желать себе всяческого противоборства извне, должен бы желать себе той жизненной стойкости, благодаря которой он смог бы выдержать жизнь в качестве предварительного строгого экзамена, ибо это испытание и эта боль — ничто в сравнении с ужасом ответственности, с ужасом вины, если он впадет или упал в ошибку...

Аналогично обстоит с тем, кто по-настоящему исключителен. Он беззаботнейший человек, когда дело касается бранных забот тех мирских героев, которые проповедуют о том, что побеждает в миру; и напротив, каждый раз, когда он представляет себе свою ответственность, его наполняет страх, он трепещет, как самый последний грешник, ибо разве он не может тем или иным образом впасть в ошибку? Да, ему кажется, что перехватывает дыхание — столь тяжким грузом лежит на нем бремя ответственности. Именно поэтому он жаждет сопротивления; он — сама слабость, он — сама сила, он — тот, кто, будучи отдельным и единичным, все же во всей своей слабости сильнее, нежели вся совокупная мощь существования, безусловно имеющая власть и бичевать его, и казнить, словно он — ничто».

Впрочем, здесь можно было бы выразить легкое удивление и, быть может, даже возразить: разве этот исключительный одиночка не тем именно исключителен, что обладает уверенностью, — той внутренней уверенностью, которая предохраняет его от тех самых душевных мук, на которые здесь намекается и которыми, собственно, и отмечено стояние перед ответственностью обыкновенного

человека? Однако чтобы правильно понять процитированный отрывок, надо принять во внимание, что в этом фрагменте нашли выражение собственные душевные муки Киркегора той поры. Причина же этих мук таилась в размышлении, является ли он этим исключительным и «из ряда вон выходящим». Мысли в этом направлении именно тогда и стали в нем оформляться и усиливаться, сопровождаясь постоянными сомнениями и страхом. Поэтому он вынужден был упорно возвращаться к этой проблематике, и не только в дневнике, но и в сочинениях, главным образом в «Двух этико-религиозных трактатах», изданных под инициалами Х. Х. Подзаголовок одного из трактатиков — «Может ли человек позволить убить себя за правду? Поэтический эксперимент». Другой называется «О различии между гением и апостолом».

Впрочем, то, что оба трактата появились за подписью Х. Х., весьма необычно для этого периода творчества Киркегора, поскольку в это время оно становится все более непосредственно проповедническим, и потому Киркегор ставит под сочинениями свое собственное имя либо же поступает так, как поступил в случае с «Болезнью к смерти» и «Упражнением в христианстве»: авторство приписано Анти-Климакусу, а издано С. Киркегором.

Если он не поставил под двумя этими книгами свое подлинное имя, то причина в том, что развивал он здесь мысли о сущности христианства. В обеих книгах требования к человеку, могущему быть названным подлинным христианином, выставлены столь высокие, что Киркегор вполне мог усомниться, выдерживает ли он их сам. Поставь он свое собственное имя, это выглядело бы так, будто у него есть претензия считать себя вполне овладевшим подлинным благовествованием и что сейчас

он лишь обуреваем жаждой поучать других. Потому-то на титуле и должен был стоять псевдоним, однако сразу под ним и его собственное имя в качестве издателя, поскольку обе книги выражают его собственную точку зрения, отнюдь не превращаясь в поэтическое моделирование. Свои воззрения на то, что есть христианство, до этого Киркегор излагал в «Философских крохах» («Философии на закуску») и в «Постскриптуме», на титульных страницах которых стоял псевдоним «Климакус». Среди множества псевдонимов Киркегора этот был ближайшим к нему, и к тому же лишь у одного Климакуса нет притязаний на бытие в качестве христианина. Анти-Климакус в точности похож на Климакуса, лишь с одним-единственным, но решающим различием: Анти-Климакус, как о том сам Киркегор написал в маленькой заметке, а затем в дневнике, «является таким выдающимся христианином, какого до сих пор еще не было». Тем самым вполне отчетливо сказано, что христианские требования подняты здесь на такую высоту, о которой самому Киркегору прекрасно известно, что ни одна человеческая душа не сможет туда подняться, как и он сам, автор, тоже. Ибо он сам, будучи обремененным первородным (родовым) грехом, своей меланхолией и тем, что он называл «жалом в плоть», был этим бременем привязан ко вполне определенному феномену, который он в своей, быть может, самой замечательной и глубокой книге обозначил как «болезнь к смерти».

Этот текст, являющийся своего рода психологической демонстрацией и продолжающий линию «Понятия страха», завершается в агрессивном и полемическом тоне и, направленный против пасторов и христианства, ведет напрямую к «Упражнению в христианстве», тексту весьма

воинственному, в котором датским священникам Мартенсену и Мюнстеру пришлось сполна расплачиваться, что называется, за всех. Главная мысль этого сочинения — требование, чтобы христианин ощущал себя *современником* Христа и принял на себя с необходимостью вытекающие из этого страдания. Это обвинительный акт христианскому миру, оказавшемуся несостоятельным, гибнущему в иллюзиях и лжи.

Этой книгой Киркегор открыто заявил о своих убеждениях. В качестве издателя он был ответчиком, и он принял полноту ответственности на себя, выставив горчайший счет своему времени. Все для него сконцентрировалось теперь вокруг этой темы, все иные темы и обстоятельства словно бы растворились в неизвестности.

Наступил великий революционный 1848 год. Раньше он заявлял, что время на дворе слишком жалкое, чтобы оно могло, набравшись духу, сотворить революцию. Когда же она, вопреки всем его прогнозам, все же разразилась, то это его ни чуточки не взволновало, у него для нее не осталось ничего, кроме презрения, поскольку революция эта была демократической:

•1848

Из всех разновидностей тирании народное правительство — тирания самая мучительная, самая бездуховная, являющая непосредственный упадок всего великого и возвышенного... Народное правительство — это воистину портрет преисподней. Ведь даже испытывая адские мучения, все же находишь отраду и утешение в том, что можешь пребывать в одиночестве; это же мучение в том и состоит, что здесь «многие» тиранят одного».

Не проявил он ни малейшего интереса и к войне Дании с Гольштейном и Пруссией. На военную службу был призван его слуга Андерс, и раздражение Киркегора по этому поводу — пожалуй, единственная реакция на это политическое событие.

То, что Регина вышла замуж за Фрица Шлегеля, отразилось лишь в коротком дневниковом комментарии:

«Эта девушка доставила мне столько хлопот. И вот же — она не умерла, но счастлива и удачно вышла замуж. Об этом-то я и говорил ей в тот самый день (шесть лет назад) и был за то объявлен самым подлым из всех подлых мерзавцев. Странно!»

Через полгода после столкновения с Киркегором Гольдшмидт действительно решился поступить так, как хотел того Киркегор: прекратил выпуск «Корсара», обратившись к более серьезным делам. Однако Киркегор не обратил ни малейшего внимания и на это. Один год Гольдшмидт провел за границей, во Франции и Италии; вернувшись на родину, он основал новый журнал — «Север и юг» — одно из самых замечательных изданий, когда-либо появлявшихся в Дании. Он писал в этот журнал главным образом сам, одновременно продолжая заниматься художественной словесностью, что сделало его со временем датским классиком. Однако и этого Киркегор совершенно не заметил. Гольдшмидт так и запечатлелся в его сознании как редактор «Корсара», личность хотя и талантливая, однако аморальная и безыдейная. Конфликт и перепалка имели решающее значение для обеих сторон, хотя если быть точным, — все же для Киркегора большее, ибо это привело его в то агрессивное и полеми-

ческое настроение, которое крайне озадачило все его окружение, а заодно и христианский мир. Вместе с тем это настроение все более отгораживало его ото всех, превращая в добычу его собственной интровертной, погруженной в тоску, страх и отчаяние, натуры.

Гений или апостол? Он был, конечно же, значительнее, чем первый, хотя и меньше, чем второй...

Чрезвычайная инстанция, или Спор с церковью

Мюнстер

В эти годы Киркегору работалось отнюдь не так беззаботно, как прежде. На то были как внешние, так и внутренние причины.

1847 год был для него поворотным, так как в этот год ему исполнилось тридцать четыре, а ведь многие годы он был убежден, что ему не суждено достичь этого возраста. Собственно, мысль о том, что над их семьей тяготеет проклятье и что он сам должен рано умереть, потеряла свой смысл после смерти отца. И все же, несмотря на это, Киркегор был чрезвычайно удивлен, когда критический момент миновал, а он оставался жив. Сам этот факт вынуждал его пересмотреть свои планы на будущее.

Однако избавиться от мыслей о своей скорой кончине он все же не смог, тем более что здоровье его было не блестяще. И зашел он в этих раздумьях так далеко, что стал высматривать человека, которому бы он мог вполне довериться и у которого бы имелись данные продолжить его творческий труд в полном соответствии с его внут-



Епископ Я. П. Мюнстер (1775—1854). Фотография 1850 г.

ренной сутью. Выбор пал на профессора философии Расмуса Нильсена, старше его на четыре года, в свое время начинавшего в качестве гегельянца, а затем разорвавшего с гегельянством под влиянием сочинений Киркегора. Однако эксперимент Киркегора не удался. Расмус Нильсен с жадностью проглатывал все, что сообщал ему Киркегор, однако использовал все это и трактовал в такой манере, которая никак не могла устроить Киркегора, ибо все у Нильсена приобретало поучительно-менторский характер. Аргументы своего наставника Нильсен использовал прежде всего для того, чтобы бросить их в лицо Мартенсену, своему университетскому противнику. Само по себе это могло быть вполне приемлемо для Киркегора, поскольку он не очень-то симпатизировал Мартенсену. Однако он считал, что пока нет оснований направлять против него тяжелую артиллерию. В осторожной форме он предостерег Нильсена против использования своей аргументации в делах личной вражды, поскольку это трансформирует всю доктрину. Эти упреки больно задели Нильсена, и он прекратил совместные еженедельные прогулки, которые они давно уже, с замечательной регулярностью, совершали. Это была единственная серьезная попытка Киркегора выйти из самоизоляции и установить контакт.

В это время Киркегору пришлось начать задумываться и о своем материальном положении, которое уже не было столь прочным. Жил он, в общем-то, на широкую ногу, не имея при этом ни малейших доходов, в том числе и от своих книг. Военный и революционный 1848 год падением курса ценных бумаг принес ему большие убытки. Отцовский дом на Ниторв, который он унаследовал вместе с братом и куда вновь въехал в 1844 году,

они продали в 1847 году, поделив выручку между собой. В дневнике 1849 года он много раз упоминает о том, что у него уже нет материальной возможности продолжать заниматься писательством. С другой стороны, у него было чувство, что, завершив «Упражнение в христианстве», он сказал все, что было у него на душе, и что теперь ему ничего не остается, как принять решение прекратить писать. И в это же самое время он знал, что не сможет этого сделать.

«(Июнь) 1849

Как тяжело! Сколь часто говорил я сам себе: подобно принцессе из *Тысячи и одной ночи* я спасал свою жизнь тем, что длил рассказ, то есть сочинительство. Сочинительство и было моей жизнью. Чудовищную тоску, сердечные страдания симпатического свойства — все, все мог я преодолеть, если сочинял. Когда мир обрушивался на меня, то его жестокость, кого-нибудь другого подкосившая бы, меня делала еще более продуктивным. Я забывал абсолютно обо всем, никто и ничто не было властно надо мной, если только я мог писать.

И вот теперь я вынужден буду это прекратить; я уже не могу себе этого позволить, я не могу позволить себе быть трудолюбивым, не говоря уже о том, чтобы быть очень трудолюбивым. Но раз уж я не могу себе этого позволить, то выходит, что я стану непродуктивным, поскольку в данный момент я почитаю своим долгом стать непродуктивным: я вынужден прибегнуть к моральным доводам, дабы удержать себя от желания оставаться продуктивным.

Однако как же я страдаю от этого! Против меня восстает моя тоска, внутренние страдания обретают жизнь и силу, жестокость и враждебный напор мира кажутся невыносимыми — короче, мне не хватает именно того, что могло бы перекрыть все это, мне не хватает моего сочинительства. В конце концов, чтобы немного себя утешить, я бываю вынужден разрешить себе немножечко посочинять. Однако по существу из этого ничего не выходит, ибо я не отваживаюсь начать что-нибудь большое, и значит утешение не имеет никакого смысла. Подлинным утешением могло бы быть лишь одно: нести в себе равномерное движение непрерывной продуктивности».

Запись эта весьма знаменательна, поскольку с одной стороны она показывает, что в это время Киркегор уже замечал оскудение своего кошелька, а с другой стороны выясняется, что он размышлял о том, не прекратить ли писать вообще. И все же запись эта прежде всего доказывает, что главным для него было его писательство, что он писал, потому что этот процесс был его жизнью. Тем самым сводится на нет целый ряд других аргументов, которые он сам время от времени пускал в ход.

Он был поэтом, в первую очередь поэтом, и если ему вдруг подумалось, что он сможет прекратить писать, то отнюдь не потому, чтобы он верил, что это освободит его от мыслей и размышлений, но потому, что в нем жило смутное подозрение о том, что поэтическое вдохновение в нем почти иссякло: в эти годы он писал уже не так легко, как прежде.

К этому, безусловно, примешивался происходивший в нем специфический внутренний процесс: внутренний ди-

алог о том, является ли он чем-то из ряда вон выходящим, чрезвычайным или всего лишь поэтическим гением. Все это мешало ему двигаться вперед, не давало взяться за перо — или, точнее, это не давало ему усестись основательно и сосредоточиться на крупном произведении. Хотя это не мешало ему писать маленькие вещи, однако они не особенно его удовлетворяли. Его последнее большое произведение — «Упражнение в христианстве» — написано в 1849 году. В последние свои пять лет Киркегор написал очень немного, причем два года — 1852 и 1853 — не писал вообще ничего. Словно бы в противовес этому его дневники из этой его жизненной поры разбухают до невероятия. Впрочем, и по дневникам тоже заметно, что творческие его силы были истощены; в записях одни и те же, немногие, идеи, возвращающиеся вновь и вновь, вплоть до ощущения их навязчивой надоедливости.

Среди тем, всплывающих там непрерывно, — епископ Мюнстер, к которому он первоначально приближался с сыновней почтительностью и с безоглядным восхищением и на чье признание своей деятельности возлагал больше надежд, чем на чье-либо другое, как это показывает дневниковая запись от 4 ноября 1847 года, приводившаяся здесь ранее. Однако по мере того, как Киркегор выдвигал условия, в соответствии с которыми, по его мнению, можно было решить, по праву ли человека называют христианином, само христианство Мюнстера становилось предметом все более активных его атак. Ибо Мюнстер более, чем кто-либо другой, был представителем гармонического христианства. Великим образцом был для него Гёте, на котором он себя воспитывал. «Великое в нем — личностная виртуозность *a la* Гёте», — пишет Киркегор в

Den fidele[illegible]

дневнике 1848 года, то есть в то самое время, когда зарождавшаяся критичность еще сдерживалась привычным восхищением и почтительностью к духовнику отца. Это мы видим и в дневниковой записи предшествующего года, где о Мюнстере говорится следующее:

«1847

Но таким образом по понятиям Мюнстера христианство, собственно говоря, относится к естественному человеку примерно так же, как цирковой наездник к лошади, то есть речь идет не о том, чтобы изъять природу, но лишь о том, чтобы ее облагородить. Таково христианство, такова его форма, а быть христианином примерно то же самое, чего мог бы пожелать себе в лучшее свое мгновение естественный человек — высшее, соразмерное, гармоническое совершенство самого себя, виртуозность в наработке собственной личности. Но когда так говорят, разве не удаляются тем самым на сто тысяч миль от Спасителя, вынужденного страдать в этом мире и требующего умерщвления плоти?..

Честь и хвала епископу Мюнстеру. Среди живущих нет никого, кем бы я восхищался так же, как епископом Мюнстером, и к тому же для меня радость почаще вспоминать о моем отце. Мюнстер таков, что все его сомнительные качества мне виднее гораздо отчетливее, нежели кому-нибудь из тех, кому приходилось нападать на него. Но то, что я хотел бы сказать, это, собственно, то, о чем и следовало бы прежде всего говорить... В его существовании присутствует двусмысленность, ибо «государственная церковь» — это двусмысленность».

Такое отношение сохранялось еще и тогда, когда Киркегор выпустил «Упражнение в христианстве», явившееся хотя и не прямой, но все же атакой на Мюнстера; одновременно это было прямой атакой на государственную церковь и на священников вообще. Всегда смотревший на Киркегора с некоторым недоверием, Мюнстер на этот раз был изрядно-таки раздражен; об этом Киркегору сообщил зять Мюнстера пастор Й. Паули. Киркегор сам рассказал об этом случае и о том, что последовало далее. Его отчет выглядит так, будто он сделан тотчас после разговора с Мюнстером:

«Моя беседа с епископом Мюнстером 22 октября 1850 года, после того как он прочел «Упражнение в христианстве».

За день до этого я разговаривал с Паули, он рассказал мне следующее. Епископ весьма зол. Вот его первые слова, когда он на следующий же день вошел в комнату: «Эта книга сильно меня раздосадовала, это нечестивая игра с благочестием». И когда Паули спросил его вполне официально, сможет ли он мне при случае это сказать, тот ответил: «Конечно, ведь он несомненно как-нибудь зайдет ко мне, и я скажу ему это сам».

Хотя, как знать, быть может эти последние слова Паули выдумал. Именно затем, чтобы, если возможно, помешать мне навестить епископа.

Я же истолковал все совсем иначе. Если Мюнстер выразился в таком роде: «Когда он навестит меня в

следующий раз, я ему сам об этом скажу», — значит, он тем самым по сути дела дал книге пропуск, а равным образом и мне. И я тотчас принял решение. На следующее утро я пришел к нему. И поскольку мне хорошо известна его виртуозность по части изысканных манер (вспоминаю один случай, когда он со всей изысканностью обратился ко мне, когда я вошел: У вас ко мне дело? На что я ответил: — О нет, я вижу, у вас сегодня нет времени, я лучше пойду. И когда он затем сказал, что времени у него достаточно, я все же остался при своем намерении и расстался *in bona caritate**), я сразу начал в таком роде: «Сегодня у меня к вам в каком-то смысле дело. Вчера пастор Паули сказал мне, что вы намеревались, как только увидите меня, отругать меня за мою последнюю книгу. И вот, едва узнав об этом, я пришел и просил бы вас рассматривать это как новое выражение той почтительности, которую я всегда к вам испытывал».

На мой взгляд, это был весьма удачный зачин. Ситуация тем самым была подготовлена. Нельзя было — а в нашем случае это было бы недостойно ни меня, ни его — привести хотя бы малейшую ноту запальчивости или этаких благородных булабочных уколов. Для него путь был проложен в направлении почтительности, для меня — в направлении пиетета.

Он возразил: «Что вы, откуда у меня право вас ругать? Как я вам уже говорил, я ничего не имею против того, что каждая птица поет так, как может». После чего добавил: «Да и обо мне пусть вдоволь говорят, что кому угодно». Он сказал это с доброй улыбкой. И все

* здесь: со всей почтительностью (лат.).

же в этой последней фразе я заподозрил насмешку и тотчас попытался овладеть ситуацией. Я ответил: «Я не то хотел сказать. Я хочу попросить вас сказать мне, не опечалило ли вас каким-либо образом, что я издал такую книгу». На это он ответил: «Да. Во всяком случае, я не думаю, что она принесет пользу». Что ж, этот ответ удовлетворил меня, он был доброжелателен и личностен.

После чего мы беседовали в точности как обычно. Он обратил мое внимание на то, что как бы ни крутить и ни вертеть, все же всегда нужно следовать за ходом мысли. Я не стал обсуждать эту тему из опасения выйти на что-либо жизненно важное, хотя все же высказал свое мнение, приведя несколько отвлеченных примеров.

В дальнейшей беседе не было ничего примечательного. Лишь вначале он сказал: — Кстати, одна половина книги — атака на Мартенсена, другая — на меня. Потом мы говорили о фрагменте с «размышлениями», который, как он думал, направлен в его адрес.

В остальном беседа наша была вполне обычной.

Я объяснил ему кое-что о моей тактике. Сообщил также, что только что мы миновали самое опасное, во всяком случае так казалось мне самому в то мгновение. Однако я был молод и не осмеливался сказать больше, нежели ощущал в то мгновение, а именно: что мы только что миновали самое опасное.

Как я уже сказал, в остальном беседа была вполне обычной.

И слава Богу. О, как я страдал. Я почитал своим долгом вести тему в тоне, доверяющем существующе-

му, позволяя ему продолжаться и длиться даже тогда, когда оно производило против меня демарши.

Пока что ничего не случилось; умолчали обо всем — в такой именно манере изъяснялся Мюнстер.

Быть может то, о чем сказал Паули, и правда, однако ведь было это в самый первый день. Вполне может быть, что Мюнстер, официально капитулировав, все же имел намерение сделать что-то приватно, однако позднее отказался от этого.

И все же неужто даже незначительный язвительный намек не промелькнет в его проповедях?♦

Однако это случилось, хотя и не в проповеди. В статье о церковных отношениях Мюнстер посвятил Киркегору несколько хвалебных фраз, однако при этом, правдами и неправдами, увязал его воедино с Гольдшмидтом, причем оба выглядели в качестве одаренных молодых писателей, в равной мере заслуживающих внимания.

Перед любым упреком, брошенным ему Мюнстером, Киркегор смиренно склонил бы голову, но уравнивать его с человеком, которого он сам презирал более всех, и при этом услышать это от того, кем он более всех восхищался?! Все это глубоко ранило его сверхчувствительную натуру, и дневник пестрит в этот период замечаниями и пассажами, клеймящими Мюнстера и отрекающимися ото всего христианского мира. Однако он не торопился с принятием решения, оставив злые инвективы внутри дневника. Он проглотил обиду и боль, он молчал и ждал. Правда, он сходил к Мюнстеру, и они обсуждали дела, оставаясь при этом вполне вежливыми и светскими. Тем не менее Киркегор не преминул, хотя и был много моложе собеседника, указать ему на его долг по отношению к Гольдшмид-

ту, а именно: прежде чем Гольдшмидту заняться новой поэтической и журналистской работой, Мюнстеру следовало бы потребовать от него раскаяния в прежних журналистских проделках. К единому мнению собеседники не пришли, но обошелся Мюнстер с Киркегором дружески, что сильно контрастировало с его обычной холодностью. Старик, одной ногой стоявший в могиле, не хотел раздражать опасного писателя, и желания омрачать последние годы своей жизни полемикой у него тоже не было, тем более полемикой, которая могла принять непредсказуемые формы.

Что касается Киркегора, то он вполне уже уяснил, что образ действий Мюнстера совсем не соответствует той возможности, о которой он размышлял, написав в уже приводившемся ранее дневниковом фрагменте 1848 года: «То, что я должен сказать, именно то, о чем прежде всего и следует сказать: он совершенно девствен, если только он сам не ошибается в этом». Во всяком случае, Мюнстер перевел разговор на другую тему, и Киркегор решил держаться в рамках общепринятого — перемирие не было нарушено.

В тот год он издал три небольшие работы: томик с двумя проповедями, текст под названием «Взгляд на мою писательскую деятельность», в котором он раскрывает все свои псевдонимы и пытается дать себе и читателям отчет в том, чего же он хотел достичь своими сочинениями, и «Самоиспытания ради. Рекомендуются современникам», назидательный текст, своеобразие которого не в новых мыслях, а в новом стиле — популярном, если хотите демагогическом, то есть в стиле, с помощью которого он обращается к значительно более широкой аудитории. Два последних сочинения свидетельствуют о том,

что отныне он действительно рассматривал свой писательский труд законченным, не отказываясь при этом от мысли сделать свои идеи доступными широкой публике.

Затем наступили два года совершенного безмолвия.

Регина

По дневникам, ставшим в эти годы необыкновенно объемистыми, можно проследить, с какими колебаниями и нерешительностью, однако неуклонно готовился Киркегор к разрыву с церковью. Его мысли неотступно вращаются вокруг развращенности христианства и предательства священников, в особенности Мюнстера и Мартенсена. И веет чем-то живительным, когда в это монотонное однообразие то тут, то там вдруг вплетаются маленькие человеческие мотивы и сюжеты, свидетельствующие о том, что Киркегор был не только «из ряда вон выходящим», но что в нем еще сохранялся тот не-большой излишек человека из плоти и крови, который он стремился умертвить и исключить из своей экзистенции.

С 1851 года вновь время от времени стала появляться Регина. Киркегор написал ей в 1849 году по случаю смерти ее отца, отправив письмо Фрицу Шлегелю с просьбой передать его адресату. Шлегель отказал, вернув письмо нераспечатанным.

Тем самым исключалась всякая возможность в какой бы то ни было форме восстановить отношения. Однако несмотря на все это никто не мог им помешать иногда видеть друг друга — издали и если не где-нибудь в другом месте, то в церкви.

•(Январь) 1851

В последнее время, мне кажется, она тоже стала больше вслушиваться. Мы часто видимся... Последние месяц-полтора мы видимся почти ежедневно. Я хожу по своему обычному маршруту на вал, где она как правило уже гуляет вдоль берега. Она приходит либо с Корделией, либо одна и возвращается всегда одной и той же дорогой, и таким образом мы встречаемся дважды. Конечно же, в этом не может быть чистой случайности».

•1851

Многие годы мы постоянно виделись в церкви, главным образом в соборе, а в последнее время встречаемся чаще, чем обычно. Я занимаю свое привычное место. Она же частенько садится совсем рядом. Нередко она выглядит при этом очень страдающей. Так было три недели назад. Она села прямо передо мной. Она была одна. Обычно она участвует в пении хорала после проповеди, чего я никогда не делаю. На этот раз она не пела. Мы вышли одновременно. Перед церковными воротами она обернулась и посмотрела на меня. Она стояла на углу слева от храма. Я же повернул, как это делаю всегда, направо, потому что мне нравится идти между колоннами. Моя голова по своей природе вообще несколько склоняется вправо. Когда я повернул, то быть может наклонил голову несколько ниже, чем обычно. После чего отправился своим путем, а она своим. С некоторым опозданием я принялся себя упрекать, или, точнее, мне стало страшно, что это мое движение она могла заметить и истолковать как предло-



*Сёрен Киркегор. Рисовано по памяти
Вильгельмом Марстрандом*

жение следовать за мной. Вероятно, она этого не заметила. Но во всяком случае, если бы мне пришлось уступить ей в ее желании поговорить со мной, мой первый вопрос был бы: есть ли у нее на это согласие Шлегеля*.

♦9 мая 1852

Всю вторую половину 1851 года я встречал ее ежедневно. Это происходило по утрам, в десять часов,



когда я возвращался домой с Большой линии*. Это происходило с точностью до минуты; а место перемещалось все дальше и дальше по направлению к известняковым печам. И казалось, что она идет от известняковых печей.

Я никогда не делал ни шага в сторону от своего маршрута, всегда сворачивая на дорогу к крепости, даже если иногда случалось так, что она, подходя с дороги на известняковые печи, была еще в нескольких шагах от меня и я бы ее несомненно повстречал, если бы не свернул.

Так проходил день за днем. Несчастье в том, что я чудовищно известен, а также в том, что одинокая дама, идущая в это время этой дорогой, — изрядная

* Место для прогулок в районе Копенгагенского порта. — *Прим. автора.*



редкость. Кроме того, от меня не укрылось, что несколько постоянных пешеходов, довольно регулярно бывающих здесь в эту пору, стали обращать на нас внимание.

Следовательно, мне нужно было изменить маршрут. Помимо всего прочего, мне казалось, что это пойдет ей на пользу, ибо эти ежедневные повторения — утомительны. В случае, конечно, что у нее вообще были планы войти со мной в контакт; но тогда бы я, разумеется, вынужден был потребовать согласия ее мужа.

Итак, было решено, что 31 декабря я отправлюсь по этой дороге в это время в последний раз.

Так это и произошло. Первого января 1852 года мой маршрут изменился, я стал возвращаться через Нёрренпорт.

Потом было время, когда мы не виделись. Но вот однажды утром она встретила меня на пешеходной тропе у моря, на дороге, которую я сейчас облюбовал. На следующий день я пошел этим же моим привычным путем. Ее там не было. Однако из предосторожности я изменил с тех пор свой маршрут и стал ходить по дороге в Фаримаж, а возвращаться домой стал в конце концов как придется. Позднее я уже не встречал ее в это время на моих путях; встречи стали маловероятны еще и потому, что мои варианты возвращений стали многообразны, а также потому, что обычно она шла по пешеходной тропе вдоль моря.

И что же? Проходит некоторое время, и вот однажды утром в восемь часов она встречается мне в аллее перед Ёстерпорт, на дороге, по которой я каждое утро хожу в Копенгаген.

На следующий день ее там не было. Я продолжал ходить в город тем же маршрутом, изменить который мне было бы нелегко. Здесь она мне потом часто встречалась; иногда еще и на валу, по которому я хожу в город. Быть может, все это случайность; быть может. Однако я не мог понять, что же она могла в это время на этой дороге делать. Поскольку я на все обращаю внимание, я обратил внимание, что этот путь она особенно предпочитала тогда, когда дул восточный ветер. Это вполне вероятно, так как на Долгой линии восточный ветер она не выносила.

И что же? Она появилась и тогда, когда подул западный ветер.

Шло время, изредка она видела меня, в один и тот же час по утрам, а по воскресеньям — в церкви.

Наступил мой день рожденья. Обычно я провожу

его вне дома, однако на этот раз я был не совсем здоров. Потому я оставался дома, однако утром как обычно отправился в город, чтобы поговорить с врачом на тему, не ознаменовать ли мне свой день рождения чем-нибудь новеньким, чего я еще не пробовал, — скажем, ригинузолом. Совсем рядом с моим домом, на тротуаре возле аллеи я увидел ее. Как это со мной часто случилось в последнее время, увидев ее, я не мог сдержать улыбки — о, какое только значение она ни приобретала! В ответ она улыбнулась тоже, после чего поклонилась. Сделав шаг в сторону, я снял шляпу и пошел дальше.

В ближайшее после этого воскресенье я был в церкви и слушал Паули, она тоже. Села она вблизи того места, где я стою. И что же? Паули читает проповедь не по Евангелию, а по тексту одного из Посланий, где говорится: всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше и т. д.

Услышав эти слова, она, укрывшись за соседа, поворачивает голову и бросает взгляд на меня, очень проникновенный; все это я заметил непроизвольно.

С этими словами связано самое первое религиозное впечатление, оказанное мною на нее, и это тот текст, который особенно был мною отмечаем*. Собственно,

* Вероятно, речь идет о следующем фрагменте из «Соборного послания апостола Иакова»: «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий».

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманы-

я бы никогда не подумал, что она это вспомнит, хотя и знаю (от Зибберна), что она читала обе речи 1843 года, где я как раз обращаюсь к этому месту.

Итак, в минувшую среду она поклонилась мне, а сегодня этот текст — и она обращает на него внимание. Признаюсь, это меня несколько потрясло. Но вот Паули закончил чтение этого отрывка. Она скорее упала, нежели села, так что мне в самом деле стало немного страшно за нее, как это уже случилось однажды раньше, когда одно из ее движений было чересчур страстным.

И вот дальше. Паули начинает. Я изучил Паули довольно хорошо, и просто необъяснимо, как он напал на такую удачную преамбулу. Однако быть может она была просто рассчитана именно на нее. Он начал: Эти слова о том, что всякий дар совершенный и т. д., эти слова «высажены в наших сердцах», о да, мой слушатель, если слово способно вырваться из глубин твоего сердца, значит жизнь еще не потеряла для тебя своей ценности и т. д. и т. п. Я стоял при этом как на углях.

На нее все это должно было подействовать еще более сильно. Я не обмолвился с ней ни словом, я шел своим путем, здесь же случилось так, будто высшая сила сказала ей все то, чего я сам сказать ей не мог».

вающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие...» — *Прим. перев.*



Киркегор в 1853 г. Рисунок Х. П. Ганзена

• 10 сентября 1852

Итак, сегодня 12 лет со дня моей помолвки.

«Она» конечно же не упустила возможности оказаться на месте и встретиться мне. Встретилась она мне сегодня утром, как и вчера, в аллее возле Ёстер-

порт, и это несмотря на то, что летом я выхожу раньше, чем обычно (если я и встречал ее в исключительных случаях летом, хотя это и случалось реже, нежели раз за лето, вероятно потому, что она была на даче, то происходила эта встреча на валу вблизи Нёрренпорта). Когда вчера она проходила совсем близко, то вдруг отвела взгляд, что удивило меня. Однако в следующий момент я понял, в чем дело. Ко мне обратился всадник, крикнувший, что ко мне пришел шурин и хочет со мной встретиться. Её-то она и увидела. Сегодня она посмотрела на меня; однако не поздоровалась и не заговорила. Вероятно, думала, что это сделаю я. О боже мой, с каким удовольствием я сделал бы для нее и это, и все что угодно! Но я не могу взять на себя такую ответственность; она сама должна этого добиваться.

А как я сам мечтал в этом году о таком варианте! Но что за мука из года в год с неослабевающим напряжением думать об одном и том же.

И все же, наверное, хорошо, что ничего такого не случилось. Ибо вполне возможен был бы и такой исход всего этого: пожелав ради нее стать известным, я мог бы войти в соблазн и действовать ради победы в земном смысле, добиваясь счастья на земных путях.

Потому-то сегодняшнее столь глубокое впечатление: все это еще раз прошло мимо, миновало, ускользнуло. Со всей мощью и живостью это напомнило мне о том, что не она обладает исключительным правом на мою жизнь. Нет, конечно же, говоря по-человечески, безусловно она, и с каким удовольствием я бы сказал: у нее одной первое и исключительное право на мою жизнь и так оно и должно бы быть; и все же исключи-

тельным правом на мою жизнь обладает Бог. И моя помолвка с ней и потом разрыв — это, собственно говоря, мои отношения с Богом, это, если можно так сказать, переходя в божественный план, — моя помолвка с Богом.

И поскольку 10 сентября — день моей помолвки, то понятно, что в моем одиночестве я размышлял именно об этом, — вновь и вновь вспоминать об этом, видимо, стало моей потребностью — вспоминать, что я не пропаду и не стану софистом, наслаждающимся мирским счастьем, а параллельно проповедующим блаженство страданий, софистом, который, даже если он сам и не очень наслаждается жизнью, все же устривается так, чтобы наслаждаться радостью жены по поводу той известности, которая окружает их фамилию.

Быть может, она встретится мне завтра и сама пожелает этого, быть может, это случится послезавтра, быть может, через год — я всегда готов к этому. Однако именно сегодняшний день был для меня полезнейшим уроком, ибо ничего не произошло. Вероятно, когда-то я это неправильно понял, истолковав как кивок Бога в направлении наслаждения жизнью, временной победы, — и если бы я пошел туда, то мог бы омрачить свой дух, и то, что встал некогда на ложный путь, сумел бы заметить лишь в мгновенье смерти*.

Разве же это не свидетельство того, что Киркегор до самого конца несмотря ни на что верил в возможность объяснения и договора с Региной, в возможность союза на новой основе? И при этом его совершенно не тревожило, что есть третий — Шлегель.

Между тем ничего изo всего этого не вышло. В последний раз они виделись 17 марта 1855 года, незадолго перед тем, как она с мужем уехала в Вест-Индию, губернатором которой был назначен Шлегель. Умерла она в 1904 году в возрасте 82 лет.

Навстречу катастрофе

Когда в 1850 году Киркегор пришел к Мюнстеру, чтобы подарить ему экземпляр «Упражнения в христианстве», то произнес при этом весьма необычные слова: «Я мечтал и надеялся, что прежде чем эта книга выйдет, кого-нибудь из нас двоих уже не будет в живых». Скорее всего, он действительно так думал, ибо, с одной стороны, верил, что просто обязан перейти в нападение, с другой же стороны, уважение к духовнику отца, к человеку, которым сам он некогда искренне восхищался, лишало его свободы действий.

Мюнстер же, со своей стороны, делал все, чтобы избежать ссоры, прекрасно понимая, что она в любой момент может вспыхнуть. В то же время он беспокоился о том, чтобы Киркегор нигде не получил пасторского места. Когда-то он сам советовал ему хлопотать о пасторской должности. Тогда Киркегор этого не захотел. Сейчас же, когда средства к существованию у него уже иссякали и он зашел как-то к Мюнстеру узнать о возможности устройства на работу в пасторскую семинарию, тот отказал, предложив ему вместо этого — вряд ли без скрытой иронии — основать свою семинарию. Разумеется, об этом Киркегор и не собирался думать, ибо знал свои возможности. Киркегор в роли основателя семинарии?! Абсурднейшая мысль!



И если в присутствии Мюнстера он еще держал себя в руках, то наедине с дневником не скрывал всей своей желчи:

«В роскошном соборе перед избранным кругом знатных и образованных выступает придворный проповедник, любимчик образованной публики, трогательно возглашая слова апостола: «Господь избрал презиравших и отверженных...» И не находится ни одного, кто бы рассмеялся!»

В эти годы Киркегор пребывает в полной изоляции. Он становится отшельником внутри Копенгагена, однако главное во всем этом — его духовная изоляция, в кото-

рую он погрузился добровольно. То, что еще вчера он ценил, сегодня решительно отвергнуто, ибо в его глазах все это отныне инстанции, ослабляющие христианство, делающие его гуманнее и тем самым его фальсифицирующие. В это время требования его резко возрастают. Однако по странному стечению обстоятельств на него в этот период производит огромное впечатление нехристианский автор — Шопенгауэр, книги которого, когда они попали ему в руки, он прочел с неослабевающим интересом. Что ж, здесь он столкнулся с пессимизмом, соизмеримым с его собственным.

Однако писать он больше не хочет. Вероятно, какой-то соблазн вновь сесть за стол он и испытывал, однако не давал ему хода. Отныне все, что ему нужно, это действовать. В нем неуклонно растет убежденность, что он и есть та чрезвычайная инстанция, которая должна указать христианскому миру, что именно является христианством, и если потребуется, то указать ценой собственной жизни. В нем растет желание стать *свидетелем истины*; он понимает под этим человека, реализующего свои убеждения собственной жизнью, в живой практике, в действии, без всякой оглядки на последствия. Таким образом, в реальной жизни свидетель истины был бы равнозначен мученику.

30 января 1854 года умер епископ Мюнстер. Киркегор пишет:

•1 марта 1854

Итак, он мертв.

Когда бы удалось подвигнуть его завершить свою жизнь признанием, что он представляет, соб-

ственно говоря, не христианство, а его ослабленную и облегченную вариацию: о, как хорош был бы такой поворот, ибо человек этот был выражением целой эпохи.

Потому-то возможность для такого признания сохранялась за ним до самого конца, даже до последнего момента, хотя, умирая, он уже, вероятно, не смог бы этого сделать. Потому-то он никогда не подвергался нападкам; потому-то мне приходилось мириться со всем, даже когда он творил столь отчаянные дела, как в случае с Гольдшмидтом, ибо никто ведь не мог с определенностью сказать, не повлияет ли это на него таким образом, что взволнованный этим, он решится-таки на такое признание.

Но раз он умер, не сделав такого признания, то все меняется и остается лишь тот факт, что он проповедовал христианство, однако христианство иллюзорно-обманное.

Эта запись весьма важна, поскольку совершенно отчетливо показывает устремления Киркегора не только в отношении Мюнстера, но и каждого христианина: все они должны признать, что их жизнь не соответствует требованиям того учения, к которому они себя причисляют. Вот тогда-то правда бы и выявилась. Киркегор слишком хорошо понимал, что никто не в состоянии исполнить требований христианства. И осуждал он современных ему христиан не за то, что они не могут исполнить христианских заповедей. Лишь двух вещей добивался он: не отречься от этих требований и признать, что в качестве христиан они не в состоянии исполнить их. Он надеялся, что с таким признанием первым выступит Мюнстер. Это

было бы событием невероятной значимости, учитывая огромный его авторитет.

Однако такого признания не последовало, и вот он уже мертв.

И это был знак того, что теперь выступить должен сам Киркегор, высказав свое мнение о месте и качественном состоянии современного христианства, и сказать это во всеуслышанье.

Однако как лучше подступиться к этому? Покуда он выискивал такую возможность, обстоятельства сами пришли на помощь.

Мартенсен произнес речь памяти Мюнстера, употребив в ней выражение «свидетель истины». Это подействовало на Киркегора подобно пистолетному выстрелу. Ведь это он сам внимательно исследовал понятие «свидетель истины», чувствуя себя призванным стать одним из таких свидетелей и настраивая себя на то, чтобы принять мученичество. И тут является Мартенсен, для которого это понятие всего лишь красивое общее место, и лепит его Мюнстеру, который был всем чем угодно, только не свидетелем истины: он добился всех мыслимых выгод и благ, ведя удобную и комфортабельную мирскую жизнь, он занижал христианские требования, до смертного своего часа умалчивая о том, что все это вовсе не христианство, а подделка. И о таком человеке, язычнике и эстете, Мартенсен осмеливается говорить следующее: «Думая об этом человеке, светлая память о котором наполняет наши сердца, мы обращаем взор назад и представляем себе тот ряд свидетелей истины, который подобно священной цепочке пронизывает времена, начиная со времен апостольских».



Епископ Г. Л. Мартенсен

Это была капля, переполнившая чашу. Киркегор почувствовал, что час его настал.

Однако он не торопился. Написав статью, он положил ее в стол. Мартенсена вполне могли назначить преемником Мюнстера, и в намерения Киркегора отнюдь не входило помешать этому, так как это значило бы сместить центр тяжести. Поэтому он просто ждал. А в апреле произошло именно то, что он и предполагал. Мартенсен стал епископом. Но Киркегор все еще ждал, ему нужно было быть совершенно уверенным в успехе, нельзя было действовать опрометчиво, так как ответственность он брал на себя неимоверную.

Статья появилась лишь в декабре, явившись громадной сенсацией. Но возбудила она также и колоссальный гнев, так как в глазах большинства Киркегор сделал не что иное, как облил грязью память любимого всеми епископа. В газетах появилось множество протестующих откликов. С ответом выступил и сам Мартенсен, попытавшись снизить значимость выступления Киркегора, презрительно назвав его стиль «хаотическим». Упрек, кстати, совершенно несправедливый, так как Киркегор обдумывал статью целых десять месяцев, вносил в нее все новые и новые коррективы, прежде чем выпустил из рук.

Киркегору было мало всех этих возражений, и он продолжил публикацию своих статей в «Федреландет». Он расширил зону своей атаки, нападая уже не только на Мюнстера, но и на всю тогдашнюю христианскую церковь. Киркегор написал двадцать одну такую статью, и с каждой новой возрастала резкость выражений и ранищая острота мыслей. Завершилась эта серия статей небольшим текстом «Так пусть же будет сказано то, что должно быть сказано».

Øieblikket.

Nr. 1.

Indhold:

- 1) Erindring.
- 2) Til „Dette Nal“: „Det gaaende anbragtes et Hyldeste?“
- 3) Et det forklaring af Gaaen — den forklaring Gaaen — om muligt af samlingens Gaaen?
- 4) „Til et Gaaen!“

24 Mai 1850.

K. Kirkegaard.

Ajedschaan.

Forlagt af C. H. Melzings Bogtrykkeri.
Denne Bog er trykt.

Первый номер журнала «Мгновенье», издававшегося Сёреном Киркегором на собственные средства и заполнявшегося лишь его собственными материалами

Критика была столь резкой, что многие читатели требовали, чтобы вмешалось правительство и запретило дальнейшие публикации. Но этого не произошло. Надежды Киркегора на мученическую участь не оправдались:

общество не чинило ему препятствий даже тогда, когда он в мае начал издавать журнал, названный им «Мгновение». Он сам был его единственным автором. Вышло десять номеров.

25 сентября он записал в дневнике:

«25 сентября 1855

Назначение этой жизни — христианское.

Назначение этой жизни — дойти до высочайшей степени жизненной пресыщенности.

Тому же, кто дошел до этого пункта, или тому,

Госпиталь Фредерика, где умер Киркегор



кому Бог помог в этом, становится ясно, что в этот пункт его из любви своей привел Бог и что он, по-христиански, устраивает жизни экзамен, делая его зрым для вечности.

Явился я на свет благодаря преступлению, явился я вопреки Божьей воле. Вина, которая хотя в некотором смысле и не является лично моей и все же делающая меня в глазах Господа тоже преступником, вина эта такова: давать жизнь. Вине соответствует наказание: лишиться всякого желания и радости жизни, дойти до высочайшей степени пресыщенности жизнью».

Это было последнее, что написал Киркегор. Второго октября у него прямо на улице случился удар, он упал и был доставлен в госпиталь Фредерика в Бредгаде.

Энергия его была исчерпана. А десятый номер «Мгновения», отданный им в печать, истощил и его денежные запасы. Он умер 11 ноября, сорока двух лет от роду.

Киркегор и наше время

Экзистенциальное мышление

Иныективы Киркегора оказали громадное воздействие на официальное христианство, оставив на датской церкви (чья сущность быть может менее, чем у любой другой церкви в мире, является сущностью учреждения) неизгладимое клеймо. И все же, когда пытаешься понять причины влияния Киркегора на современность, вначале

думаешь не о споре с церковью. Сколь бы оправданной ни была его критика официального христианства, все же в ней было что-то чрезмерное, быть может потому, что исходила эта критика из преувеличенно индивидуалистического порыва, из стремления к аскезе и к отречению от мира.

Жизнь вела его от тихих форм отречения, связанных с его помолвкой, к последовательному отречению от любого вида жизнеутверждения, особенно после его конфликта с Гольдшмидтом, углубившего и укрепившего его пессимистический взгляд на человечество. В ходе столкновения с церковью он увидел тщетность своих ожиданий, в том числе тех, что хотя бы священники смогут следовать в своей жизни христианским заповедям. Однако эта тенденция отречения и отрешенности от мира проникла в его произведения весьма и весьма постепенно, не успев стать частью его творчества, вполне созрев лишь перед тем, как он начал действовать.

Продолжает возбуждать интерес к Киркегору и придает ему все возрастающую международную значимость нечто совсем иное: его борьба с философской систематикой, убежденной в том, что загадки бытия можно разрешить спекулятивным (умозрительным) путем. Киркегор требовал, чтобы провозглашаемые идеи осуществлялись в реальном проживании, но именно этого, по его мнению, и не делают современные философы.

Разумеется, Киркегор не мог не выступить против Гегеля, систематика всех систематиков. Изумляясь его интеллектуальной мощи, Киркегор тем не менее утверждал, что своей системой Гегель ни в коем случае не подобрал ключика к бытию.

«Если бы Гегель, написав всю свою Логiku, в предисловии сказал, что это всего лишь мыслительный эксперимент, в ходе которого он еще к тому же во многих местах кое от чего увильнул, тогда бы он действительно был бы величайшим из когда-либо живших мыслителей. А так он не более чем комичен».

Другими словами, Гегель не понимал того простого факта, что невозможно интеллектуально постичь бытие:

«Совершенно справедливо гласит философия, что жизнь может быть постигаема лишь в возвратном направлении. Чем более вдумываешься в этот тезис, тем больше убеждаешься, что жизнь в ее текущей временной бренности никогда не сможет быть понята вполне, именно в силу того, что ни в одно из мгновений у меня не будет полного спокойствия и покоя, чтобы занять позицию возвратного направления».

Этим воззрением об ограниченности радиуса действия интеллектуальных сил и об их беспомощности перед лицом последних вопросов философия нашего времени пронизана во всевозрастающей степени. Сегодняшняя философия разошлась по двум направлениям: чисто научные исследования ограниченных объектов и философия жизни, рассматривающая финальные проблемы существования и при этом не претендующая быть наукой в строгом смысле слова. Свою самую характерную форму это направление обрело в экзистенциализме, во многом определившем облик философии в Германии и во Франции и пытающемся завоевать англосаксонский мир; впрочем, в Италии и Испании у него тоже немало страстных сто-

ронников. Киркегор — прародитель всех экзистенциальных мыслителей. В новое время он был первым, кто совершенно сознательно устремился к тому, чтобы мыслить экзистенциально, то есть вполне осознавал тот факт, что мы понимаем назад (ретроспективно), в то время как живем вперед, и что если мы хотим осветить проблему существования, то мы должны действовать не бесстрастно и объективно, но с полнейшей включенностью всей нашей личности. Станным образом в то же время Дания породила еще одну значительную религиозную индивидуальность, тоже мыслившую вполне экзистенциально: Грундтвига, основателя народной высшей школы. Почти во всех существенных чертах два этих человека были полной противоположностью друг другу. Киркегор был весьма последовательный индивидуалист, чье внимание было сосредоточено на изолированном одиноком индивиде, пребывающем наедине со своей ответственностью. Учение же Грундтвига исходило из необходимости совершенствовать общество, благодаря чему оно и стало действенной, творческой силой в датской народной жизни. Однако в одном их мнения полностью совпадали: оба были противниками систематической философии и умозрительного метода. Оба не принимали ту мысль, будто бы все противоречия бытия должны быть растворены в более высоком философском синтезе, ибо эта мысль лишала жизнь присущей ей напряженности, а христианское представление о бытии как борьбе добра со злом — всякого смысла.

Оба этих человека, каждый по-своему, обрели для нас громадную значимость. Впрочем, с точки зрения интернациональной Киркегор здесь первенствует, ибо Грундтвиг выразил свое мироощущение главным образом в по-

эзии, а она у него, обладая значительным языковым своеобразием и будучи пронизана темной символикой, фактически непереводаема, в то время как Киркегор со своей кристально ясной понятийной диалектикой неплохо переводится на другие языки. Впрочем, даже у него многое и существенное теряется при переводах, ибо он был художником выдающегося языкового и стилистического чутья с чрезвычайно тонким слухом на языковую мелодию, и многие его филигранные языковые тонкости просто не поддаются переводу. И все же, несмотря на все это, остается вполне достаточно того, из чего и после переводов можно черпать, и нет никаких сомнений в том, какова была подлинная устремленность его произведений: он довел до совершенства следующий фокус — с помощью тончайшего оружия логики и философии демонстрировать бессилие логики и философии перед лицом сложнейших и важнейших проблем бытия.

Ненаучная психология

Главное препятствие, мешающее восприятию киркегоровской мысли, заключается не столько в интеллектуальных затруднениях, сколько в тех предпосылках его мысли, которые сами по себе вполне постижимы, однако столь непривычны для нашего времени, что мы инстинктивно отказываемся их принимать. Однако на этих-то предпосылках все и построено. Вообще любое мыслительное исследование начинается с некоторых аксиом, с посылок, которые не доказываются, но даются в качестве предпосылочных и уже одобренных.

Киркегоровская предпосылка — это определение того, чем, собственно, является дух или человек: чело-



*Памятник Киркегору в саду Королевской библиотеки.
Бронзовая статуя Хассельринса, установлена в 1900 г.*

век — это «синтез бесконечного и конечного, временного и вечного, свободы и необходимости».

Итак, человек — это синтез, единство противоположностей. И если, скажем, определить человека следующим образом: «Человек — продукт ограниченности, временности и необходимости», то мы не обнаружим никакого синтеза, человек здесь будет всецело природным продуктом, подобно животному или растению. Но именно такая дефиниция, высказанно или невысказанно, и лежит в основе любой современной психологии, способной постигать человека лишь как некий продукт. Делая шаг дальше, мы узнаем, что психология, претендующая на то, чтобы быть объективной наукой — а это цель любой современной психологии, — никогда не сможет признать иных предпосылок, поскольку наука, склонная к объективизму, не может работать с такими понятиями, как «вечность» или «свобода». Однако тем самым результаты современной психологии можно предсказать заранее: результат следует из метода и исходных посылок.

Психология означает учение о душе, однако любое современное учение о душе вынуждено начать с того, чтобы пренебречь понятием души. Никакой души нет. Она есть одно из тех никчемных понятий, что отжили свой век, и для логического позитивиста нет ничего легче, чем волшебным образом ее аннулировать, покуда он доказывает ее несущественность. Следовательно, современная психология ни в коей мере не является учением о душе, на самом деле она является учением о поведении и о взаимоотношениях, и притом таких, последние мотивы которых остаются темными и противоречивыми.

Подлинная психология никогда не сможет стать объективной наукой, но зато она в состоянии очень внят-

но изъяснить, что является ее предметом. И инструмент для нее — не научные методы, а человеческий опыт. Совершенно справедливо, что понятие души для объективной науки лишено всякого смысла, однако для человеческого опыта — это реальность, и потому человека с наиболее богатым душевным опытом и следовало бы считать величайшим психологом. Именно таким человеком и был Сёрен Киркегор. Никто столь интенсивно, как он, не исследовал все многообразие внутренних человеческих возможностей, расширяя их, наглядно фиксируя, а также абстрактно-понятийно определяя в той мере, в какой только это вообще возможно.

При этом он употребляет понятия, незадействованные в научном учении о референции, ибо оно не знает, что делать с «грехом», «первородным грехом», «свободой», «страхом» либо же, во всяком случае, понимает под этим существенно иное, нежели понимал под этим Киркегор. Это и не удивительно, ведь исходные посылки у них были разные.

Среди его исходных предпосылок была та, что человек — это синтез. Наука же ничего не знает об этом. Далее: человек — это синтез свободы и необходимости, временности и вечности и т. д. Об этом наука тоже ничего не знает, ибо она способна оперировать лишь понятиями, претендующими на объективную научность. Киркегор, конечно же, прекрасно понимал, что не сможет ничего доказать, потому и не пытался делать этого. Нужно либо принять его исходные постулаты, либо совершенно отказаться иметь с ним дело; такова единственно честная постановка вопроса.

Мы уже говорили, что Киркегор понимает *страх* иначе, нежели научные теоретики по межличностным отно-

шениям. Более того, он написал на эту тему целую книгу. Вот *она-то* и есть психология! Со страхом Киркегор вовсе не связывает отношение к чему-то внешнему. Страх для него не то же, что боязнь или боязливо-тревожное состояние. Страх — это некое внутреннее человеческое обстоятельство, означающее для Киркегора то чувство, которое вдруг охватывает человека, когда он обнаруживает/открывает себя *внутри* бытия, в окружение природных стихий как извне, так и изнутри себя. Следовательно, именно страх понуждает человека предчувствовать и предугадывать в бытии более возвышенные и более напряженные взаимосвязи; страх — это то душевное беспокойство, что открывает перед человеком громадные горизонты, и потому в страхе заключено что-то и ужасающее, и влекущее одновременно. Страх — это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия в одновременноности отношения к феномену бытия. Другими словами, страх — это место пересечения двух миров, раскрывающихся внутри отдельного человека: мира внешнего, природосообразного и мира, определяемого духом. Природа против духа. Необходимость против свободы.

Существование, подчиняющееся природным законам, Киркегор определяет как грех. Однако, конечно же, говорить об этом имеет смысл лишь в том случае, если есть возможность уклониться от природы, от ее законов, от каузальности. Но именно такая возможность и присутствует в том аксиоматическом постулате, что человек есть синтез свободы и необходимости. При этом не имеется в виду, что можно вырваться из сферы каузальности; если бы это было так, тогда бы речь не шла о синтезе. Каждый раз, решаясь на что-либо, человек выбирает, хочет ли он пребывать в обусловленностях природного

мира, либо же он думает прислушаться к тому зову духа, которому страх и является формой выражения. Потому-то наши поступки и наш выбор — врата в мир свободы, а страх — сигнал о возможности ее.

Что же касается собственно свободы, то она-то и есть в подлинном смысле действительность. Далее характеризовать ее невозможно, ибо ее характерным признаком то и является, что о ней невозможно рефлексировать. Свобода либо есть, либо ее нет. Либо ты пребываешь в свободе и значит действуешь спонтанно, как свободное существо, либо же пребываешь вне свободы, по ту сторону мира возможностей. Свобода есть нечто совершенно конкретное, она — мир, становящийся реальностью в каждое мгновение благодаря длящемуся акту выбора.

У нас здесь нет возможности проследить за той тончайшей диалектикой, с помощью которой Киркегор раскрывает разнообразные формы страха, а также другие психологические феномены. И все же становится очевидным, что киркегоровская психология не касается теологии или преодоленной стадии. И если его терминология звучит для нашего уха подчас чужеродно, то это потому, что на наших глазах создается реальная психология, что мы присутствуем при описании души и происходит это на основаниях, обладающих законностью и силой. В этом отношении современная психология могла бы многому поучиться у Киркегора, ибо научная психология нашего времени быть может и научна, но уж во всяком случае не психологична. Она является не психологией, а, как уже было сказано, учением об отношениях, и принадлежит она тем самым естествознанию, которое, как известно, не делает фундаментального различия между человеком и животным.

Однако подобный взгляд чрезвычайно опасен для человеческого культурного содружества. Безусловно, он весьма научен и способен ежедневно поставлять массу интересных наблюдений, как это делает любая настоящая наука, однако базируется этот взгляд на некоей роковой конструктивной ошибке: в той мере, в какой он абстрагируется от синтеза, лежащего в основании реалистического понимания человеческой психологии (понимания, согласного с нашим признанием реальности души — «психэ»), в той же мере он абстрагируется и от феномена свободы, превращая тем самым человека в животное. Иначе и быть не может, ибо все это следует из аксиоматического исходного пункта научной психологии; результат здесь проистекает из метода.

Но когда отрицают феномен свободы, то тем самым полностью упраздняют понятие качественности. Наш научный детерминизм разрушает не только религию, но и этику. Для нее вообще не находится места. За последние сто лет мы получили множество разнообразных свобод: политических, социальных, трудовых, хозяйственных, сексуальных, словесных, — однако сознание внутренней свободы, и тем самым ответственности, нами утрачено. Ибо невозможно одно отделить от другого. Связное научное жизне- и мировоззрение невозможно построить, предполагая, что свобода — иллюзия, и сразу вслед за тем допуская, что люди действуют как свободные индивиды, ответственные за свои поступки.

Воззрение, признающее реальность этического долга, должно исходить из чего-то иного, нежели научная психология и детерминистское мировоззрение, в принципе исключающие возможность свободы и тем самым ответственности. Строиться оно должно на идее синтеза, то

есть на одновременном утверждении феноменов свободы и необходимости. Разумеется, исходя из таких оснований, не придешь к научной психологии и к научному мировоззрению, однако же это отнюдь не самые важные вещи в нашем мире. А самое важное для нас — обрести такой взгляд на человеческую жизнь и на этот мир, с которым можно было бы жить.

И творчество Сёрена Киркегора — постоянная устремленность показать, как можно выстроить именно такую психологию и такое переживание жизни. Разумеется, они не научны. Но они — попытка организовать постижение и исследование жизни на качественном фундаменте. Они суть то, что в подзаголовке к «Заключительному ненаучному постскрипту» названо *экзистенциальной точкой зрения*.

Хронологическая таблица

1756	В Сэдинге, в Ютландии, родился Михаэль Педерсен Киркегор, отец философа.
1768	Родилась мать Киркегора.
1797	Родители Киркегора сочетались браком.
1813	5 мая. Рождение Сёрена Обю Киркегора, младшего из семерых детей.
1830	Юный Киркегор становится студентом Копенгагенского университета.
1834	Смерть матери.
1837	Знакомство с Региной Ольсен.
1838	Смерть отца.
1840	3 июля. Киркегор сдает государственный экзамен по теологии. 10 сентября. Помолвка с Региной Ольсен.
1841	Диссертация «О понятии иронии. С постоянной оглядкой на Сократа». 11 октября. Киркегор разрывает помолвку с Региной Ольсен. 25 октября. Киркегор покидает Данию и едет в Берлин, где проводит зиму.
1842	6 марта. Возвращение в Данию.
1843	В течение последующих двенадцати лет непрерывно выходят книги Киркегора. В этом году были опубликованы следующие: «Или — Или» (Виктор Эремита); «Страх и трепет» (Иоганнес де Силенцио); «Повторение» (Константин Констанциус).
1844	«Философские крохи, или Немножечко о

- философии» (Иоганнес Климакус); «Понятие страха» (Вигилиус Хауфниенсис).
- 1845 «Три речи при памятных обстоятельствах»; «Стадии на жизненном пути» (Хилариус Бухбиндер); «Восемнадцать назидательных речей».
- 1846 «Заключительное ненаучное послесловие к *Философским крохам*»; «Литературное уведомление».
- Распри с «Корсаром».
- 1847 «Книга об Адлере» (издана посмертно); «Назидательные речи в различном духе»; «Деянья любви».
- Регина Ольсен выходит замуж за Фрица Шлегеля.
- 1848 «Христианские речи».
- 1849 «Два этико-религиозных трактатика» (Х. Х.); «Болезнь к смерти» (Анти-Климакус); «Речи»; «Взгляд на мою писательскую деятельность» (опубликовано посмертно).
- 1850 «Упражнение в христианстве» (Анти-Климакус).
- 1851 «Самоиспытанию современности рекомендовано».
- 1852 «Осужденный собой!» (вышло посмертно).
- 1854 30 января. Смерть епископа Мюнстера.
18 декабря. Выпад Киркегора: «Был ли епископ Мюнстер свидетелем истины?»
- 1855 Продолжение борьбы с датской церковью.
С мая по сентябрь. Выходит в свет листок «Мгновенье».
- 2 октября. Киркегор доставлен в госпиталь Фредерика.
- 11 ноября. Смерть Сёрена Киркегора.

ГЕОРГ БРАНДЕС

Когда Киркегор начинал свой жизненный путь, казалось, что он станет для свободной науки опаснейшим из всех возможных противников. Мыслитель такого масштаба и в то же время проповедник! Философ, увлекательнее которого в Дании не было! Человек, самой своей жизнью проверявший выдвигаемый тезис. Под конец поднявший топор на собственный божественный образ. Благодаря ему датская духовная жизнь была вынуждена подойти к тому чрезвычайному пункту, с которого можно было совершить прыжок: либо вниз, в черную пропасть католицизма, либо вверх, на вольный мыс, с которого подавала знак свобода.

Сёрен Киркегор. 1877

РУДОЛЬФ КАССНЕР

Можно было бы исписать немало страниц, вполне справедливо изобразив Киркегора как крупного датского писателя-прозаика, одного из трех или четырех величайших психологов столетия — собственно, равен ему как психолог был лишь Достоевский, — самого воинствующего протестанта со времен Лютера, а под конец, как это водится, посожалеть, что умер он всего лишь 43 лет, что не было ему отпущено хотя бы еще нескольких лет, чтобы написать еще больше... Киркегор принял гегелевское оп-

ределение духа как единства тела и души: во всяком случае его собственный дух — это великолепнейшее, беспримерное единство мышления и жизни. Как Эдип соотносится со своей судьбой, так больной, остроумный, меланхоличный Киркегор соотносится со своим духом. И как Эдипа понимает лишь тот, кто сочиняет его судьбу, так и Киркегора поймет лишь тот, кто усвоит его дух. Однако не нужно смешивать свой дух с киркегоровским и не следует пытаться этот последний цитировать или объяснять. Киркегор исполнен невероятной прозрачности, и нет ни одной строки в многочисленных его сочинениях, которая была бы зряшна или пуста. И вот попытаемся, еще раз, постичь и представить дух Киркегора таким, каким он был: прекраснейшим, беспримерным единством жизни и мышления.

Мотивы. 1906

ТЕОДОР ХЕККЕР

С самого начала он ощущал себя исключением. Рассматривая его в свете тех трех сфер, чье единство образует человека, созданного, по словам псалмопевца, одновременно ужасным и чудесным: телесной, душевной и духовной, — мне остается лишь подтвердить, что каждый, кто хоть немного знает Киркегора, при некотором размышлении непременно придет к весьма любопытной констатации, что Киркегор аномально принадлежал к сфере духа, что там, где большинство людей живут непосредственной жизнью — в душевном и в телесно-душевном, — он жил лишь как *странник*, не знающий обычаев этой страны; но в сфере духа, куда большинству людей доступ открыт весьма редко либо же они еще

только ищут туда вход, он был у себя дома с несомненной самоочевидностью.

Христианство и культура. 1927

Романо Гвардини

Кто берется за его сочинения, пытается этот великий человеческий импульс постичь в его истоках, у того нелегкая задача. Личности такой степени сложности случаются очень редко. Душевные ситуации у него — запутанны, мотивы многократно перекраиваемы, многочисленные и кричащие контрасты сопряжены, а целое находится под колоссальным внутренним давлением. Проблемы при их появлении так вплетены друг в друга, даже вполне простое так глубоко укрыто условно-символическими формами, текст до такой степени учитывает другие тексты и все рассчитано на такое живейшее диалектическое постижение целого, что читатель может растеряться и запутаться. Добавьте к этому своеобразную манеру и метод Киркегора: глубокие философские и теологические размышления, критика и умозрение, поэтические картины, психологический анализ, живые религиозные речи, сатира, полемика и постоянно обновляющееся исповедание — и все это сплавлено воедино. И при этом характер его мышления таков, что для его понимания читателю необходимо не просто «читать», но и в определенном смысле жить.

Исток мыслительной энергии Киркегора. 1927

Кристоф Шремпп

Философское и теологическое содержание его сочинений в стерильности сохранено и использовано теми «доцента-

ми», которых он высмеивал. Своими назидательными речами он то и дело вносил в сознание людей беспокойство; и временами энергия этого беспокойства становилась столь мощной, что его агитационные тексты воспринимались всерьез. Но тот, кто благодаря этому и выходил из привычных границ, тот его смертью избавлялся от дальнейшего продвижения: в жизни Киркегора он находил ключ к той жизненной методике, которая лишь тогда становится полезной, когда начинаешь идти своим путем.

Сёрен Киркегор. Том 2. 1928

КАРЛ ЯСПЕРС

У обоих (у Киркегора и у Ницше) мы видим приводящую в замешательство полярность между блеском непосредственного и вполне определенного вызова — с одной стороны — и робостью, возвратностью, блеском несмелости — с другой стороны. Экспериментальность, предположительность, вероятностность — вот модальность их говорения; неготовность стать вождем — внутреннее свойство их позиции. И оба жили, испытывая тайную тоску по возможному счастью — тому счастью, которое сумело бы выдержать проверку их человеческой честности и взыскательности. Этому вполне соответствует у обоих то, сколь отважно, почти отчаянно и все же в полном спокойствии они решились под конец жизни на бунт против общества, вдруг переключив свою обычную сдержанность в продумывании многообразно-возможного в волю к действию...

Общее в характере их воздействия — очаровать, чтобы затем разочаровать; захватить и растрогать, чтобы затем оставить в неуголенности, словно бы с пустыми рука-

ми и сердцем; это общее есть отчетливое выражение их индивидуальных волей: все зависит от того, что именно творит читатель из их посланий в пространстве своих собственных внутренних деяний, когда он уже не испытывает ощущения полноты ни от приобретаемых познаний, ни от произведений искусства, ни от философских систем, ни от принятых на веру пророчеств. Ибо оба эти человека отвергают любую форму удовлетворенности. Они и в самом деле исключение: последователи и преемники, не имеющие ни образцов, ни прототипов.

Разум и существование. 1935

Вальтер Нигг

Киркегор был, и это недостаточно акцентируют, натурой подлинно нордической, со страшными безднами и непромеренными пучинами, с глубинами, подобными вечно горящему морю. Киркегор был один из самых таинственных людей, когда-либо живших, и тот, кто хочет его понять, ни в коем случае не должен упускать из виду его скандинавского природного склада. Ему было присуще чисто нордическое мучительство, отбрасывавшее тень мрачной серьезности на любое проявление жизненного веселья. Это был человек, с огромным трудом освобожденный от своих привязанностей и даже счастливейшие свои таланты разрушавший религиозностью, исполненной тоски и меланхолии.

Религиозный мыслитель. 1942

Данная библиография предлагает обзор важнейших текстов Киркегора, в остальном ограничиваясь монографическими исследованиями.

1. Библиографические издания, научные доклады

- Brecht, F. G.: Die Kierkegaard-Forschung im letzten Jahrzehnt. In: Literarische Berichte aus dem Gebiete der Philosophie 1931, S. 1—35.
- Diem, Hermann: Methode der Kierkegaard-Forschung. In: Zwischen den Zeiten 6 (1928), S. 140—171.
- Fahrenbach, Helmut: Die gegenwärtige Kierkegaard-Auslegung in der deutschsprachigen Literatur von 1948 bis 1962. Nachtrag zu Th. W. Adorno, Kierkegaard. Tübingen 1962 (Philosophische Rundschau. Beih. 3).
- Henriksen, Aage: Methods and results of Kierkegaard studies in Scandinavia. Copenhagen, 1951.
- Himmelstrup, Jens (Hg.): Søren Kierkegaard. International bibliografi. København, 1962.
- Jorgensen, Aage: Søren-Kierkegaard-literatur, 1961—1970. En foreløbig bibliografi. Aarhus, 1971.
- Mackinnon, Alastair: The Kierkegaard Indices. Vol. 1—4. Leiden, 1970—75. 1. Kierkegaard in translation. 2. Fundamental polyglot konkordans til Kierkegaards samlede værker. 3. Index verborum til Kierkegaard's samlede værker. 4. Computational analysis of Kierkegaard's samlede værker.
- Theunissen, M.: Das Kierkegaardbild in der neueren Forschung und Deutung (1945—1957). In: Deutsche Vierteljahrss-

- chrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 32 (1958), S. 576—612.
- Kierkegaardiana udgivne af Søren Kierkegaard Selskabet ved Niels Thulstrup. 1 ff. Kopenhagen, 1955 ff.
- Kierkegaard symposium. Kopenhagen, 1955 (Orbis litterarum. Tome 10, fasc. 1, 2).
- Kierkegaard vivant, colloque organisé par l'Unesco à Paris, 1964. Paris, 1966 (Collection Idées. 106).

2. Издание сочинений

- Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. 14 Bde. Kopenhagen, 1901—1906 — 2. Aufl. 15 Bde. 1920—1936.
- Gesammelte Werke. (Ungekürzte Ausgabe.) Übers. von Hermann Gottsched und Christoph Schrempf. 12 Bde. Jena, 1909—1922.
- Gesammelte Werke. (Übersetzt und mit Anm. vers. von Emanuel Hirsch.) Abt. 1 ff. Düsseldorf (Diederichs), 1950 ff, 1985 ff.
- Anhang: Die Tagebücher. Ausgewählt, neu geordnet und übersetzt von Hayo Gerdes. Bd. 1—5. 1962—74.
- Nebst Registerband. Bearb. von Ingrid Jacobsen und Hartmut Waechter. 1969, 1987.
- Philosophisch-theologische Schriften. Unter Mitw. von ... hg. von Hermann Diem und Walter Rest. Bd. 1 ff. Köln (Hegner), 1951 ff.
- Werke. (Übers. und mit Glossar, Bibliographie sowie einem Essay «Zum Verständnis des Werkes» hg. von Liselotte Richter.) Reinbek (Rowohlt), 1960 ff (Rowohlts Klassiker).
- Bd. 1: Der Begriff Angst (RK 71)
- 2: Die Wiederholung.— Die Krise und eine Krise im Leben einer Schauspielerin. (Mit Erinnerungen an Kierkegaard von Hans Bröchner.) (RK 81)
- 3: Furcht und Zittern. (Mit Erinnerungen an Kierkegaard von Hans Bröchner.) (RK 89).
- 4: Die Krankheit zum Tode (RK 113).

5: Philosophische Brocken (RK 147).

Religiöse Reden. Ins Deutsche übertr. von Theodor Haecker. München, 1922—4. Aufl. 1950.

Das Evangelium der Leiden. Christliche Reden. Übers. von Wilhelm Kütemeyer. München, 1933.

Gebete. Übertr. aus dem Dän. Hg. und eingel. von Walter Rest. Köln, 1957.

Religion der Tat. Kierkegaards Werk in Auswahl. (Deutsch von Eduard Geismar und Rudolf Marx.) Leipzig, 1930. (Kröners Taschenausgabe. 63) — Neuaufl. 1948.

Kierkegaard-Brevier. Hg. von P. Schäfer und Max Bense. Leipzig, 1937 (Insel-Bücherei. 519) — 26.—35. Tsd. 1955.

Die Leidenschaft des Religiösen. Eine Auswahl aus Kierkegaards Schriften und Tagebüchern. Übertr. aus dem Dän. Mit einer Einl. von Liselotte Richter. Stuttgart, 1953 (Reclams UB. 7783/84).

Kierkegaard. Ausgew. und eingel. von Hermann Diem. Frankfurt a. M., 1956 (Fischer Bücherei. 109).

3. Свидетельства о жизни

Efterladte Papirer. Udg. af H. P. Barfod og Hermann Gottsched. Kopenhagen, 1869—1881 — Ersetzt durch die folgende Ausgabe.

Papirer. Udg. af P. A. Heiberg, Victor Kuhr, Einer Torsting. 20 Bde. (11 Bde. mit Zusatzbänden.) Kopenhagen, 1909—1948, 2. udg. Niels Thulstrup. Köbenhavn, 1968—1978.

Die Tagebücher. In 2 Bdn. ausgew. und übers. von Theodor Haecker. Innsbruck, 1923—4. Aufl. (in 1 Bd.) München, 1953.

So spricht Kierkegaard. Aus seinen Tage- und Nächtebücher ausgew., übers. und mit einer Einl. hg. von Robert Dörlinger. Berlin, 1930.

Christentum und Christenheit. Aus Kierkegaards Tagebüchern ausgew. und übers. von Eva Schlechta. München, 1957.

- Kierkegaard nachkonziliar. Aus den Tagebüchern. Ausgewählt von Heinrich Roos. Einsiedeln, 1967 (Kriterien. 5).
- Breve og aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard. Udg. af Niels Thulstrup. 2 Bde. Kopenhagen, 1953—1954.
- Briefe. Ausgew., übers. und mit einem Nachwort vers. von Walter Boehlich. Köln und Olten, 1955.
- Kierkegaards Verhåltnis zu seiner Braut. Briefe und Aufzeichnungen aus seinem Nachlaß. Hg. von Hermann Lund. Leipzig, 1904.
- Søren Kierkegaard und Regine Olsen. Briefe, Tagebuchblätter und Dokumente. (Ausgew. und übers. von Gerhard Nierdemeier.) München, 1927.
- Existenz im Glauben. Aus Dokumenten, Briefen und Tagebüchern. Nach neuen dänischen Quellen übers., ausgew. und eing. von Liselotte Richter. Berlin, 1956.

4. Общие работы

- Allen, Edgar Leonard: Kierkegaard. His life and thought. London, 1935.
- Amundsen, Valdemar: Søren Kierkegaards ungdom. Hans slægt og hans religiøse udvikling. Kopenhagen, 1912.
- Arbaugh, George Evans: Kierkegaard's Authorship. A guide to the writings of Kierkegaard. London, 1968.
- Bense, Max: Søren Kierkegaard. Leben im Geist. Hamburg, 1941.
- Bohlin, Torsten: Søren Kierkegaards etiska åskådning med särskild hänsyn till begrepet «den enskilde». Stockholm, 1918 — Deutsch: Søren Kierkegaards Leben und Werden. Gütersloh, 1925.
- Brandes, Georg: Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i Grundrids. Kopenhagen, 1877 — Deutsch: S. K. Literarisches Charakterbild. Leipzig, 1879.
- Brandt, Fritjof: Den unge Søren Kierkegaard. Kopenhagen, 1929. Søren Kierkegaard 1813—1855. Kopenhagen, 1963 (Gestalten dänischen Geisteslebens).
- Croxall, Thomas Henry: Kierkegaard commentary. New York, 1956.

- Diem, Hermann: Sören Kierkegaard. Spion im Dienste Gottes. Frankfurt a. M., 1957.
- Sören Kierkegaard. Eine Einführung. Göttingen, Zürich, 1964 (Kleine Vandenhoeck-Reihe. 185/186).
- Esser, Pieter: Kierkegaard. Amsterdam, 1943.
- Fabro, Cornelio (Bearb.): Studi Kierkegaardiani. Con un inedito di Soeren Kierkegaard. Brescia, 1957.
- Fenger, Henning: Kierkegaard-myter og Kierkegaard-kilder. 9 kildekritiske studier i de Kierkegaardske papirer. Odense, 1976 (Odense University studies in Scandinavian languages and literatures. 7).
- Fischer, Friedrich Karl: Existenz und Innerlichkeit. Eine Einführung in die Gedankenwelt Sören Kierkegaards. München, 1969.
- Geismar, Eduard: Sören Kierkegaard. Gütersloh, 1925.
- Gilg, Arnold: Sören Kierkegaard. München, 1926.
- Gerdes, Hayo: Sören Kierkegaard. Leben und Werk. Berlin, 1966 (Sammlung Götschen. Bd. 1221).
- Hansen, Knud: Sören Kierkegaard, ideens digter. Kopenhagen, 1954.
- Hirsch, Emanuel: Kierkegaard-Studien. Bd. 1—3. Gütersloh, 1930—1933 (Studien des apologetischen Seminars. 31. 32. 36).
- Hohlenberg, Johannes: Sören Kierkegaard. Kopenhagen, 1940 — Deutsch: Basel, 1949.
- Jon, Finn: Soeren Kierkegaard. Det levda livets tänkare. Stockholm, 1955.
- Jovilet, Régis: Introduction à Kierkegaard. Paris, 1946.
- Koch, Carl: Sören Kierkegaard. Kopenhagen, 1898.
- Leendertz, Willem: S. Kierkegaard. Groningen, 1913.
- Lehmann, Eduard: Sören Kierkegaard. Berlin, 1913 (Klassiker der Religion. 8/9).
- Lombardi, Franco: Kierkegaard. Firenze, 1936.
- Lowrie, Walter: Kierkegaard. Oxford, 1938.
- Mesnard, Pierre: Le vrai visage de Kierkegaard. Paris, 1948.
- Monrad, Olaf Peder: Sören Kierkegaard. Sein Leben und seine Werke. Jena, 1909.

- Niedermeyer, Gerhard: Sören Kierkegaards philosophischer Werdegang. Leipzig, 1909 (Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte. 11).
- Nigg, Walter: Soeren Kierkegaard. Bern, 1942 — Auszug aus Nigg, Religiöse Denker. Bern, 1942.
- Olesen-Larsen, Kristoffer: Sören Kierkegaard. Ausgewählte Aufsätze. Gütersloh, 1973.
- Paulsen, Anna: Sören Kierkegaard. Deuter unserer Existenz. Hamburg, 1955.
- Przywara, Erich: Das Geheimnis Kierkegaard. München, 1929.
- Romain, Willy-Paul: Sören Kierkegaard ou l'esprit d'Elseneur. Paris, 1955.
- Rosenberg, Peter Andreas: Sören Kierkegaard. Hans liv, hans personlighed og hans forfatterskab. Kopenhagen, 1898.
- Ruttenbeck, Walter: Kierkegaard, der christliche Denker und sein Werk. Berlin, 1929 (Neue Studien zur Geschichte der Theologie. 25).
- Schrempf, Christian: Sören Kierkegaard. Eine Biographie. Bd. 1—2. Jena, 1927—28.
- Schrey, Heinz-Horst (Hg.): Sören Kierkegaard. Darmstadt, 1971 (Wege der Forschung. Bd. 179).
- Schulz, Walter: Sören Kierkegaard. Existenz und System. Pfullingen, 1967 (opuscula aus wissenschaft und dichtung. 34).
- Thust, Martin: Sören Kierkegaard. Der Dichter des Religiösen. München, 1931.
- Vetter, August: Frömmigkeit als Leidenschaft. Eine Deutung Kierkegaards. 2. Aufl. Leipzig, 1968.
- Viallaneix, Nelly: Kierkegaard et la parole de Dieu. Thèse. T. 1—2. Paris, 1977.
- Wahl, Jean: Études kierkegaardienues. Paris, 1938.
- Wiesengrund-Adorno, Theodor: Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. 3. erw. Aufl. Frankfurt a. M., 1966.

Дополнение к библиографии

1. Библиографические издания, научные сообщения

- Lapointe, François H.: Søren Kierkegaard and his critics. An international bibliography of criticism. Westport, Conn. 1980.
- Jørgensen, Aage: Søren Kierkegaard-literatur 1971—80. En bibliogr. Århus, 1983 (1085 Titel).
- Bos, Geert van den u. a.: Kierkegaard research. Copenhagen, 1987 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 15).
- Splett, Jörg (Hg.): «Entweder — oder». Herausgefordert durch Kierkegaard. Frankfurt a. M., 1988.
- Bibliotheca Kierkegaardiana. Ed. Niels Thulstrup. Havn (Copenhagen), 1978 f.

2. Общие работы

- Weber, Kurt-Heinz: Ästhetik und Zeitlichkeit. Versuch über Kierkegaard. Phil. Diss. Tübingen, 1979. Tübingen, 1976.
- Malantschuk, Gregor: Fra individ til den enkelte. Problemer omkring friheden og det etiske hos Søren Kierkegaard. København, 1978.
- Theunissen, Michael (Hg.): Materialien zur Philosophie Soeren Kierkegaards. 1. Aufl. Frankfurt a. M., 1979.
- Vetter, Helmuth: Stadien der Existenz. Freiburg i. B., 1979.
- Taylor, Mark C.: Journeys to selfhood. Hegel & Kierkegaard. Berkeley, Calif, 1989.
- Hannay, Alastair: Kierkegaard. London, 1982.
- Hauschildt, Friedrich: Die Ethik Søren Kierkegaards. Gütersloh, 1982. Kierkegaard as a person. Copenhagen, 1983 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 12).
- Deuser, Hermann: Kierkegaard. Die Philosophie des religiösen Schriftstellers. Darmstadt, 1985.

3. Свидетельства о жизни

- Anderson, Albert u. a.: Kierkegaard's teachers. Copenhagen, 1982 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 10).
- Schwede, Alfred Otto: Die Kierkegaards. Geschichte einer Kopenhagener Wirkwarenhändlerfamilie, insbesondere eines Vaters und seines später weltberühmten Sohnes Sören. Berlin, 1989.

4. Исследования

- Henningsen, Bernd: Die Politik des Einzelnen. Studien zur Genese der skandinavischen Ziviltheologie: Lüdvig Holberg, Sören Kierkegaard, N. F. S. Grundtvig. 1. Aufl. Göttingen, 1977.
- Petersen, Teddy: Kierkegaards polemiske debut. Artikler, 1834—36 i historiske sammenhæng. Odense, 1977.
- Schaer, Hans R.: Christliche Sokratik. Kierkegaard über den Gebrauch der Reflexion in der Christenheit. Bern, 1977.
- Schultzky, Gerolf: Die Wahrnehmung des Menschen bei Søren Kierkegaard. Zur Wahrheitsproblematik der theologischen Anthropologie. Göttingen, 1977.
- Stack, George J.: Kierkegaard's existential ethics. Univ. of Alabama, 1977.
- Kloeden, Wolfdietrich von: Kierkegaard's view of Christianity. Copenhagen, 1978 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 1).
- Thulstrup, Marie Mikulova (Hg.): The sources and depths of faith in Kierkegaard. Copenhagen, 1978 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 2).
- Tzavaras, Johann: Bewegung bei Kierkegaard. Frankfurt a. M., 1978.
- Brechtken, Josef: Die praxisdialektische Kritik des Marxschen Atheismus. Studien zum anthropozentr.-krit. Wirklichkeitsbegriff zu seinen religionsphilos. Konsequenzen: Hegel, Kierkegaard, Marx. Bd. 1 f. Königstein/Ts., 1979 f.
- Wilde, Frank Eberhardt: Kierkegaard and speculative idealism. Copenhagen, 1979 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 4).

- Deuser, Hermann: Dialektische theologische Studien zu Adornos Metaphysik und zum Spätwerk Kierkegaards. München, 1980.
- Fenger, Henning: Kierkegaard, the myths and their origins. New Haven, 1980.
- Guarda, Victor: Die Wiederholung. Analyse zur Grundstruktur menschlicher Existenz im Verständnis Kierkegaards. Königstein/Ts., 1980.
- Koskinen, Lennart: Tid och evighet hos Sören Kierkegaard. Lund, 1980.
- Schmitz-Weiss, Martina: Sören Kierkegaard. Die politische Dimension des Augenblicks. Zur Kritik seiner theologisch-philosophischen Theorie. Phil. und sozialwiss. Diss. FU Berlin, 1980.
- Thulstrup, Niels (Hg.): Kierkegaard and human values. Copenhagen, 1980 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 7).
Kierkegaard's relation to Hegel. Princeton, N. J., 1980.
Theological concepts in Kierkegaard. Copenhagen, 1980 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 5).
- Albeck, Ulla u. a.: Kierkegaard, literary miscellany. Copenhagen, 1981 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 9).
- Ashbaugh, A. Freire u. a.: Kierkegaard and great traditions. Copenhagen, 1981 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 6).
- Bejerholm, Lars u. a.: The legacy and interpretation of Kierkegaard. Copenhagen, 1981 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 8).
- Elrod, John W.: Kierkegaard and Christendom. Princeton, N. J., 1981.
- Vallis, Alvaro: Der Begriff «Geschichte» in den Schriften Sören Kierkegaards. Phil.-hist. Diss. Heidelberg, 1981. Heidelberg, 1980.
- Gerdes, Hayo: Sören Kierkegaards «Einübung im Christentum». Darmstadt, 1982.
- Korff, Friedrich W.: Der komische Kierkegaard. Stuttgart-Bad, Cannstatt, 1982.
- Pulmer, Karin: Die dementierte Alternative. Gesellschaft und Geschichte in der ästhetischen Konstruktion von Kierkegaards «Entweder-Oder». Frankfurt a. M., 1982.

- Artidsen, Skat u. a.: Kierkegaard as a person. Copenhagen, 1983 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 12).
- Heimbüchel, Bernd: Verzweiflung als Grundphänomen der menschlichen Existenz. Kierkegaards Analyse der existierenden Subjektivität. Frankfurt a. M. — Bern — New York, 1983 (Europäische Hochschulschriften. R. 20, Bd. 112) [Zugl. Phil. Diss. Köln, 1982].
- Hopland, Karstein: Virkelighet og bevissthet. En studie i Søren Kierkegaards anthropologi. Diss. Bergen, 1983.
- Ringleben, Joachim: Aneignung der spekulativen Theologie Søren Kierkegaards. Berlin — New York, 1983.
- Scheier, Claus-Artur: Kierkegaards Ärgernis. Die Logik der Faktizität in den «Philosophischen Bissen». Freiburg i. B., 1983.
- Schmidinger, Heinrich M.: Das Problem des Interesses und die Philosophie Søren Kierkegaards. Freiburg i. B., 1983.
- Hohenbleicher-Schwarz, Anton: Das Existenzproblem bei J. G. Fichte und S. Kierkegaard. Königstein/Ts., 1984.
- Thulstrup, Niels: Kierkegaard and the church in Denmark. Copenhagen, 1984 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 13).
- Veisland, Jorgens: Kierkegaard and the dialectics of modernism. New York, Bern, Frankfurt a. M., 1985.
- Cooper, Robert M. u. a.: Kierkegaard's classical inspiration. Copenhagen, 1985 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 14).
- Kahn, Abraham H.: Salighed as happiness? Kierkegaard on the concept of Salighed. Waterloo, Ont. 1985.
- Adorno, Theodor W.: Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Frankfurt a. M., 2 1986 (Zugl. Hab.Schr. Frankfurt, 1931).
- Eisenstein, Michael: Selbstverwirklichung und Existenz. Ethische Perspektiven pastoralpsychologischer Beratung unter besonderer Berücksichtigung Søren Kierkegaards. St. Ottilien, 1986 (Dissertationen. Theologische Reihe. Bd. 13).
- King, G. H.: Existenz, Denken. Stil. Perspektiven einer Grundbeziehung. Dargest. am Werk Søren Kierkegaards. Berlin, 1986.
- Kühnhold, Christa: N. F. S. Grundtvigs und Søren Kierke-

- gaards Sprachauffassung. Stuttgart, 1986 (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik. 172).
- Mackey, Louis: Points of view. Readings of Kierkegaard. Tallahassee, Fl., 1986.
- Smyth, John V.: A question of eros. Irony of Sterne, Kierkegaard, and Barthes. Tallahassee, Fl., 1986.
- Thulstrup, Niels: The Copenhagen of Kierkegaard. Copenhagen, 1986 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 11).
- Bigelow, Pat: Kierkegaard and the problem of writing. Tallahassee, Fl., 1987.
- Agacinski, Sylviane: Aparté. Conceptions and deaths of Søren Kierkegaard. Gainesville, Fl., 1988.
- Fabro, Cornelio u. a.: Some of Kierkegaard's main categories. Copenhagen, 1988 (Bibliotheca Kierkegaardiana. 16).
- Heymel, Michael: Das Humane lernen. Glaube und Erziehung bei Søren Kierkegaard. Göttingen, 1988 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte. Bd. 40).
- Gouwens, David J.: Kierkegaard's dialectic of the imagination. New York, Bern, Frankfurt a. M., 1989 (American University Studies. Ser. 5, 71).
- Greve, Wilfried: Kierkegaards maieutische Ethik. Von «Entweder/oder II» zu den «Studien». Frankfurt a. M., 1990.

Краткая русская библиография

а) Сочинения С. Киркегора

- С. Киркегор. Афоризмы эстетика. — «Вестник Европы», т. III, май 1886.
- С. Киркегор. Несчастнейший. — «Северные сборники», кн. 4, СПб., 1908.
- С. Киркегор. Наслаждение и долг. СПб., 1894.
- С. Киркегор. Эстетические и этические начала в развитии личности. — «Северный вестник», 1885, № 1, 3, 4.
- С. Киркегор. Идеал женщины. — «Имидж», № 2, Челябинск, 1991.

- С. Киркегор. Страх и трепет. Ленинград, 1991.
- С. Киркегор. Дневник обольстителя. Роман.— «Скандинавия: литературная панорама», вып. 2. М.: Худож. лит., 1991.
- С. Киркегор. Христос есть путь.— «Остров», Челябинск, 1993.
- С. Киркегор. Страх и трепет. М., «Республика», 1993.
- С. Киркегор. Диапсалматы.— «Уральская новь», № 1—2. Челябинск, 1995.
- С. Киркегор. Наслаждение и долг. М., 1996.

б) О С. Киркегоре

- Г. Х. Андерсен. Избранные сочинения. Т. 1. М., 1969.
- П. П. Гайдено. Трагедия эстетизма. М., «Искусство», 1970.
- Э. Л. Бредсдорф. Литература и общество в Скандинавии. М., «Прогресс», 1971.
- Б. Э. Быховский. Киркегор. М., «Мысль», 1972.
- Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия. М., «Прогресс» — «Гнозис», 1992.
- Мир Киркегора: русские и датские интерпретации творчества Сёрена Киркегора. М., «Ad Marginem», 1994.
- А. Скидан. Жало в плоть.— «Комментарии», № 3, М., 1994.
- Пауль Тиллих. Киркегор как экзистенциальный мыслитель.— В книге: П. Тиллих. Избранное. Теология культуры. М., «Юрист», 1995.
- В. Подорога. Авраам в земле Мориа. Сёрен Киркегор.— В книге: Валерий Подорога. Выражение и смысл. М., «Ad Marginem», 1995.

Именной указатель

- Адлер Адольф Петер 209
Андерсен Ганс
 Христиан 51—53, 75,
 129, 132, 134, 135
Ансельм Кентерберийский 35
Аристофан 134
- Баадер Франц Ксавер 34, 35
Байрон Джордж
 Гордон 135, 185
Барфод Х. П. 63
Бекман Фридрих 153, 154,
 156
Бергер 30
Бёзен Эмиль 87, 110, 114—
 119, 142, 148
Бёме Якоб 35, 134
Блихер Стин Стинсен 76
Брандес Георг 264
Бурнонвиль Антуан
 Август 46
- Вельхавен Йохан
 Себастьян 48
Вердер Карл 110
Верди Джузеппе 178
- Гаде Нильс Вильгельм 51
Ганзен Константин 123
Ганзен Христиан 129
- Гвардини Романо 266
Гегель Георг 10, 29, 30, 31,
 34, 47, 110, 114, 165, 167,
 172, 209, 251, 252
Гёте Иоганн Вольфганг 49,
 132, 221
Гиллембург-Эренсверд Карл
 Фредерик, барон 178, 179
Гиллембург-Эренсверд Тома-
 зина Кристина 176, 178
Гольдшмидт Меир Арон 11,
 128, 142, 175, 184, 185,
 188—190, 192, 208, 215,
 227, 228, 243, 251
Гомер 16
Гробекер Филипп 148, 153,
 156
Грундтвиг Николай
 Фредерик 29, 37, 132,
 203, 253
Густав III, король
 Швеции 178
- Домье Оноре 128
Достоевский Ф. М. 264
- Ёрстед Ханс 134, 135
- Зибберн Фредерик 47—50,
 236

Зонне Ёрген 129

Ибсен Генрик 135

Йенсен К. А. 46, 128

Касснер Рудольф 264

Кёбке Христиан 46, 128

Киркегор Анна 41, 43, 58

Киркегор Михаэль

Педерсен 21, 25, 26, 37,

40, 41, 43, 44, 54, 55, 58,

60, 62, 65—67, 69, 106,

128, 145, 203

Киркегор Петер

Христиан 59, 61, 63, 116,

132

Клеструп 128, 131, 192

Коллин Йонас 34

Ленау Николаус 35

Луидбай Йохан Томас 128

Маркс Карл 10

Марстранд Вильгельм 46

Мартенсен Ганс Лассен 11,

34—37, 134, 214, 218, 226,

229, 244, 246

Мархайнеке Филипп

Конрад 110

Мендельсон-Бартольди

Феликс 51

Мёллер Поль 47, 49, 50, 75,

95, 185—187, 190

Михелет Жюль 114

Моцарт Вольфганг

Амадей 47, 139

Мюллер Фредерик 135

Мюнкстер Якоб Петер 11, 25,

159, 202—205, 209, 214,

216, 221, 223, 224, 227—

229, 240—244, 246

Наполеон I, император фран-

цузов 9, 29, 122

Нигт Вальтер 268

Нильсен Расмус 95, 218

Ницше Фридрих 180, 267

Оеленшлегер Адам

Готлоб 110, 131, 132, 186

Ольсен Регина 11, 74, 75,

80—93, 95, 99, 103, 105,

106, 108, 116, 119, 140, 145,

156, 161, 164, 165, 169, 170,

215, 229, 232—240

Павел, апостол 201

Паули Й. 224, 225, 227,

235, 237

Педерсен Вильгельм 129

Регина: см. Ольсен Регина

Рёрдам Болетта 70, 74, 80

Риге Йохан Христиан 154

Свифт Джонатан 26

Сократ 75, 95

Стеффенс Генрик 110

Торвальдсен Бертель 46,

123, 129, 132

Фредерик VI, король

Дании 126

Фрейд Зигмунд 168

Хайберг Йохан Людвиг 29,
45, 132, 134, 136, 142, 178,
183, 186, 209

Хайберг Йоханна Луиза 29,
136

Хальс Франс 128

Хеккер Теодор 265

Хольберг Людвиг 114

Христиан VIII, король
Дании и Норвегии 126,
188

Шеллинг Фридрих 110,
113—116, 119

Шлегель Фриц 83, 116, 164,
215, 229, 231, 239, 240

Шлегель Регина: см. Ольсен
Регина

Шлейермахер Фридрих 34
Шопенгауэр Артур 180, 242

Шпанг П. Й. 113, 115

Шремпф Кристоф 266

Шульце Хедевиг 118

Шуман Роберт 51

Экерсберг 128

Энгельс Фридрих 10

Юргенсен Фриц 129, 130

Ясперс Карл 267

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ
НАЧАЛ

<...> Мое «или — или» обозначает главным образом не выбор между злом и добром, но акт выбора, благодаря которому выбирается или отвергается добро и зло вместе. Суть дела ведь не в самом выборе между добром и злом, а в доброй воле, в желании выбрать, чем само собой закладывается основание и добру и злу. Тот, кто склоняется в сторону этики, хотя и выбирает добро, но это добро является здесь лишь понятием отвлеченным, так как ему этим выбором полагается лишь одно основание, и ничто не мешает выбравшему теперь добро остановиться потом на зле. Из этого ты опять видишь, насколько важно вообще решиться на выбор; видишь, что вся суть тут не в обсуждении предметов выбора, а в духовном крещении воли человека в купели этики. Чем больше упущено времени, тем труднее становится выбор, так как душа все более и более сродняется с одной из частей дилеммы и отрешиться от последней становится все труднее и труднее, а между тем

Фрагмент второй части второго раздела книги С. Киркегора «Или — Или». Впервые на русском языке эта работа была опубликована в журнале «Северный вестник» в 1885 году.

это необходимо, если выбор желает иметь хоть мало-малышки решающее значение. Справедливость последнего положения я постараюсь доказать тебе позже.

Ты знаешь, что я никогда не выдавал себя за философа, меньше же всего в беседах с тобой. Частью из желания подразнить тебя, частью потому, что я действительно смотрю на свое положение как на счастливейшее и исполненное наиглубочайшего значения в свете, я взял за правило говорить всегда от лица семьянина. В самом деле, я не пожертвовал своей жизни на служение науке или искусству, то, чему я отдался, собственно говоря, мелочь в сравнении с упомянутыми высокими предметами, — я весь отдаюсь своей службе, своей жене, своим детям, но это с моей стороны не жертва, в этом мое наслаждение и радость. Да, все это мелочь в сравнении с тем, чему отдаешься ты, и все же, мой юный друг, остерегайся, не обманись в том великом, чему ты жертвуешь собой. Хотя я, как сказано, и не философ, мне тем не менее придется выступить с некоторыми философскими рассуждениями, которые прошу тебя не столько критиковать, сколько просто принять к сведению.

Конечный результат твоей полемической борьбы с жизнью выразился в молодецком восклицании: «или — или» — безразлично», имеющем странное сходство с излюбленной теорией новейшей философии, утверждающей, что принцип противоположности утратил свое значение. Я хорошо знаю, что основная точка зрения, с которой ты смотришь на жизнь, противна философии, и все-таки мне кажется, что последняя сама повинна в ошибочном воззрении на жизнь. Если же эта ошибка и не бросается всем в глаза сразу, то только потому, что философия занимает еще менее верное положение, чем ты. Ты дей-

ствуешь — философия созерцает. Вступая же в область практической действительности, философия приходит к тому же выводу, что и ты, хотя и выражает это несколько иначе. Ты примиряешь противоположности в своего рода высшую галиматью, философию — в высшее единство. Ты обращаешься к будущему — каждое действие принадлежит, собственно, будущему — и говоришь: я могу сделать то-то или то-то, но, что бы я ни сделал, ничего путного не выйдет, *ergo* — ничего не буду делать. Философия имеет дело с прошедшим, с прошлым всемирной истории; она показывает, как расходящиеся моменты соединяются в высшем единстве, она примиряет и примиряет без конца. По-моему, однако, она не дает ровно никакого ответа на мой вопрос, — я спрашиваю о будущем, — ты же все-таки отвечаешь на него, хотя бы и бессмыслицей. Допустим теперь, что философия права, что принцип противоположности утратил свое значение, или что философы могут примирить в высшее единство противоположности каждого данного момента. К будущему это, однако, относиться не может, так как противоположности должны существовать прежде чем можно приступить к их примирению. Раз же противоположности существуют, существует и «или — или», т. е. выбор между ними. Философы говорят: так было до сих пор, а я спрашиваю, что мне делать впредь, если я не хочу быть философом? Я ведь отлично вижу, что, раз захотев встать в положение философа, я кончу тем же, чем другие философы: стану примирять противоположности прошедшего. Итак, частью потому, что философия до сих пор не дала никакого ответа на мой вопрос (ведь будь я даже гениальнейшим философом в мире, у меня все-таки должна быть какая-нибудь цель в жизни, кроме созерца-

ния прошедшего), частью потому, что я скромный семьянин, не имеющий ничего общего с философией, я вновь почтительно обращаюсь со своим вопросом к уважаемым представителям науки: что мне делать? Ответа нет по-прежнему: философия занимается прошедшим, и каждый представитель ее так ушел в созерцание этого прошедшего, что «в настоящем остались одни фалды его сюртука», как говорит остроумный поэт об одном страстном любителе древностей. Вот тут-то ты и сходишься с философами: вы как бы допускаете, что ход жизни может остановиться. Для философов всемирная история закончена и подлежит примирению. Оттого-то в наше время и стало заунывным грустное явление встречи молодых людей, способных примирять христианство с язычеством, шутить с титаническими силами истории и в то же время не только не способных ответить простому человеку на вопрос, что ему делать, но и не знающих, что им делать самим. Ты большой мастер выражаться остроумно и красиво, особенно если дело идет о том, чтобы высказать свой взгляд на жизнь, свое *proffession de foi*, и я хочу здесь привести одно из твоих выражений, показывающее, как много у тебя, в сущности, сходства с новейшими философами, хотя их настоящее или напускное достоинство и не позволяет им принять счастье в восторженном полете фантазии.

Если тебя спрашивают, согласен ли ты подписаться под адресом королю, вотировать конституции, подходящий налог, принять участие в том или ином филантропическом предприятии — ты неизменно отвечаешь: «Почтенные современники, вы плохо понимаете меня! При чем тут я? Я знать вас не знаю! Я совсем в стороне, как маленькое испанское «с». Так и философ, его нет тут, он знать никого не знает, сидит себе и слушает песни о бы-

лом, внимает гармонии примирения. Я уважаю науку и ее представителей, но и жизнь ведь имеет свои требования; я еще мог бы затрудниться составить свое мнение о единичном гениальном представителе науки, с головой ушедшем в прошлое, при виде же сотен молодых людей, подражающих ему, раздумывать долго не приходится: ясно, что не все они обладают философскими головами, а между тем все погружены в излюбленную философию времени, или, как я охотнее назвал бы ее, излюбленную философию юношей нашего времени. Я предъявляю к философии лишь вполне законные требования, которые имеет право предъявить всякий, кого она не смеет лишить своего права по причине полного отсутствия в нем умственных способностей; я семьянин, у меня есть дети и от имени своих детей я спрашиваю, что делать человеку, как жить? Ты, может быть, улыбнешься, философы же из подростков уже, наверное, ограничатся одной улыбкой в ответ на этот вопрос отца семейства, а я скажу все-таки, что молчание философии является в данном случае уничтожающим доводом против нее самой. Разве ход жизни приостановился? Разве современное поколение может жить одним созерцанием прошлого? Что же в таком случае будет делать следующее поколение? Тоже созерцать прошедшее? Да ведь предшествующее (т. е. наше) поколение, занимаясь также одним созерцанием прошлого, не произвело ничего, не оставило по себе ничего, подлежащего созерцанию и примирению! Вот еще новое доказательство того, что ты стоишь на одной доске с философами, а я еще раз могу заявить вам, что вы утратили самое главное, высшее в жизни. Воспользуюсь моим положением семьянина, чтобы ясно выразить тебе мою мысль: если бы женатый человек стал утверждать, что

самый совершенный брак есть брак бездетный, он впал бы в ту же ошибку, что и философы. Такой человек воспроизводит себя в абсолюте, тогда как, напротив, каждый семьянин должен считать себя не более как моментом, продолжающимся в детях, и такой взгляд будет гораздо справедливее.

Но я, пожалуй, зашел уже чересчур далеко, углубился в чужую область: во-первых, я ведь не философ, во-вторых, вовсе не задавался целью трактовать о выдающихся явлениях времени; я хотел только побеседовать с тобой лично и притом так, чтобы ты все время чувствовал, что я говорю именно с тобой. Раз затронув, однако, вопрос о философском примирении противоположностей, я постараюсь несколько пообстоятельнее развить свой взгляд на это примирение. Может быть, изложение мое и не будет особенно блестящим, зато оно будет серьезным, а это в данном случае главное, — я не претендую на конкуренцию с философами, но, раз взявшись за перо, постараюсь при его помощи отстоять то, за что в жизни борюсь другими методами, лучшими средствами.

Как нет сомнения в том, что каждого человека ожидает свое будущее, так нет сомнения и в том, что каждому человеку предстоит выбор «или — или». Время, в котором живет какой-нибудь философ, не есть абсолютное время, оно само не более как момент вечности, и бесплодность философии является поэтому дурным признаком, даже больше, — таким же позором для нее, каким является на Востоке бесплодие для женщины. Итак, самое время есть момент, а жизнь философа не более как момент времени. Наше время явится также отдельным моментом для будущего, и философы этого будущего, занимаясь примирением нашего времени с их временем и т. д., бу-

дут стоять на вполне законной почве. Если же философия нашего времени стала бы смотреть на наше время как на время абсолютное, это было бы не более как случайной ошибкой с ее стороны. Нетрудно, следовательно, видеть, что идее абсолютного примирения нанесен чувствительный удар и что абсолютное примирение возможно не ранее чем история закончит свой ход, иначе говоря, что вся система еще находится в непрестанном развитии. Единственно, на что может претендовать философия, это на признание нами возможности абсолютного примирения, и это для нее, без сомнения, вопрос крайней важности: отвергая возможность примирения, мы отвергаем и смысл самой философии. Признать возможность абсолютного примирения является, однако, довольно рискованным: раз признав ее, нельзя уже настаивать на существовании абсолютного выбора, т. е. абсолютного «или — или». Вот в чем трудность решения этого вопроса, которая, впрочем, обуславливается, по-моему, в значительной мере тем, что смешивают две совершенно различные сферы: мышление и свободу воли. Для мысли не существует непримиримых противоположностей — одно переходит в другое и затем сливается в высшее единство. Свобода же воли именно выражается в исключении одной из противоположностей. Я отнюдь не смешиваю *liberum arbitrium* с истинной положительной свободой, так как последняя постоянно имеет вне себя зло — хотя бы и в виде неосуществимой возможности — и совершенствуется не восприятием зла, но исключением его, исключение и есть противоположность примирения. Из всего вышесказанного не следует, впрочем, что я признаю существование абсолютного зла, доказательства чему приведу позже.

Сферами деятельности философии, т. е. сферами, с которыми приходится иметь дело человеческой мысли, является собственно логика, природа и история. В них властвует закон необходимости, и примирение получает поэтому известный смысл и цель, — с таким положением согласны почти все, когда дело идет о первых двух сферах, т. е. о логике и природе, относительно же третьей принято утверждать, что в ней властвует свобода. Мне кажется, однако, что такой взгляд на историю неправилен и порождает различные недоумения и затруднения. История не создается исключительно свободными действиями свободных индивидуумов. Индивидуум действует, но это действие подчинено общему порядку вещей во вселенной; последствий данного действия не может с точностью предвидеть и сам действующий индивидуум. Этот же общий порядок вещей, который, так сказать, перерабатывает в себе свободные деяния людей и подводит их под вечные законы вселенной, есть необходимость и составляющая импульс всемирной истории. Вот почему философия, если и имеет вообще право применить к области истории принцип примирения, то лишь относительно, а не абсолютно. Разбирая жизнь какого-нибудь исторического лица, приходится считаться с деяниями двух различных родов: с принадлежащими лично ему самому и принадлежащими истории. До первых, внутренних, деяний человека философии, собственно, нет дела, а между тем ими-то, в сущности, и ограничивается область свободы в истории. Философия занимается лишь внешними, да и то не отдельными, а уже воспринятыми и переработанными общим историческим процессом человеческими деяниями; этот-то процесс, собственно, и является предметом философских рассуждений, рассматриваемых фи-

лософами с точки зрения необходимости. Исходя из нее, философы и отвергают умозрения, допускающие возможность иного порядка вещей, нежели существующий, т. е. отвергают, следовательно, и возможность существования какого-либо «или — или». Во всех этих рассуждениях много, конечно, пустой и ненужной болтовни — так, по крайней мере, кажется мне — сами же юные заклинатели духов всемирной истории просто комичны; это не мешает мне, однако, отдавать справедливость некоторым великим философским творениям нашего времени. Как уже сказано выше, философия рассматривает историю с точки зрения необходимости, а не свободы, поэтому, если и принято называть общественно-исторический процесс свободным, то лишь в том же смысле, как и органические процессы природы. Для исторического процесса действительно не существует вопроса о каком-либо «или — или», и тем не менее никому из философов не придет, я думаю, в голову отрицать, что вопрос этот всегда существовал и существует как личный вопрос для каждого отдельного индивидуума. Беспечное же и миролюбивое отношение философии к истории и ее героям тем и объясняется, что философы рассматривают жизнь и деяния последних именно с точки зрения необходимости. Тем же самым объясняется и неспособность философии пробудить жизненные силы человека, заставить его действовать, и склонность ее замедлять, тормозить ход жизни отвлеченными рассуждениями. Одним словом, философия требует, в сущности, чтобы мы действовали только в силу необходимости, что само по себе уже есть противоречие.

Итак, жизнь каждого, даже самого ничтожного, индивидуума как бы раздваивается, делится на внутрен-

нию, душевную, и на внешнюю, и общая история его жизни — которую все-таки имеет каждый индивидуум — является результатом не одних только свободных его деяний. Внутренняя, душевная, жизнь индивидуума принадлежит ему одному, и никакая история в частности, никакая всемирная история вообще не должна касаться этой области, составляющей на радость или горе его вечную и неотъемлемую собственность. В этой-то именно области и царствует абсолютное «или — или», но ею-то как раз философия и не занимается.

Если человек на склоне лет начинает размышлять о своей полной внешних бурь и тревожений прошлой жизни, он может мысленно примирить все ее противоречия; история его собственной внешней жизни находилась в связи с общей историей его времени. Что же касается его внутренней жизни, то все ее противоположности и противоречия остаются по-прежнему разделенными «или — или», как и в тот момент, когда ему действительно предстоял выбор. Если здесь, таким образом, и может быть речь о каком-либо примирении, то лишь об известном примирении совести с совершенными деяниями, под условием раскаяния. Но раскаяние не есть примирение, разумеемое философией, — оно не желает мирного согласования рассматриваемых противоположностей и противоречий, но, напротив, жаждет коренного уничтожения каких-либо из них, иными словами, раскаяние — прямая противоположность примирению. Из того, что я стою за реальность раскаяния, и видно, что я не допускаю существования абсолютного зла.

Ты, пожалуй, согласишься со всем вышесказанным, хотя во многих отношениях и сходишься с философами — за исключением, конечно, тех случаев, когда по-

зволюешь себе насмехаться над ними — и тем не менее подумаешь, может быть, что лишь я, как женатый человек, могу удовлетвориться высказанным для своего домашнего обихода. Откровенно говоря, я не удовлетворяюсь этим; желал бы я, однако, знать, чья жизнь выше: философа или свободного человека? Если философ только философ, всецело погружен в свою философию, связан ею по рукам и ногам и совершенно не знает блаженства душевной свободы, то он лишен самого высшего в жизни, он, может быть, обретет весь мир, но потеряет самого себя, повредит душе своей, чего никогда не случится с человеком, живущим во имя свободы, сколько бы этот последний ни терял в других отношениях.

Борясь за свободу (отчасти в этом письме, главным образом внутренне, в душе своей), я борюсь за будущее, за выбор: «или — или». Вот сокровище, которое я намерен оставить в наследство дорогим мне существам на свете. Да, если бы мой маленький сын был теперь в таком возрасте, что мог бы понимать меня, а я был бы при смерти, я сказал бы ему: «Я не завещаю тебе ни денег, ни титула, ни высокого положения в свете, но я укажу тебе, где зарыт клад, который может сделать тебя первейшим богачом в мире; сокровище это принадлежит тебе самому, так что тебе не придется быть за него обязанным другому человеку и этим повредить душе своей; это сокровище скрыто в тебе самом, это — свобода воли, выбор «или — или»; обладание им может возвеличить человека выше ангелов».

Здесь я прерву свое рассуждение. По всей вероятности, оно не удовлетворяет тебя; твой жаркий взор только пожирает его, но не насыщается, — причем глаза ведь редко бывают сыты, в особенности если человек, подобно

тебе, страдает не от действительного голода, а от суетного и ненасытного желания.

Итак, мое «или — или» увлекает человека в область этики. Здесь, тем не менее, еще нет речи о самом выборе или о действительности выбранного, но лишь о действительности акта выбора. В этом-то последнем, однако, вся и суть, на это-то именно я и хочу обратить свое внимание: это пункт, с которого должна начинаться самостоятельная работа человека; здесь кончается роль помощника-проводника.

В предыдущем письме* было замечено, что любовь придает существу человека известную гармонию, которая уже никогда не покидает его всецело; в этом письме я прибавляю, что выбор высоко подымает душу человека, сообщает ей тихое внутреннее довольство, сознание собственного достоинства, которые также не покинут его всецело. Есть люди, считающие для себя величайшим счастьем встречу лицом к лицу с какой-нибудь исторической личностью и навсегда сохраняющие впечатление этой встречи; историческая личность остается жить в их душе как высокий, идеальный, облагораживающий душу образ. Как, однако, ни знаменательна минута подобной встречи, она — ничто в сравнении с минутой истинного выбора. В эту минуту кругом воцаряется тишина, подобная величавому безмолвию звездной ночи, душа остается наедине сама с собой, уединяется от всего мира и созерцает в отверзтых небесах — не великий человеческий образ, но нечто высшее, недоступное обыкновенному взору смертного, созерцает самое Вечную Силу, животворящую все и вся, личность же в эту минуту выбира-

* Статья «Эстетическая законность супружества» того же автора.

ет, или, вернее, определяет себя. Эту минуту можно сравнить с торжественной минутой посвящения оруженосца в рыцари, — душа человека как бы получает удар свыше, облагораживается и делается достойной вечности. И удар этот не изменяет человека, не превращает его в другое существо, но лишь пробуждает и конденсирует его сознание и этим заставляет человека стать самим собой. Как наследник хотя бы всех сокровищ мира не может вступить во владение ими ранее своего совершеннолетия, так даже наиболее богато одаренная природой личность — ничто, пока она не выберет, т. е. не определит самое себя; с другой стороны, даже самая ничтожная, по-видимому, личность — всё, если она сделает свой выбор: суть не в том, чтобы обладать тем или другим значением в свете, но в том, чтобы быть самим собою. Последнее же — в воле каждого человека.

Итак, ты должен теперь ясно видеть, что суть дела не в том, чтобы выбрать что-либо, — одним из двух предметов выбора является ведь эстетический взгляд на жизнь, т. е. индифферентизм, — но в самом акте выбора и при этом выбора абсолютного, так как лишь таковым обуславливается выбор человеком этического направления в жизни. Из этого, однако, не следует, чтобы из жизни человека исключалось все эстетическое: если, благодаря выбору этического направления, личность и сосредоточивается в самой себе и этим как бы отвергает эстетическое начало, то это лишь в смысле абсолютного содержания жизни, относительное же значение эстетическое начало должно будет иметь всегда. Яснее: решаясь на абсолютный выбор, личность выбирает этическое направление и этим исключает из своей жизни эстетическое начало как абсолютное ее содержание, но так как, выбирая

(т. е. определяя самое себя), личность не превращается в другое существо, а лишь определяет самое себя, то ничто и не мешает эстетическому началу сохранить свое относительное значение в жизни. Мое «или — или» может, следовательно, называться понятием абсолютным лишь в известном смысле, поскольку оно решает вопрос: выбирать или не выбирать. Если же выбор является выбором абсолютным, т. е. выбором между добром и злом, то и «или — или» является абсолютным в истинном смысле, обуславливаемом самим актом выбора. Этого последнего выбора (т. е. выбора между добром и злом) я здесь касаться не буду, а постараюсь только, во-первых, довести тебя волей или неволей до решения (притом в утвердительном смысле) вопроса: выбирать или не выбирать, т. е. до сознания необходимости выбора, во-вторых же — рассмотреть жизнь с этической точки зрения. Я не принадлежу к числу этиков-ригористов, требующих формальной абстрактной свободы, — раз выбор сделан, значение (относительное) эстетического начала вновь восстанавливается само собой, так что решишь только на выбор, и ты сам увидишь, что это действительно средство сделать жизнь действительно прекрасной, единственное средство спасти себя самого и свою душу, обрести весь мир и пользоваться его благами без злоупотребления.

Что же, однако, значит: жить эстетической жизнью и жить этической жизнью? Что может назваться в человеке эстетическим и этическим началом? Отвечу: эстетическим началом может назваться то, благодаря чему человек является непосредственно тем, что он есть; этическое же то, благодаря чему становится тем, чем становится. Человек, живущий исключительно тем, благодаря

тому и ради того, что является в нем эстетическим началом, живет эстетической жизнью.

В мои намерения вовсе не входит подробное разбирательство многосложной и многосторонней жизни эстетика, — ты сам такой виртуоз-эстетик, что это совершенно лишнее, — я постараюсь только отметить некоторые наиболее выдающиеся категории эстетиков, чтобы таким образом добраться с тобой до основной точки, на которой вертится все твое мировоззрение, и помешать тебе ускользнуть от меня раньше времени неожиданным прыжком в сторону, до чего ты такой охотник. Я, впрочем, не сомневаюсь, что в состоянии дать тебе немало ценных указаний относительно того, что значит жить эстетической жизнью; мало того, считая тебя опытейшим руководителем, способным посвятить новичка во все тонкости искусства жить эстетической жизнью, я не посоветовал бы никому обратиться к тебе за истолкованием самой сущности эстетической жизни; ты слишком втянулся в эту жизнь, истолковать же ее сущность может лишь тот, кто сам стоит на высшей ступени, т. е. живет этической жизнью. У тебя может явиться искушение поймать меня на слове, заявив, что я в таком случае не могу дать удовлетворительного разъяснения сущности этической жизни. Это даст мне, однако, лишь повод к следующим разъяснениям.

Причина, по которой эстетик не в состоянии дать надлежащего разъяснения эстетической жизни, та, что он живет минутой, а потому и компетентность его ограничена узкими пределами данной минуты. При всем этом я вовсе не отрицаю, что эстетик, стоящий на высшей ступени эстетического развития, может обладать богатыми и многосторонними душевными способностями; напротив,

эти способности должны даже отличаться у него особенной интенсивностью, тем не менее им недостает надлежащей самостоятельности и ясности. (Здесь кстати будет упомянуть о некоторых животных, чувства которых развиты гораздо выше, чем у человека, но зато связаны с животным инстинктом.)

Теперь возьмем в пример тебя самого. Я никогда не отказывал тебе в выдающихся душевных и умственных дарованиях, — это видно, например, из моих постоянных упреков тебе за злоупотребление ими. Ты богато одарен природой, ты остроумен, тонкий ироник и диалектик, до тонкости изучил искусство наслаждаться жизнью, умеешь пользоваться минутой, ты чувствителен, бессердечен — все, смотря по обстоятельствам, но при всем этом ты живешь только минутой, такой жизни недостает *основной связи*, и ты не в состоянии дать относительно нее надлежащего разъяснения. Итак, всякий желающий постигнуть искусство наслаждения нисколько не ошибется, обратившись к тебе, тогда как желающий уяснить себе смысл и значение этической жизни — напротив. Обратившись ко мне, такой человек будет, пожалуй, скорее удовлетворен, несмотря на то что я далеко не так даровит, как ты. Дело в том, что ты связан самой жизнью своей по рукам и ногам, я же свободен, как в определении эстетической, так и этической жизни: живя эстетической жизнью, я стою выше минуты.

Даже самому малоспособному и незначительному человеку в свете присущее естественное стремление составить собственный взгляд на жизнь, уяснить себе ее смысл и цель. Эстетик в этом случае не исключение, взгляд же его на жизнь лучше всего резюмируется общим девизом эстетиков всех времен и народов: «нужно наслаждаться

жизнью*. У каждого, разумеется, могут быть различные понятия и представления о наслаждении, с основным же положением и необходимостью наслаждения согласны все.

Условия для такого наслаждения, однако, находятся обыкновенно не в самом желающем наслаждаться жизнью, а вне его или, если и находятся в нем, то все-таки не зависят от него самого. Прошу тебя особенно заметить последнюю фразу, — я не даром обдумал и взвесил в ней каждое слово.

Займемся же теперь, как сказано, кратким обзором различных категорий эстетиков. Ты, впрочем, вероятно, недоволен тем общим определением эстетической жизни, которое я только что дал; отрицать же его справедливость ты тем не менее, конечно, не вздумаешь. Вполне понятно, что ты негодуешь на такое приобщение тебя к презираемым тобой профанам; я сам слышал не раз твои язвительные насмешки над людьми, не умеющими наслаждаться жизнью, самого себя ты, напротив, всегда причислял к первейшим мастерам этого искусства и в качестве такого рассчитывал, пожалуй, на особенную любезность с моей стороны. Возможно, конечно, что ты прав и что те профаны, с которыми ты не желаешь иметь ничего общего, действительно не умеют наслаждаться жизнью, тем не менее я принужден причислить тебя с ними к одной категории: у вас есть нечто общее — взгляд на жизнь, и это нечто настолько существенное, что небольшое различие в остальном не может иметь почти никакого значения. Право, нельзя не рассмеяться над твоим положением, мой юный друг, — тебя преследует какое-то проклятие: на каждом шагу ты встречаешь таких товарищей по искусству, с которыми не желал бы

и знаясь; ты, такой аристократ в искусстве наслаждения, поминутно попадаешь в такую дурную компанию. Да, в высшей степени неприятно, если жизненные воззрения человека ставят его на одну доску с первым встречным кутилой или спортсменом. Если и не придется сказать того же о тебе, то потому лишь, что ты в известном смысле стоишь на высшей ступени эстетического развития. Что это так, докажу позже.

Как ни разнообразны различные категории эстетиков, все они имеют между собой то существенное сходство, что неперенным условием принадлежности к каждой из них является не *осознанное* умственное или душевное развитие человеческой личности, а непосредственность. Разница в умственном отношении между эстетиками различных категорий может, таким образом, быть очень велика, — между ними могут встретиться и образцы полнейшего скудоумия, и гениальнейшие умы, но даже и в этих последних случаях ум имеет значение не сам по себе, а как непосредственный дар.

Как уже сказано, я ограничусь лишь кратким обзором всех упомянутых категорий и займусь более подробно тем, что так или иначе можно применить к тебе или что я желал бы тебя заставить применить к себе.

Непосредственность человеческой личности лежит не в ее духовной природе, но в физической. Отсюда взгляд на здоровье как на величайшее благо в жизни. Более поэтический, но одновременный с первым взгляд: «выше всего на свете красота»; красота, однако, вещь очень непрочная, и потому этот взгляд не так популярен. Тем не менее довольно часто можно встретить молодую девушку или юношу, ставящих выше всего на свете свою красоту; жаль только, что она скоро изменяет им! <...>

Представители обоих упомянутых взглядов (т. е. люди, признающие высшим благом свое здоровье и придающие то же значение своей красоте) сходятся в том, что жизнью нужно наслаждаться, условия же, благодаря которым они могут наслаждаться жизнью, хотя и находятся в их физической природе, но не зависят от них самих.

Далее. Встречаются люди, желающие наслаждаться жизнью, но могущие достигнуть желаемого благодаря таким условиям, которые находятся совершенно вне их самих. Таковы, например, лица, смысл и цель жизни которых — в богатстве, власти, почестях и т. п. К этой же категории можно отнести, в известном смысле, и влюбленных. Представим себе молодую девушку, влюбленную до безумия; ее взор ищет только милого сердцу, ее мысль занята им одним; ее сердце бьется лишь для него; она не знает другого желания, как только принадлежать ему; ничто, кроме него, ни земное, ни небесное, не имеет для нее значения; она также стремится к наслаждению, но условия для этого не в ней самой. Ты, без сомнения, находишь такую любовь глупой и думаешь, что она встречается лишь в романах; возможно, однако, что в глазах других людей такая любовь — нечто удивительно прекрасное. Ниже я объясню тебе, почему я не одобряю и не могу одобрить такой любви.

Далее. Есть люди, наслаждающиеся жизнью благодаря условиям, находящимся в их духовной природе, но по существу своему не зависящим от них самих. Смысл и цель жизни для таких личностей в их таланте. Один обладает талантом математическим, другой — коммерческим, третий — поэтическим, четвертый — художественным, пятый — философским и т. д. Некоторые при этом удовлетворяются тем самым непосредственным талан-

том, который вложен в них самой природой, другие стараются развить, усовершенствовать его; наслаждение жизнью, однако, для тех и для других обуславливается тем, что по существу своему не зависит от них, — природным талантом. Люди этой категории часто служат мишенью для твоих насмешек за свою лихорадочную деятельность — ты не признаешь в них собратьев-эстетиков. Не подлежит никакому сомнению, что у тебя совершенно иной взгляд на наслаждение жизнью, но суть дела не в этом, а в том, что и ты и они требуете от жизни наслаждения. Твоя жизнь как будто гораздо выше, ближе к идеалу эстетической жизни, чем их, но их жизнь зато гораздо невиннее твоей.

Все перечисленные категории сходны между собой тем, что жизнь всех людей, принадлежащих к той или иной из них, имеет известную основную объединяющую идею, которая и мешает этим людям разбрасываться. Последним же как раз страдает жизнь эстетиков-аристократов, гордящихся богатством и разносторонностью своей натуры; этой-то именно категорией эстетиков я и займусь теперь поподробнее.

Эстетики последней категории понимают под наслаждением жизнью удовлетворение всех своих желаний; желаний, однако, у них так много, и притом самых различных, что благодаря этому жизнь их просто поражает своей безграничной разбросанностью. Встречаются, впрочем, и между ними люди, в жизни которых с детства преобладает одно определенное желание, обратившееся, так сказать, в страсть, например в страсть к ужению, к охоте, к спорту и т. п. Так как воззрение на жизнь этих людей лишено необходимой цельности и определенности и потому не может быть названо сознательным воззрени-

ем личности, то его и приходится назвать воззрением рефлексивным; что же касается до содержания или значения самой личности этих людей, то оно заключается опять-таки в их непосредственности. Такие люди всегда непосредственны во всех своих желаниях, как бы утонченны и прихотливы эти последние ни были: живя лишь данной минутой, эти люди, несмотря на все богатство и многосторонность своей натуры, живут именно непосредственной жизнью. Жить исключительно ради удовлетворения своих желаний, конечно, очень заманчиво в глазах большинства, но, к счастью, очень трудно осуществимо на практике вследствие различных жизненных условий, принуждающих человека заботиться совершенно об ином. Я говорю *к счастью*, потому что иначе нам, пожалуй, часто пришлось бы присутствовать при самых ужасных зрелищах: ведь жалобы большинства людей, сетующих на то, что они подавлены прозой жизни, в сущности не что иное, как замаскированное желание сбросить с себя регулирующее их страсти ярмо жизни. Итак, жить исключительно ради удовлетворения своих желаний могут лишь те избранные, на долю которых выпадает счастье, или, вернее, несчастье, быть независимыми от всех забот житейских. Выражение «несчастье» здесь более уместно потому, что такое счастье ниспосылают людям скорее злые, чем добрые боги.

Редко, разумеется, можно встретить людей, которым удалось осуществить свою мечту — жить исключительно для исполнения своих желаний — в грандиозных размерах, зато людей, поддразниваемых маленькими удачками, — сколько угодно; такие люди только и твердят, что во всем виноваты внешние условия жизни, что, не будь этой помехи, они бы достигли цели своей жизни — бес-

прерывного наслаждения. Всемирная история богата подобными примерами.

Считая полезным рассмотреть внимательнее, к чему может привести человека стремление жить исключительно ради удовлетворения своих желаний в том случае, когда окружающие его условия жизни благоприятствуют осуществлению этого стремления, я возьму крупную историческую фигуру — могущественного повелителя Рима Нерона, перед которым падал ниц, ожидая его повелений, весь мир. Ты раз как-то со своей обычной смелостью заметил, что Нерону вовсе нельзя ставить в вину сожжения Рима ради удовлетворения желания иметь понятие о пожаре Трои, что можно только спросить, был ли он действительно художником в душе, чтобы как следует насладиться этим зрелищем. В данном случае мы имеем дело с одним из твоих цезарских удовольствий — никогда не отступать ни перед какой мыслью, не бояться довести до конца никогда и никакую; для того не нужно ни преторианцев, ни золота, ни серебра, ни других сокровищ мира, удовольствию этому можно предаться и втихомолку, наедине с самим собою, что хотя и благоразумнее, но не менее ужасно. Я знаю, что ты не имел, в сущности, намерения оправдывать Нерона; раз, однако, ты сосредоточиваешь свое внимание не на том, что он творил, а на том, как он творил, это уже смахивает на оправдание. Мне известно также, что подобная смелость мысли, часто вообще встречающаяся у молодых людей, есть не что иное, как примерная проба сил, приводящая иногда к излишней экзальтации, особенно в присутствии посторонних слушателей. Знаю я и то, что ты — как и я, как и сам Нерон даже — ужасаешься его чудовищности, и тем не менее я не советовал бы никому полагаться на свои силы

настолько, чтобы не страшиться одной мысли сделаться Нероном самому. После того как я определю свой взгляд на сущность души Нерона, ты, может быть, и удивись снисходительности моего определения; я, однако, вовсе не так снисходителен, хотя и не склонен излишне осуждать человека. Мое определение, несмотря на свою кажущуюся снисходительность, будет лишь справедливо и к тому же покажет, насколько вообще близок к искушению каждый из нас, если не живет невинной жизнью дитяти.

Сущность души Нерона — меланхолия. В наше время меланхолия считается каким-то высоким чувством, и потому нечего удивляться, если мое определение покажется тебе слишком снисходительным; я же держусь учения древней церкви, причислявшей уныние, меланхолию то ж, к числу смертных грехов. Если я окажусь правым, это, конечно, будет для тебя весьма неприятным открытием, опрокидывающим все твое мировоззрение. Ради предосторожности прибавлю, что если человек вообще и не властен избежать печали и горя, обусловливаемых различными, преследующими его иногда без конца, житейскими испытаниями, то в меланхолию он все-таки впадает исключительно по собственной вине.

Вернемся же теперь к цезарю-сластолюбцу. Ликторы предшествуют ему не только тогда, когда он поднимается по ступенькам трона или направляется в сенат, но даже тогда, когда он идет удовлетворять свои страсти, — они идут вперед и прокладывают дорогу его преступлением. Но вот он становится старше; беспечность юности отлетела от него, душа изведала все наслаждения и пресытилась ими. Прожитая жизнь, как бы порочна она ни была, умудрила его известным опытом и знаниями, и тем не менее в душе он остался ребенком, или, вернее, юношей,

благодаря непосредственности своей натуры. Сознание его не может пробиться сквозь броню непосредственности, и он тщетно старается уяснить себе иную, более высокую форму земного бытия. Уясни себе это Нерон, и блеск трона, власти, могущества — все померкло бы в его глазах. Для этого, однако, у него недостает нравственных сил, и он в отчаянии хватается за наслаждение. Весь мир должен изощрять свою изобретательность, чтобы постоянно предлагать ему новые и новые наслаждения: он отдыхает душой лишь в минуту наслаждения; стоит наслаждению прекратиться, и он опять задыхается от истомы. Сознание между тем по-прежнему стремится освободиться от лежащего на нем гнета, но без успеха — его постоянно обманывают наслаждениями. Тогда сознание омрачается, гнев переполняет душу и переходит в трепет, не стихающий даже в минуты наслаждения. Вот почему взор Нерона так мрачен, что никто не может его выдерживать, так зловещ, что все перед ним трепещут. За этим взором таится душа, окутанная таким же зловещим мраком. Этот взор — взор цезаря, и потому перед ним трепещут все; внутри него самого, однако, тот же трепет. Посмотрит ли на него ребенок как-нибудь особенно пристально, бросит ли на него случайный взгляд кто-нибудь другой, и Нерон уже трепещет, точно чувствуя, что каждый человек, в сущности, сильнее него. Сознание рвется на свободу, требует от Нерона работы мысли и душевного просветления, но душа цезаря уже бессильна, и новый приступ гнева овладевает ею. Нерон не уверен в самом себе и успокаивается лишь тогда, когда весь свет лежит перед ним в прахе и он не видит, не читает ни в одном взоре желания посягнуть на его свободу. Вот чем объясняется человекобоязнь Нерона и всех подобных ему. Он, как

одержимый бесом, лишен внутренней душевной свободы и в каждом человеческом взоре видит стремление поработить его. Повелитель Рима страшится поэтому взора последнего раба. Встретив такой взор, глаза цезаря пожирают дерзновенного. Рядом с цезарем стоит услужливый негодяй, он понимает дикий взор повелителя, и участь несчастного решена. Убийство не отягощает совести Нерона, зато душевный трепет его еще увеличивается. Одни только наслаждения доставляют ему минутный отдых и забвение. В погоне за ними он сжигает пол-Рима, но душа его по-прежнему терзается муками страха. Скоро для него остается лишь один род высшего наслаждения — вселять страх в других. Сам себе загадка, полный непреодолимого внутреннего трепета, он хочет быть загадкой и для всех, хочет наслаждаться всеобщим трепетом перед собой. Вот откуда эта непостижимая улыбка цезаря. К его трону подходят приближенные, он ласково улыбается им, но их охватывает ужас: может быть, в этой улыбке — их смертный приговор, может быть, пол уйдет из-под их ног, и они рухнут в пропасть! К его трону подходит женщина, он милостиво улыбается ей, а она между тем полумертва от страха: своей улыбкой он, может быть, отмечает в ней новую жертву своего сладострастия. И этот страх радует его: он не хочет, чтобы его уважали, он хочет, чтобы его боялись! Он не выступает гордым, могущественным цезарем, он едва тащится медленною неровной поступью, но эта неспособность только увеличивает всеобщую панику. Он смотрит умирающим, еле дышит и все же — повелитель Рима, властелин жизни и смерти своих подданных! Его душа расслаблена, только соль остроумия и игра слов могут на минуту оживить еще его. Но вот все, что в состоянии дать ему мир, исчерпано; чем же

ему жить теперь? Он способен заставить убить ребенка на глазах матери, если бы надеялся, что зрелище ее отчаяния будет для него невиданной новинкой. Не будь он повелителем Рима, он бы, пожалуй, давно готов был сам покончить с собою, — самоубийство есть, в сущности, осуществление — в иной только форме — желания Калигулы отрубить голову всему человечеству. Не знаю, была ли у Нерона еще одна черта, которую можно встретить часто у подобных ему людей, — известного рода добродушие. Если — да, то окружающие, без сомнения, называли ее приветливостью.

Личность Нерона дает нам, таким образом, понятие о странной причинной связи между непосредственностью и меланхолией: в то время как все сокровища вселенной не в состоянии доставить его пресыщенной душе ни малейшего наслаждения, какое-нибудь самое ничтожное обстоятельство, слово, наружность человека и т. п. может привести его в неописуемый восторг — он радуется, как дитя. И всех подобных Нерону людей можно сравнить с детьми: они именно дети по нетронутой, непроясненной мыслию, непосредственной своей натуре. Сознательно развившаяся личность не может уже радоваться таким образом: она перестала быть ребенком, хотя, может быть, и сохранила некоторые душевные черты ребенка. В общем, Нерон — отживший старик, в отдельных же случаях — дитя.

Здесь я прерву свой очерк, заставивший меня — надеюсь, и тебя также — серьезно призадуматься. Да, Нерон страшен даже теперь, по смерти своей: при всей своей порочности, он — плоть от плоти, кость от костей наших, даже в нем, в этом изверге, найдется много человеческого. Во всяком же случае, я набросал этот очерк не для того

только, чтобы занять твое воображение, — я не принадлежу к числу писателей, заискивающих подобным образом у читателя, меньше же всего желаю я заискивать у тебя, я даже совсем не писатель, как ты знаешь, и взялся за перо лишь ради тебя. Я набросал этот очерк также не для того, чтобы дать нам обоим повод фарисейски благодарить Бога за то, что Он создал нас не таковыми. Во мне этот набросок пробудил, как сказано, совсем иные мысли, и если я и благодарю Бога, то за то, что моя жизнь была до сих пор чужда особых тревог, за то, что я видел все подобные ужасы лишь издали и теперь — счастливый семьянин. Что же касается тебя, то я радуюсь, что ты еще достаточно молод для того, чтобы извлечь из этого наброска кое-какую пользу для себя, научиться чему-нибудь. Пусть каждый учится чему может, мы же с тобой постараемся научиться тому, что несчастье человека совсем не в том, что он не обладает всеми внешними условиями жизни, но что обладание этими условиями сделало бы его, напротив, вконец несчастным.

Что же такое меланхолия? Истерия духа? В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда непосредственность, так сказать, теряет свое главное жизненное значение и дух стремится проявить себя в высшей форме сознательного бытия. Непосредственность как цепь привязала человека ко всему земному, теперь же дух стремится уяснить себя самого и извлечь человеческую личность из этой зависимости, чтобы она могла сознать себя в этом вечном значении. Если этот переход от бессознательной непосредственности к сознательному просветлению чересчур замедляется — человеком овладевает меланхолия. Что ни делай после того, как ни старайся забыться, работай, развлекайся — хотя и более не-

винными способами, чем Нерон, — меланхолия остается. В ней есть что-то необъяснимое. Человек, подавленный горем или тяжелыми заботами, знает, чем он огорчен или озабочен, но спросите меланхолика, что гнетет его, и он ответит: «И сам не знаю, не могу объяснить». В этой-то необъяснимости и лежит бесконечность меланхолии. Меланхолик ответил совершенно правильно, так как сознай человек причину своей меланхолии — она была бы уничтожена. Этим меланхолия и отличается от обыкновенной грусти или скорби человеческой, которая отнюдь не уничтожается и не уменьшается от того, что человек сознает ее причину. Меланхолия — грех, подобный всем грехам, грех отсутствия сознательной воли, т. е. такое душевное состояние, при котором человек и сам не знает, чего он хочет или не хочет; грех, мало того, — из грехов грех. И вот этот-то душевный недуг, или, вернее, грех, — самое обычное явление времени, особенно заметное в Германии и Франции, где падают под его тяжестью целые поколения молодежи. Я не желаю раздражать тебя и охотно соглашусь, что в известном смысле меланхолия совсем не дурной признак, так как поражает обыкновенно лишь наиболее богато одаренные натуры. Не стану также досаждать тебе предположением, что всякий страдающий несварением желудка тоже может вследствие этого назваться меланхоликом, как это часто случается в наше время, когда меланхолия вменяется чуть ли не в достоинство, за которым гоняются все. Я скажу только, что тот, кто считает себя особенно одаренным природой, должен помириться и с той ответственностью, которую я на него поэтому налагаю, то есть с тем, что он может оказаться много виновнее, чем другие, не столь даровитые люди. И пусть он не видит в этом унижения своей лично-

сти, а пусть, напротив, научится с истинным смирением преклоняться перед Вечной Справедливостью.

Итак, меланхолия будет угнетать человека до тех пор, пока упомянутый переход от бессознательной непосредственности к высшему сознательному развитию личности не будет совершен. После же этого меланхолия исчезает навсегда, хотя легко может случиться, что жизнь обрушит на того же самого человека целый ряд различных горестей и несчастий; ты знаешь, однако, что в этом отношении я меньше всех придерживаюсь убогого умствования, проповедующего людям, что мало толку предаваться горю и печали, что лучше стряхивать их с себя, как лишнее бремя. Я бы стыдился себя самого, если бы осмелился обратиться с подобным увещанием к человеку в горе. От меланхолии не всегда, впрочем, свободны даже и те люди, в жизни которых упомянутый переход совершается вполне спокойно и естественно. Причину меланхолии таких людей надо искать значительно глубже — она обуславливается первородным грехом и заключается в том, что человек никогда не может проникнуть в самую сущность своей природы, никогда не может вполне постигнуть самого себя. О людях, не имеющих никакого понятия о меланхолии и не имеющих, следовательно, понятия о возможности и сущности самой метаморфозы, я и говорить здесь не буду, — я пишу только о тебе и для тебя. Полагаю, что мое объяснение сущности и причин меланхолии удовлетворяет тебя, так как ты навряд ли согласишься с мнением многих докторов, утверждающих, что причины меланхолии чисто физические, — если бы это было так, они могли бы, казалось, исцелять страждущих ею; в этом вся и суть, что меланхолия — болезнь духа и исцеляется лишь силою духа, одерживающего победу над

сковывающей его стремления непосредственностью, которая является выражением плотской природы человека. Торжество духа ведет к тому, что все мелочные заботы и печали человека: недовольство жизнью, тоскливое сознание ненужности и бесполезности своего существования — все исчезает само собой; раз человеческая личность сознает свое вечное и неизменное значение, она знает и свое значение в земной жизни.

Надеюсь, что ты простишь мне это маленькое отступление от главного предмета нашей беседы, — я позволил себе сделать его, имея в виду твою же пользу. Возвращаюсь теперь к людям, видящим смысл и цель жизни в непрерывном наслаждении. Человек, обладающий обыкновенной житейской мудростью, легко поймет, что подобное воззрение весьма трудно применимо на практике, и потому не станет останавливаться на нем. Утонченный эгоист также увидит, что в большинстве случаев самая суть наслаждения ускользает от него, и вот — создается новое воззрение, учащее, что следует наслаждаться не тем, что обуславливает данное наслаждение, но самим собою в положении наслаждающегося. Это уже воззрение высшего порядка, и тем не менее оно не затрагивает сущности самой личности, которая по-прежнему сохраняет всю свою непосредственность, да и условия наслаждения по-прежнему находятся вне самого человека: для того чтобы наслаждаться самим собою в положении наслаждающегося, нужно все-таки привести себя в это положение, что опять-таки зависит от различных внешних условий. Вся разница между таким утонченным эпикурейцем и обыкновенным эстетиком в том, что первый наслаждается до известной степени сознательно, а последний непосредственно, зависимость же обоих — по отношению к

возможности наслаждаться — от внешних условий оди-
накова.

Как же избавиться от этой зависимости? На помощь является новое воззрение, которое учит людей искать наслаждение в возможно большем уничтожении внешних условий, от которых зависит самое наслаждение. Из этого, однако, опять следует, что наслаждение наслаждающегося самим собою, благодаря уничтожению внешних условий, зависит от того, насколько ему удастся уничтожить эти условия. И это еще не все: благодаря тому что мышление такого человека вертится исключительно вокруг него самого и, следовательно, не в состоянии содействовать развитию личности, а наслаждение обуславливается возможно малым содержанием того же самого наслаждения — этот человек как бы выдалбливает самого себя.

Полагаю теперь, что вышеприведенные рассуждения довольно ясно — по крайней мере для тебя — очертили область эстетических воззрений на жизнь. Общее сходство их в том, что все они требуют для человека такой именно жизни, которая обуславливается непосредственной сущностью его природы и вполне соответствует ей, так как мышление никогда не подымается выше уровня этого непосредственного, и единственным объектом его остается физическая жизнь данного человека. Я дал тут, разумеется, лишь беглый обзор этих эстетических воззрений, не входя в подробное разбирательство их сущности и различий, — я имею главным образом в виду переход от эстетической непосредственности к этическому сознанию, и на этот-то предмет я и прошу тебя обратить свое особенное внимание.

Положим, что человек, живущий исключительно ради своего здоровья, даже и «умирая (говоря твоим язы-

ком), был здоровее, чем когда-либо»; положим, что прекрасная графская чета танцевала на своей золотой свадьбе, вызывая такой же восторг и восхищение, каким сопровождалось их появление в бальном зале в самый момент их бракосочетания; положим, что любитель золота собрал неисчислимые сокровища, что честолюбец добился самых высоких почестей, что молодая девушка соединилась со страстно любимым человеком, что коммерческий гений опутал торговой сетью все части света и забрал в руки биржи всего мира, что изобретатель перекинул мост с земли на небо; положим, что Нерон никогда не задыхался от истомы, но каждую минуту находил все новые и новые наслаждения; что утонченный эпикуреец постоянно находил случай наслаждаться самим собой, что циник довел число внешних условий, от которых зависит его наслаждение жизнью, до минимума, предположим все это — какой же вывод должны мы сделать? — Все эти люди наслаждаются жизнью? Вряд ли ты согласишься с таким выводом; почему — объясню позже; ты охотно согласишься только, что многие люди сделали бы этот вывод и что нашлись бы даже и такие, которые, воображая, что изрекают невесть какую мудрость, прибавили бы, что единственно, чего всем этим счастливицам недостает, это — умения ценить свое счастье. Сделаем теперь как раз обратное предположение, т. е. предположим, что ни один из упомянутых людей не достиг желаемого. Вывод: всеми ими овладело отчаяние. С этим ты тоже навряд ли согласишься, и пожалуй даже скажешь, что им вовсе не из чего было и приходить в отчаяние. Почему ты держишься такого мнения, я тоже объясню позже, а теперь лишь установлю наше согласие относительно того, что лишь небольшая часть людей нашла бы в данном случае

достаточные основания для отчаяния. Разберем же эти основания. Не заставит ли этих людей прийти в отчаяние то, что они убедились в суетности своих желаний, в суетности того, на чем они основывали свою жизнь? Какое же, однако, основание приходить в отчаяние от того, что суетное оказалось суетным? Разве в самой сущности суетного произошло в данном случае какое-нибудь серьезное изменение? Напротив, оно произошло бы, если бы это суетное не оказалось суетным в действительности. Отчаиваться, таким образом, этим людям нечего — ничего нового в их положении не произошло; если же они тем не менее отчаиваются, то причину их отчаяния надо искать в отчаянии же, в том отчаянии, в котором они находились прежде и всегда. Разница между их прежним положением и настоящим лишь та, что прежде они не сознавали своего отчаяния, а теперь сознают, но это разница чисто случайная. Оказывается, следовательно, что эстетическое воззрение на жизнь (всех сортов и ценностей и степеней) есть, в сущности, своего рода отчаяние; оказывается, что человек, живущий эстетической жизнью, живет сознательно или бессознательно в отчаянии. Раз, однако, человек живет в отчаянии сознательно — как ты например — переход к высшей форме бытия является по отношению к нему безусловным требованием.

Здесь я опять позволю себе небольшое отступление, так как хочу объяснить неодобрение, высказанное мною по поводу безумно-страстной любви молодой девушки. Делаю я это во избежание каких бы то ни было недоразумений: ты ведь знаешь, что я, в качестве женатого человека, напротив, готов при каждом удобном случае и письменно и устно отстаивать *raison d'être* любви. Человек с обыденным житейским умом, пожалуй, постиг бы всю

непрочность такой любви и формулировал свое жалкое мудрствование таким образом: лучше любить помаленьку, да подольше. Подобная мудрость, однако, куда менее прочна и уже во всяком случае куда более ничтожна, чем самая любовь молодой девушки, и ты, разумеется, понимаешь, что мое неодобрение ни в каком случае не может вытекать из подобных соображений. Для того чтобы объяснить это неодобрение, мне приходится отважиться на крайне трудный для меня эксперимент мысли: предположить, что я сам сделался предметом такой любви. Как сказано, мне в высшей степени затруднительно представить себя в таком положении: я полюбил лишь раз и навсегда, продолжаю быть неизмеримо счастливым любовью моей подруги жизни и потому даже представить себе не могу никакой иной любви; тем не менее пытаюсь. Итак, меня полюбили безумной страстью любовной. Что же — я был бы счастлив? Нет, я бы даже не принял такой любви, и не потому, что пренебрег бы ею — избави Бог! — я бы скорее решился взять на душу убийство, чем пренебречь любовью молодой девушки; я просто не допустил бы молодую девушку полюбить меня такой любовью и не допустил именно ради нее самой. Я желаю быть любимым, если возможно, всеми людьми, желаю быть любимым своей женой так горячо, как только один человек может любить другого, я даже страдал бы, если бы она любила меня меньше, но большего не требую. Я не могу позволить молодой девушке забыть себя самое, повредить своей душе из-за любви ко мне. Я сам бы любил ее слишком горячо, чтобы позволить ей так унизить свое человеческое достоинство. А между тем действительно находятся такие высокомерные люди, которым льстит быть любимыми такой безграничной, безумной, готовой на все уни-

жения любовью. И они мастера добиваться ее. Чем, однако, они оправдывают свое поведение? Сама девушка бывает в большинстве случаев жестоко наказана за свое увлечение, поэтому я не сужу так строго ее, как этих гнусных развратителей ее души и сердца. Теперь ты понимаешь, почему я сказал, что упомянутая девушка живет в отчаянии. Ее положение будет одинаково отчаянным как в случае неудачи, так и удачи: будет ведь чистой случайностью, если любимый ею человек окажется настолько честным, что поможет ей высвободиться из ее ложного положения. И какие бы жестокие средства он ни употреблял для этого, я все-таки скажу, что он поступил с нею как честный, добросовестный и сердечный человек, как истый рыцарь!

Ясно, таким образом, что эстетическое воззрение на жизнь, к какому бы роду и виду оно ни принадлежало, сводится, в сущности, к отчаянию; не менее ясно, казалось бы, и то, что человеку следует на этом основании перейти к этическому воззрению. Мы еще не рассмотрели, однако, самого утопченного и высшего из всех эстетических воззрений, которым я и займусь теперь поподробнее: теперь очередь дошла ведь до тебя.

Это воззрение равняется сплошному отчаянию, к числу же эстетических, из которых оно является крайним, его нужно причислить потому, что придерживающаяся его личность сохраняет всю свою непосредственность; я назвал его также крайним, так как в него входит до известной степени сознание его ничтожности.

Отчаяние отчаянию, как известно, рознь. Представим себе, что какой-нибудь артист, художник например, ослеп; может быть, он и придет от этого в отчаяние, особенно, если вся его жизненная сущность исчерпывается

одним художественным талантом. Причина отчаяния тем не менее единичная, и стоит устранить ее, т. е. вернуть ему зрение, и отчаяние исчезнет. С тобой не то; ты слишком богато одарен природой, жизненная сущность твоя обладает слишком глубоким содержанием, чтобы твое отчаяние могло обуславливаться чем-либо подобным. Ты действительно обладаешь всеми внешними условиями для того, чтобы позволить себе держаться эстетического воззрения на жизнь: ты богат, независим, здоров, умен и не испытывал еще несчастной любви. И все-таки твоя жизнь выражает одно отчаяние. Оно еще не проявляется пока активно, но пассивно, в мыслях твоих, живет давно. Твоя мысль предупреждает твои действия — она уже провидит всю суетность и тлен того, до чего ты еще, собственно, и не дошел по опыту. Погружаясь время от времени в суету мира, предаваясь в отдельные минуты наслаждению, ты, однако, постигаешь своим сознанием всю его сущность и потому всегда живешь в отчаянии; последнее же приводит к тому, что жизнь твоя представляет вечное колебание между двумя крайними противоположностями: сверхъестественной энергией и полной апатией.

Я часто замечал, что чем дороже напиток, которым опьяняет себя человек, тем легче последний втягивается в его употребление, тем прекраснее само опьянение и тем, по-видимому, более пагубны его последствия. Чрезмерное употребление водки скоро дает себя знать такими ужасными последствиями, что на исправление пьяницы можно еще надеяться. Отказаться от опьянения шампанским уже неизмеримо труднее. Ты же выбрал для себя самый утонченный напиток, потому что всякий другой напиток, кроме отчаяния, производит опьянение, которое

было бы так прекрасно само по себе и так красило бы человека, особенно в глазах девушек (это тебе отлично известно) и особенно в тех случаях, когда этот человек обладает искусством сдерживать дикие порывы своего отчаяния, так что люди видят на его лице лишь слабое зарево пожирающего его душу пламени. Отчаяние молодецки заламывает на голове человека шляпу, окрыляет поступь, зажигает гордый блеск в его глазах, трогает высокомерной улыбкой уста, сообщает человеку необыкновенную жизненную легкость и царственный кругозор. И вот такой человек приближается к какой-нибудь молодой девушке; гордое чело склоняется перед ней одной в целом мире, — это льстит ей, и, к сожалению, почти всякая из них настолько неопытна, что верит этому притворному поклонению.

Так вот каково твое жизненное воззрение, и, поверь мне, многое в твоей жизни станет тебе ясным, если ты согласишься со мной, что оно выражает, в сущности, отчаяние мысли. Ты враг жизненной действительности, и немудрено: для того чтобы она обрела смысл, жизнь человека должна иметь внутреннее содержание и связь, а этого-то как раз и недостает твоей. Правда, ты занимаешься наукой, искусствами, и даже иногда прилежно занимаешься, но все это лишь ради себя самого, наука же и искусство тут только для отвода глаз. Большею частью ты, однако, совершенно празден, стоишь себе на торжище, заложив руки в карманы, как евангельские работники, и посматриваешь на мир Вожий. И ты как бы застыл в своем отчаянии, и ничто не занимает тебя, ничто не в состоянии расшевелить тебя; «Вались хоть все черепицы с крыш, я не сойду с места», — говоришь ты. Ты похож на умирающего и умираешь день за днем, хотя не в том глу-

боком серьезном значении, в котором вообще понимается это слово; иначе говоря, жизнь потеряла для тебя действительный смысл, и ты «ведешь счет времени лишь по дням платежа за квартиру». Ты все пропускаешь мимо себя без внимания, но вдруг тебя заденет какая-нибудь идея, приключение, улыбка молодой девушки, и ты «готов»; насколько прежде ты во всех случаях оказывался «ни при чем», настолько теперь во всех отношениях «при всем», готов принимать участие во всех событиях. Но вот порыв проходит, и ты опять стоишь и зеваешь на перекрестке. Умирующие проявляют, как известно, необыкновенную энергию; ты в этом отношении именно такой умирающий. Нужно ли развить идею, прочесть сочинение, осуществить план, пережить маленькое приключение, даже купить шляпу — ты берешься за дело с необычайной энергией и работаешь день, два, месяц, — смотря по обстоятельствам, — с радостью ощущая в себе еще не тронутые запасы сил, работаешь без отдыха, без перерыва, сам «черт не угонится за тобой», а не то что люди. Проходит, однако, месяц, самое большое полгода, и ты бросаешь все, говоря: «Будет с меня». Если в работе участвовали другие, они могут продолжать теперь дело как знают, если же дело касалось тебя одного, оно так твоим и останется, ты не обмолвишься о нем никому ни словом. Ты воображаешь при этом и стараешься уверить других, что мог бы продолжать работу с тем же рвением, если бы только захотел, — вся суть, дескать, в том, что мне больше не хочется. Жестоко ошибаешься. Вся суть в терпении и выдержке, и притом совсем иного рода, нежели те, которыми располагаешь ты. Ты только обманываешь себя самого и оттого не становишься впредь ни опытнее, ни умнее. Зная вообще непостоянство и склонность к за-

блуждениям человеческого сердца, — в особенности если человек обладает такой диалектической изворотливостью, как ты (диалектика не только снабжает человека «индальгенциями», но даже прямо сглаживает и стирает все поступки), — я надеюсь услужить тебе следующим маленьким указанием.

В тех случаях, когда мне предстоит решиться на такой шаг, относительно которого у меня могут в будущем возникнуть различного рода недоумения или сожаления, я беру свою записную книжку и вношу туда краткое, но ясное объяснение данного шага, т. е. поясняю: чего именно я хотел, что сделал и почему. Случись мне впоследствии надобность в проверке или возобновлении в памяти мотивов и обстоятельств упомянутого шага, я вынимаю свое письменное свидетельство и вызываю себя на суд. Ты, пожалуй, найдешь это педантичным, утомительным, скажешь, пожалуй, что «игра не стоит свеч» и т. д. В ответ на это я скажу только: если ты не чувствуешь никакой потребности в подобной проверке, если сознание твое всегда безошибочно и память никогда не изменяет, то, конечно, — не стоит. Я, однако, не думаю, чтобы все это было так. Из всех душевных качеств тебе недостает как раз памяти, не той внешней памяти, которая сохранила в себе отпечатки различных явлений, идей, остроты, диалектические извороты и т. д., — этого не скажу, — но внутренней, сохраняющей впечатления душевной жизни. Будь у тебя эта последняя память, в твоей жизни не повторилось бы одно и то же явление: ты не представлял бы из себя так часто «деятеля на час», как я позволяю себе назвать тебя, несмотря на то что ты иногда работаешь и по полугоду, — ты ведь не доводишь до конца ни единого из своих трудов, тебе бы только пустить людям в глаза пыль своим приле-

жанием и обмануть себя и других. Будь ты всегда так силен, как в минуты страстнейшего увлечения, ты был бы — не стану отрицать — сильнейшей натурой, какую я когда-либо встречал, но ты и сам знаешь, что оно, к сожалению, не так, потому и стараешься отступать, точно прячась от себя самого, в убежище апатии. Да, на мой взгляд (тебе не всегда удастся обмануть его зоркость), ты бываешь просто смешон со своим получасовым усердием, в котором ты мнишь обрести право на насмешку над другими. Вот послушай-ка кстати историйку. — Двое англичан отправились раз в Аравию за лошадьми и взяли с собой туда несколько своих, чтобы испытать их качества в сравнении с арабскими. Таким испытанием должна была послужить скачка английских и арабских лошадей. Арабы были не прочь и предоставили англичанам назначить на испытание любую из арабских лошадей. Англичане, однако, не торопились, им нужно было 40 дней на тренировку своих лошадей. Арабы ждали: срок истек, англичане назначили приз, день и час скачки и вывели своих лошадей, арабы сели на своих, и один из них спросил, сколько времени будет продолжаться скачка. «Час», — ответили ему. «А я думал, три дня!» — лаконично удивился араб. Так вот и ты: если с тобой хотят скакать один час, о! тогда и «сам черт не угонится за тобой», а вот — три дня, ты и спасуешь. Эту историйку я уже рассказывал тебе однажды и помню, как ты ответил мне, что трехдневная скачка — дело рискованное: пожалуй, так раскочешься, что и не остановишься вовек, а потому ты и воздерживаешься от подобных экстравагантностей. Иногда, конечно, я не прочь проехаться верхом, но ни вступать в кавалерию, ни отдаться другой какой-нибудь постоянной деятельности не имею ни малейшего жела-

ния», — добавил ты. Таким образом, ты до известной степени всегда верен самому себе: ты боишься всего, что может внести в твою жизнь определенное, постоянное содержание. Почему? Потому что это лишило бы тебя возможности обманывать самого себя. Итак, сила твоя — сила отчаяния; она интенсивнее обыкновенной человеческой жизни, но зато и куда менее устойчива.

Ты постоянно как бы паришь над самим собой и всей действительностью, витаешь в высших сферах, но тончайший эфир, наполняющий эти сферы и уничтожающий твою земную тяжесть, есть, в сущности, хаос отчаяния. Внизу под собой ты различаешь множество отраслей знания, искусств, ученых исследований и положений, которые, хотя и не имеют для тебя никакого реального значения, но которыми ты все-таки не прочь иногда воспользоваться; перемешав и перетасовав их по своему произволу, но с большим вкусом, ты украшаешь ими роскошное палаццо, в котором по прихоти случая обитаешь духом. Нечего и удивляться, что жизнь для тебя не более как сказка и что тебе всякую речь хочется начать словами: «Жили да были царь с царицей, у которых не было детей», — чтобы затем забыть о предмете разговора, вдавшись в обсуждение того странного обстоятельства, что в сказке причиной горя является бездетность, тогда как в действительной жизни такой причиной бывает обыкновенное чадородие, — доказательство — воспитательные дома, приюты для подкидышей и т. д. Привязавшись к мысли, что «жизнь — сказка», ты можешь употребить целый месяц исключительно на чтение и изучение сказок; ты изучаешь их самым добросовестным образом, сравниваешь, отыскиваешь основную идею каждой и достигаешь известных результатов, но... для чего? Для того

чтобы иметь возможность потешить себя при случае великолепным фейерверком из всех этих изучений, метких сравнений и т. д., который ты пустишь пред изумленными слушателями.

Ты паришь над самым собою, видишь внизу множество настроений и положений и пользуешься ими, чтобы найти «интересные» точки соприкосновения с жизнью. Ты можешь быть чувствительным, бессердечным, остроумным, едким ироником — всем, чем захочешь; на это ты мастер, надо отдать тебе справедливость. Стоит тебе обратить на что-нибудь свое внимание, выйти из апатии, и ты уже действуешь со всей страстью, со всем искусством, несравненной гибкостью и остротой ума, словом — пускаешь в ход все пленительные душевные и умственные качества, которыми с излишеством одарила тебя природа. Ты даже не позволяешь себе — как сам претенциозно выражаешься — неучтиво явиться в общество без благоухающего букета свежих остроумий. Чем больше узнаешь тебя, тем больше готов удивляться той сообразительности и уму, которые ты успеваешь вложить в каждое дело за то короткое время, пока тебя вдохновляет страсть: последняя не ослепляет тебя, но, напротив, делает тебя как бы ясновидящим. В такие минуты забываешь свое отчаяние и вообще все, что тяготило душу и мысль, и всецело отдаешься впечатлению, произведенному на тебя каким-либо случайным соприкосновением с известным человеком. Напомню тебе маленький эпизод, произошедший у меня в доме и давший тебе случай подарить нас блестящей речью, за которую я, пожалуй, обязан благодарить присутствующих в нашем разговоре двух молодых девушек. Если помнишь, разговор наш принял серьезное направление и неприятный для тебя оборот: я высказался про-

тив чрезмерного почета, оказываемого в наше время умственным дарованиям, и напомнил, что на первом плане должно, напротив, стоять совсем иное — искренность человека и то, для чего нет другого наименования, кроме веры. Ты почувствовал, вероятно, что являешься, благодаря этому разговору, не совсем в выгодном свете, и понял, что попадешь в еще более невыгодное положение, если пойдешь далее по своему обычному пути, а потому и счел за лучшее удариться в «вышую галиматью» и чувствительный тон: «Мне ли не верить? Я верю, что там, в безмолвной чаще леса, где деревья глядятся в темное зеркало вод, где среди дня царит мгла, обитает таинственное существо, нимфа, лесная дева; верю, что ее красота превосходит всякое воображение; верю, что по утрам она вьет венки, в полдень купается в студеных волнах, а по вечерам задумчиво обрывает листья венка; верю, что я был бы единственным в мире счастливецом, имеющим неоспоримые права на это, если мне бы удалось поймать ее и овладеть ею; верю, что в душе моей живет страстная тоска и желание постигнуть мировую тайну; верю, что был бы счастлив, если бы мог удовлетворить это желание; верю, что в жизни есть смысл — только бы мне его найти! Не говори же после этого, что я не крепок в вере, не горю духом!» Ты, пожалуй, воображаешь, что такая речь могла бы послужить своего рода застольной речью на греческом *symposion*, — ты ведь вообще часто мечтаешь о днях прекрасной Греции, по-твоему, ничего не может быть прекраснее жизни греческих юношей, венчавших себя цветами и собиравшихся каждую ночь в тесный кружок, где они за чашей вина произносили хвалебные речи в честь любви или чего там еще придется. Ты тоже готов был бы посвятить всю свою жизнь произношению хвалеб-

ных речей! Мне твоя речь кажется, однако, набором слов, как бы искусно она ни была составлена и какое бы сильное впечатление ни производила, благодаря твоему лихорадочному красноречию; я вижу в ней лишь доказательство ненормальности твоего душевного состояния. Да, вполне естественно, что не верящий в то, во что верят другие люди, верит в загадочные существа, вроде нимф, или что тот, кто не боится ни сил земных, ни сил небесных, боится пауков. Ты улыбаешься, полагая, что я попал впросак, допустил, что ты веришь в то, во что на самом деле ты веришь меньше, чем всякий другой. Я знаю, что ты действительно не веришь ни во что, так как каждая твоя речь кончается воззванием к скептицизму. Весь твой ум и сообразительность не в состоянии, однако, помешать тебе в иные минуты (попробуй отрицать это) подогревать себя болезненным жаром неестественного возбуждения и, таким образом, — вопреки твоему намерению обмануть лишь других, — обманывать самого себя.

То, что я уже сказал о твоих занятиях наукой и искусствами, можно сказать и обо всей твоей жизненной деятельности: ты живешь минутой, являешься в данную минуту сверхъестественной величиной, отдаешься минуте в страстном напряжении энергии, всей душой и телом, всем своим существом. Тот, кто видит тебя лишь в подобные минуты, легко может впасть в заблуждение и преклониться перед тобой, тогда как тот, кто сумеет выждать время, напротив, может посмеяться над тобой. Ты помнишь, может быть, сказку Музеуса о трех оруженосцах Роланда? Один из них, как известно, получил от старой колдуньи шапку-невидимку, с помощью которой пробрался в покои прекрасной принцессы Ураки и объяснился ей в любви. Объяснение это произвело на принцес-

су сильное впечатление, — она ведь никого не видела и предполагала, что ее удостаивает своей любви по меньшей мере заколдованный принц. Тем не менее она потребовала, чтобы он явился ей в своем настоящем виде. Вот тут-то и был камень преткновения: стоило оруженосцу показаться, как очарование исчезло; если же он не показался бы, то не мог бы извлечь из своей любви никакой пользы. Сказки Музеуса у меня как раз под рукой, и я сделаю из них маленькую выписку, которую прошу тебя прочесть. «Он согласился, но, по-видимому, неохотно, и вот нетерпеливое воображение принцессы уже рисовало себе образ красавца, которого она сейчас увидит. Каков, однако, был контраст между идеалом и оригиналом! Она увидела перед собой обыкновенное лицо, одну из самых будничных физиономий, не говорящих ни об уме, ни о богатой чувствами душе». Ты умнее упомянутого оруженосца и понимаешь, что явиться перед людьми в своем настоящем виде после того, как произвел на них желаемое впечатление, — не расчет; явившись человеку в идеальном свете (надо признать за тобою умение являться идеальным в каком угодно отношении), ты затем осторожно удаляешься от него, забавляясь тем, что одурачил его, и радуясь тому, что ничто не мешает тебе начать в следующую минуту новую игру с новым человеком. Вся твоя жизнь состоит из множества отдельных, ничем не связанных между собой моментов.

Теоретически ты изведal все земное, покончил со всем, так как мысль твоя не знает никаких конечных пределов; изведal ты почти все земное, — по крайней мере все, относящееся к области эстетики, — и по опыту, и все-таки у тебя нет никакого определенного мировоззрения, а только нечто похожее на него, что и придает твоей жизни

известное спокойствие, которое, однако, нельзя смешивать с твердым и отрадным доверием к жизни. Твоя жизнь носит отпечаток спокойствия лишь сравнительно с жизнью тех людей, которые еще не устали гоняться за миражами наслаждения, *per mare pauperiem fugiens per saxa, per ignes**. Ты относишься к наслаждению с истинно аристократической гордостью, что совершенно в порядке вещей, так как ты покончил со всем конечным и преходящим на земле; покончил лишь в смысле изведаль: ты ведь не в силах отрешиться от всего этого окончательно. Ты кажешься удовлетворенным, но эта удовлетворенность лишь относительная; ты удовлетворен в сравнении с теми, кто еще добивается удовлетворения, то же, чем ты удовлетворяешься, есть, в сущности, полная неудовлетворенность. Все чудеса и диковинки мира потеряли для тебя интерес, мысль твоя смотрит на них свысока, и предложи тебе узреть их все воочию, ты бы, наверное, ответил по своему обыкновению: «Что ж, денек — куда ни шло — можно посвятить на это». Ты не гонишься и за богатством, и предложи тебе миллионы, ты ответил бы: «Пожалуй, побыть миллионером с месяц довольно интересно; попробовать можно». Предложи тебе, наконец, любовь прелестнейшей девушки, ты ответил бы: «Да, на полгода это было бы недурно». Я не хочу присоединять своего голоса к общему крику о твоей ненасытности и скажу скорее, что в некотором отношении ты прав: ничто конечное, преходящее, ни даже весь свет не в состоянии удовлетворить души человека, стремящегося к вечному. Если бы возможно было предложить тебе славу, почести, удивление современников — а это ведь твоя самая слабая

* Убегая от бедности через моря, через горы, через огонь.

струна — ты тоже ответил бы: «Да, ненадолго я не прочь». В сущности же ты не гонишься ни за чем и шагу бы не сделал ни ради того, ни ради другого, ни ради третьего. Ты понимаешь, что слава, почести, удивление современников — все это имело бы действительное значение для тебя лишь в том случае, если бы ты воистину был достоин их по своим исключительным дарованиям и, кроме того, если бы не провидел мыслью своей всей суетности и ничтожества даже самых высших земных благ, доставляемых человеку его дарованиями. Твое полемическое отношение к жизни находит свое высшее выражение в подсказываемом тебе твоим внутренним озлоблением желании быть безнадежнейшим глупцом в свете и все-таки стать для современников предметом поклонения наравне с первейшими мудрецами: это было бы самой алеической насмешкой над жизнью и людьми.

Итак, ты ни за чем не гонишься, ничего не желаешь; единственное, чего бы ты еще желал, это — иметь в руках волшебную палочку, да и ту употребил бы ты, пожалуй, на чистку своей трубки. Ты покончил с жизнью, и тебе «даже не нужно заботиться о духовном завещании». «Мне нечего завещать», — говоришь ты. Разрушив все основы, отняв у тебя все, мысль твоя, однако, ничего не дала тебе взамен, поэтому ты не можешь долго удержаться на крайней точке отрицательного отношения к жизни; минута — и ты увлечен какой-нибудь безделицей. Правда, ты смотришь на нее с высоты величия гордой мысли, она для тебя не более как пустая игрушка, готовая надоесть тебе чуть ли не раньше, чем ты успеешь взять ее в руки. И тем не менее эта безделица занимает тебя; разумеется, не сама по себе, — этого никогда не бывает, — тебя занимает, в сущности, лишь твое желание снизить до

нее. Благодаря этому в твоих отношениях к людям скрывается самая обидная неискренность, за которую, однако, даже нельзя упрекнуть тебя с этической точки зрения: ты ведь не подлежишь суду этики. Хорошо еще, что ты вообще мало принимаешь участия в жизни других, и поэтому твоя неискренность не так заметна. Ты частый и, как сам знаешь, желанный гость в моем доме, и тем не менее мне никогда не приходит в голову привлечь тебя к малейшему участию в нашей жизни. Я бы не желал даже пригласить тебя вместе с нами на загородную прогулку, не потому, что ты не можешь быть веселым и занимательным спутником, но потому, что твое участие всегда скрывает в себе фальшь. Если ты весел, можно быть уверенным, что веселье твое не общее с нами, что тебя радует вовсе не прогулка, что у тебя что-то свое на уме. Если ты невесел, это опять-таки не вследствие какой-либо неприятности, лишившей тебя хорошего настроения (это могло бы случиться и с каждым из нас), но вследствие того, что ты, еще садясь в экипаж, уже проникся сознанием ничтожества предстоящего удовольствия. Я, впрочем, охотно извиняю тебя: ты вообще находишься в сильном душевном волнении, напоминающем отчасти, как сам справедливо замечает, душевное состояние роженицы; нечего и говорить, что подобное положение вполне извиняет некоторые странности в поведении.

Дух не позволяет, однако, вечно шутить с собой; он восстает против тебя и налагает на тебя оковы меланхолии, а тут уже недалеко и до Нерона, мой юный друг, не будь у тебя врожденного великодушия, серьезности душевной, глубины мысли, и — будь ты императором Рима! Поэтому ты идешь другим путем. Сначала тебе кажется, что остается лишь одно — погрузиться на всю

жизнь в унылое равнодушие и печаль, так как ничто иное не в состоянии удовлетворить тебя. Подобное воззрение не в состоянии, однако, выдержать критики твоей здравой мысли. Какое удовлетворение может в самом деле дать такая эстетическая печаль, если она приводит к той же суетной жизни, как и всякое другое эстетическое воззрение, и если она, вследствие отсутствия более глубоких основательных причин, столь же преходяща, как и всякая радость, как и все земное, конечное? Многие находят утешение в мысли, что печаль преходяща, по-моему же, эта мысль столь же безутешна, как и мысль о том, что радость преходяща. Итак, мысль твоя отвергает мировоззрение, основанное на печали, отвергает печаль и дает место радости; но радость, которую ты заменяешь печалью, не более как подкидыш печали, это горький смех отчаяния. И вот ты снова возвращаешься к жизни, получившей для тебя под этим освещением новый интерес. Ты радуешься и забавляешься, обманывая людей своим смехом, как забавляешься вообще и разговаривая с детьми, принимающими твои иносказания в прямом смысле. Развив своим смехом, веселостью и ликованием всех окружающих, ты чувствуешь, что победил мир и внутренне восклицаешь: «Знали бы вы, над чем, в сущности, смеетесь».

Но дух, как уже сказано, не позволяет долго шутить с собой; мрак меланхолии сгущается вокруг тебя все более и более, и молнии бешеного остроумия оттеняют его в твоих глазах еще резче, еще ужаснее. Теперь уже ничто не развлекает тебя, все блага мира не имеют для тебя никакого значения, и ты, хотя и завидуешь простодушным радостям других, не гонишься более за ними сам. Земные наслаждения не искушают тебя более, и это — как бы во-

обще ни было печально твое положение — большое счастье для тебя: поддайся ты искушению, ты погиб бы окончательно. Благодарить же за это счастье следует, моему, не твою твердость, отталкивающую соблазны, но Высшую Благодать, сдерживающую твою мысль. То, что ты не поддаешься более соблазнам, служит, однако, серьезным указанием на предстоящий тебе путь: ты должен идти прямо вперед, а не вспять. Вперед ведет, впрочем, и еще один путь — окольный, но этот путь будет так же ложен и не менее ужасен, чем оставшийся позади. Надежду на то, что ты избежнешь его, я возлагаю опять-таки не на твою гордость, а на Высшую Благодать, непрестанно поддерживающую тебя; правда, ты действительно горд, правда, гордость лучше и выше суетного тщеславия, правда, в высказываемой тобой как требование мысли — «лучше смотреть на себя как на кредитора, которому не платят, нежели уничтожить долговые обязательства» — есть страшная сила, и все-таки гордость человеческая — чересчур хрупкий оплот!

Теперь, юный друг мой, ты сам видишь, что твоя жизнь в сущности — отчаяние; скрывай, если хочешь, это от других, от себя самого ты этого не скроешь. И тем не менее, с другой точки зрения, твоя жизнь еще не есть отчаяние. Ты слишком легкомыслен, чтобы отчаиваться серьезно, и в то же время слишком одержим меланхолией, чтобы избежать соприкосновения с отчаянием. Ты корчишься от душевной боли, как женщина в родовых муках, и все-таки продолжаешь оттягивать развязку и оставаться при одних муках. Если бы женщине на минуту родов могла прийти в голову мысль, что она родит урода, или если бы она вообще могла в это время заняться вопросом о том, что предстоит ей родить, ее положение до

известной степени напоминало бы твое. Ее попытка обновить процесс природы была бы, однако, напрасна, тогда как твоя вполне может увенчаться успехом: духовные роды человека зависят от созидающей попытки воли, а это во власти самого человека.

Что же страшит тебя? Тебе ведь предстоит родить не другого человека, а самого себя. Я хорошо знаю, впрочем, что тут есть от чего прийти в серьезное волнение, граничащее с душевным потрясением: минута, когда человек сознает свое вечное значение, — самый знаменательный момент в жизни. Человек чувствует себя как будто захваченным чем-то грозным и неумолимым, чувствует себя пленником навеки, чувствует всю серьезность, важность и бесповоротность совершающегося в нем процесса, результатов которого нельзя уже будет изменить или уничтожить во веки веков, несмотря ни на какие сожаления и усилия. В эту серьезную, знаменательную минуту человек заключает вечный союз с вечной силой, смотрит на себя самого как на объект, сохраняющий значение во веки веков, сознает себя тем, что он есть, т. е. в действительности сознает свое вечное и истинное значение как человека. Но можно ведь и не допустить себя пережить такую минуту! Да вот тут-то и есть «или — или», тут-то и предстоит человеку сделать выбор.

Позволь же мне поговорить с тобой так, как я никогда не решился бы заговорить в присутствии третьего лица, во-первых, потому, что не имею на это права, а во-вторых, потому, что поведу речь о будущем. Если ты вообще не желаешь думать о выборе, если желаешь вечно тешить свою душу погремущками остроумия и тщеславия ума — да будет так; бросай родину, путешествуй, отправляйся в Париж, отдайся журналистике, помогайся улыбок изне-

женных дам, охлаждай их разгоряченную кровь холодным блеском своего остроумия, пусть гордой задачей твоей жизни станет борьба со скукой праздной женщины и с мрачным раздумьем расслабленного сластолюбца, забудь свои детские годы, забудь былую детскую кротость и чистоту душевную, забудь безгрешность мысли, заглушай в груди всякий святой голос, прожигай жизнь среди блестящей светской суеты, забудь о своей бессмертной душе, выжми из нее все, что только можно; когда же сила изобретательности иссякнет — в Сене хватит воды, в магазинах пороху, да и компаньоны найдутся всегда и всюду. Если же не можешь и не хочешь — то собери все свои силы, гони прочь всякую мятежную мысль, дерзающую восстать против всего лучшего в твоём существе, презирай ничтожество, завидующее твоим умственным дарованиям и само желающее завладеть ими, чтобы злоупотреблять ими в сто крат хуже тебя, презирай лицемерное благоговение, несущее бремя жизни лишь поневоле и тем не менее требующее себе за это уважения, но не презирай самой жизни, уважай каждое искреннее стремление, всякую скромную, не желающую выставяться напоказ деятельность, прежде всего уважай женщину! Поверь мне, что спасение все-таки от женщины, как нравственная порча — от мужчины. Я — семьянин и потому, может быть, пристрастен, но я глубоко убежден, что если женщина и погубила человека однажды, то она с тех пор не перестает честно и ревностно искупать свою вину, так что из 100 заблудших мужчин 99 спасаются благодаря женщине, и лишь один — непосредственно Высшей Благодатью.

Словом, если согласишься со справедливостью признаваемого мною положения, что мужчине вообще свойственно заблуждаться, женщине же — оставаться в без-

мятежном покое чистой непосредственности, то легко согласись и с тем, что женщина вполне искупила содеянное ею когда-то зло.

Так что же тебе теперь делать? Иные, может быть, посоветовали бы тебе жениться, на том основании, что тогда у тебя появятся иные заботы и мысли; совершенно верно, но вопрос в том, насколько годен для тебя этот совет? Ведь как бы там ты ни думал о женщине, ты все-таки настолько рыцарь в душе, что не позволишь себе жениться ради одной только упомянутой причины, да и кроме того, если уж ты сам не в состоянии справиться с собой, то вряд ли ты найдешь кого другого, способного взять тебя в руки. Или, может быть, тебе посоветовали бы поступить на службу, сделаться дельцом, вообще трудиться, так как труд развлекает человека и заставляет его забывать о своей меланхолии. Может статься, тебе бы и удалось забыться в труде, но не исцелиться; минутами меланхолия прорвется тем сильнее, чем ужаснее, что застанет тебя врасплох, чего не было еще до сих пор. К тому же, каковы бы ни были твои понятия о жизни и деятельности человеческой вообще, себя самого ты все-таки ставишь слишком высоко, чтобы позволить себе приниматься за какое-нибудь дело только по вышеприведенной причине, — это поставило бы тебя в такое же фальшивое положение, как и женитьба. Так что же тебе делать? У меня лишь один ответ: предаться истинному отчаянию.

Я — семьянин, крепко привязанный к своей жене, детям, к жизни, красоту которой буду непрестанно восхвалять, следовательно, ты можешь быть уверенным, что такой совет дается тебе не экзальтированным и страстным юношей, желающим увлечь тебя в круговорот страстей, или злобным духом, насмехающимся над несчастным,

потерпевшим жизненное крушение. Я указываю тебе на отчаяние не как на средство утешения или состояние, в котором ты должен оставаться навсегда, но как на подготовительный душевный акт, требующий серьезного напряжения и сосредоточения всех сил души. Я глубоко убежден в необходимости этого акта, дающего человеку истинную победу над миром; ни один человек, не вкушивший горечи истинного отчаяния, не в состоянии схватить истинной сущности жизни, как бы прекрасна и радостна ни была его собственная. Предайся отчаянию, и ты не будешь обманывать окружающий тебя мир, не будешь более бесполезным обитателем мира, хотя и победишь его; я, например, надеюсь, имею право считать себя добрым и полезным семьянином, а между тем и я отчаиваюсь.

Смотря на твою жизнь с этой точки зрения, я скажу, что ты еще счастлив: крайне важно, чтобы человек в минуту отчаяния не ошибся во взгляде на жизнь, — это так же опасно для него, как для роженицы засмотреться на что-то уродливое. Тот, кто отчаивается из-за отдельной частности, рискует, что его отчаяние не будет истинным, глубоким отчаянием, а простой печалью, вызванной отдельным лишением. Тебе не приходится отчаиваться подобным образом — ты не терпишь никаких лишений, у тебя есть все, что нужно. Не будет истинным и отчаяние того, кто ошибся во взгляде на жизнь в минуту отчаяния, предположив, что несчастье человека не в нем самом, а в совокупности внешних условий: подобного рода отчаяние ведет к жизнененавистничеству, между тем как истинное отчаяние, помогая человеку познавать себя самого, напротив, заставляет его проникнуться любовью к человечеству и к жизни. Человеку, доведенному до отчаяния пороками, преступлениями и угрызениями совести,

тоже трудно познать истинное отчаяние, через которое постигается и истинная радость.

Итак, отчаивайся! Отчаивайся всей душой, всеми размышлениями! Чем долее ты будешь медлить, тем тягостнее будут условия, требование же останется прежним. Я настаиваю на этом требовании, как настаивала на своем требовании женщина, предложившая Тарквинию купить у нее собрание ценных книг: не получая от него согласия выдать ей требуемую ею сумму, она сожгла третью часть книг и продолжала требовать за остальные ту же цену; не получив ее и на этот раз, она сожгла еще треть и потребовала ту же сумму за одну оставшуюся треть, на что Тарквинию и пришлось согласиться.

Условия твоей жизни довольно благоприятны для истинного отчаяния, но бывают и еще более благоприятные. Представь себе такого же даровитого, как ты, молодого человека и представь, что он полюбил девушку, полюбил так искренне и глубоко, как самого себя. Представь затем, что на него нашла минута раздумья, и он спросил себя, что в сущности составляет основу его жизни и что — ее? Он знает, что связующим элементом является между ними любовь, но знает также, что в остальном между ними огромное различие. Девушка может быть красавицей, но он не признает существенного значения за красотой — красота так недолговечна, девушка может быть жизнерадостной, веселой, но и это не может иметь в его глазах существенного значения; сам же он обладает силой развитого ума и сознает все значение этого. Он хочет любить девушку истинной любовью, а потому и думает, что лучше не тревожить ее чистой непосредственностью, не стараться сделать ее соучастницей напряженной работы его ума, — к тому же ее кроткая душа и не требует

этого. В этом-то, однако, и заключается самое существенное различие между ними, которое — как он сам чувствует — должно быть уничтожено, если он хочет любить девушку истинной любовью. И вот он предается отчаянию. Отчаивается он не ради себя, но ради любимой девушки, т. е. в сущности опять-таки ради себя: он ведь любит девушку как самого себя. Мало-помалу отчаяние уничтожит в нем все лишнее, ненужное, суетное и приведет его к сознанию своего вечного значения, т. е. к тому, что он обретет себя как человек; обретя же себя, он обретет и любимую девушку. Что значит счастье рыцаря-победителя, возвратившегося из опаснейшего похода, в сравнении со счастьем, которое ожидает человека, вышедшего победителем из борьбы с плотью и ее тщеславными стремлениями? Это счастье, однако, доступно всем людям без различия. Молодому человеку, конечно, не придет в голову сгладить различия между собой и любимой девушкой путем немедленного отупения или приостановки развития собственного ума; он сохранит все преимущества своего ума, но присоединит к ним внутреннее сознание своего равенства как человека со всяким другим человеком, хотя бы и менее развитым умственно. Можно также взять в пример глубоко религиозного человека, впавшего в отчаяние по причине глубокой, полной сожаления любви к человечеству; отчаяние его будет продолжаться лишь до тех пор, пока он не постигнет абсолютного значения человека, уничтожающего все временные различия независимо от того, сплюснут его лоб или он может поспорить своей гордой выпуклостью с самим сводом небесным.

У тебя вообще часто являются счастливые и остроумные идеи, ты мастер изобретать словечки, сыпать забавными шутками, оставь все это при себе, мне ничего этого

не нужно, я прошу тебя только покрепче держаться за одну идею, убеждающую меня в сродстве наших умов. Ты не раз говорил, что меньше всего на свете желал бы быть поэтом, так как жизнь поэта равняется, в сущности, принесению себя в жертву. Со своей стороны, я не отрицаю, что действительно были поэты, которые обрели себя прежде чем начали творить или же обрели себя через творчество, но не стану отрицать и того, что поэт, если он только поэт, живет как бы в потемках; причиной тому то, что отчаяние его не доведено до конца, что душа его вечно трепещет в отчаянии, а дух тщетно стремится к просветлению. Поэтический идеал не есть поэтому истинный идеал, а лишь воображаемый. Если дух в своем стремлении к вечному и бесконечному просветлению встречает преграды, он останавливается на полдороге, любитесь небесными образами, отражающимися в облаках, и плачет над их недолговечностью. Жизнь поэта как только поэта оттого, следовательно, так и несчастлива, что она подымает его над обыкновенной земной жизнью и в то же время не в силах вознести его в вечное царство духа. Поэт видит идеалы, но для того чтобы наслаждаться их лицезрением, он должен бежать от мира: он не может носить в себе эти божественные образы среди жизненной суеты, не может спокойно следовать своим путем без того, чтобы не быть задетым окружающими его карикатурами; можно ли после этого и требовать от него воспроизведения истинных идеалов. Поэт бывает также предметом презренного сожаления со стороны людей, считающих, что все благополучие именно в их твердой оседлости в низменном, конечном мире плоти. Ты как-то выразился однажды под впечатлением минутного уныния, что немало найдется людей, считающих тебя человеком вполне покон-

ченным, которого можно, пожалуй, назвать «головой», но совершенно бесполезной для общества. Действительно, на свете много ничтожных людей, которые готовы отделаться таким приговором от всякого, кто хоть чуть выдается над низким уровнем их среды. Не обращай, однако, на них внимания, не вступай с ними в борьбу, даже не презирай их — «не стоит», твое любимое выражение здесь как раз у места. Раз, однако, ты не хочешь быть поэтом, для тебя нет другого выхода, кроме указанного уже мною — отчаяния.

Итак, выбирай отчаяние: отчаяние само по себе есть уже выбор, так как, не выбирая, можно лишь сомневаться, а не отчаиваться; отчаиваясь, уже выбираешь, и выбираешь самого себя, не в смысле временного, случайно индивидуума, каким ты являешься в своей природной непосредственности, но в своем вечном, неизменном значении человека.

Постараюсь хорошенько пояснить тебе это последнее положение. В новейшей философии более чем достаточно сказано о том, что всякое мышление начинается с сомнения, и тем не менее я напрасно искал у философов указаний на различие между сомнением и отчаянием. Попытаюсь же указать на это различие сам, в надежде помочь тебе этим вернее определить твое положение. Я далек от того, чтобы считать себя философом, я не мастер, подобно тебе, жонглировать философскими категориями или положениями, но истинное значение жизни должно ведь быть доступно пониманию и самого обыкновенного человека. По-моему, сомнение — отчаяние мысли; отчаяние — сомнение личности. Вот почему я так крепко держусь за высказанное мною требование выбора: это требование — мой лозунг, нерв моего мировоззрения, которое

я составил себе, хотя и не составил никакой философской системы, на что, впрочем, и не претендовал никогда. Сомнение есть внутреннее движение, происходящее в самой мысли, при котором личности остается только держаться по возможности безразлично или объективно. Положим теперь, что движение это будет доведено до конца, мысль дойдет до абсолюта и успокоится на нем, но это успокоение не будет уже обусловлено выбором, а необходимостью, обуславливавшей в свое время и само сомнение. Так вот в чем это великое значение сомнения, о котором столько кричали и которое так превозносили люди, едва понимавшие сами, о чем говорили. Раз, однако, сомнение надо понимать как необходимость, это уже показывает, что в данном движении участвует не вся личность. Потому и справедливо, если человек говорит: хотел бы верить, да не могу — я должен сомневаться. И поэтому же нередко можно встретить среди «сомневающих» людей с известными положительными воззрениями, независимыми от главного настроения их мысли. Такие люди являются вполне добросовестными и полезными членами общества, нисколько не сомневающимися в значении долга и обязанностей человеческих и не пренебрегающими никакими достойными сочувствия привязанностями и влечениями. С другой стороны, в наше время можно встретить людей, отчаивающихся в душе и все-таки побеждающих свои сомнения. Особенно поражают меня в этом отношении некоторые немецкие философы. Их мысль доведена до высшей степени объективного спокойствия, и все-таки они живут в отчаянии. Они только развлекают себя чистым объективным мышлением, являющимся едва ли не самым одуряющим из всех способов и средств, к которым человек прибегает для развлечения: абстрактное мышле-

ние требует ведь возможного обезличения человека. Сомнение и отчаяние принадлежат, таким образом, к совершенно различным сферам, приводят в движение совершенно различные душевные области. Я, однако, не удовлетворюсь еще подобным определением — оно ставит сомнение и отчаяние на соответствующие друг другу чаши весов, а этого не должно быть. Отчаяние выражает несравненно более глубокое и самостоятельное чувство, захватывающее в своем движении гораздо большую область, нежели сомнение; отчаяние охватывает всю человеческую личность, сомнение же только область мышления. Прославленная объективность сомнения именно и выражает его несовершенство. Сомнение дробится в переходящих различиях, отчаяние же абсолютно.

Для того чтобы сомневаться, нужен талант, не нужный для того, чтобы отчаиваться, — талант сам по себе выражает различие; всё же, имеющее значение лишь благодаря различию, не может никогда стать абсолютным, абсолютному соответствует лишь абсолютное. Отчаиваться может и молодая девушка, которая уж меньше всего представляет собою мыслителя, и никому в голову не придет назвать первого или вторую «скептиками». Причиной того, что человек, покончивший с сомнениями, успокоившийся в этом отношении, может все-таки отчаиваться, является то, что он *желает* предаться истинному глубокому отчаянию. Отчаяние вообще в воле самого человека, и, чтобы воистину отчаяться, нужно *воистину захотеть* этого. Раз, однако, воистину захочешь отчаяться, то воистину и выйдешь из отчаяния: решившийся на отчаяние решается, следовательно, на выбор, т. е. выбирает то, что дается отчаянием — познание себя самого как человека, иначе говоря, сознание своего веч-

ного значения. Воистину умиротворить человека, привести его к истинному спокойствию может лишь отчаяние, но необходимость не играет тут никакой роли, — *отчаяние есть вполне свободный душевный акт*, приводящий человека к познанию абсолютного. И в этом отношении нашему времени (если я вообще смею иметь о нем свое суждение — я знаю его лишь из газет, некоторых сочинений и разговоров с тобой) суждено, по-моему, сделать большой шаг вперед. Недалеко, может быть, и то время, когда люди дорогою ценою приобретут убеждение, что исходной точкой для достижения абсолюта является не сомнение, а отчаяние.

Возвращусь теперь к значению выбора. Выбирая абсолют, я выбираю отчаяние, выбирая отчаяние, я выбираю абсолют, потому что абсолют — это я сам. Я сам полагаю начало абсолюту, т. е. сам выражаю собою абсолют. Иначе говоря, выбирая абсолют, я выбираю себя; полагая начало абсолюту, я полагаю начало себе. Если я забуду, что второе выражение столь же абсолютно, как и первое, то мое положение о значении выбора будет неверным, так как верность его зависит именно от тождественности обоих выражений. Выбирая, я не полагаю начала выбираемому, оно уже должно быть положено раньше, иначе мне нечего будет и выбирать, и все-таки если бы я не положил начала тому, что выбрал, я не выбрал бы его в истинном смысле слова. Предмет выбора существует прежде чем я приступаю к выбору, иначе мне не на чем было бы остановить своего выбора, и в то же время этого предмета не существует, но он начинает существовать с момента выбора, иначе мой выбор был бы иллюзией.

Но что же я, собственно, выбираю? Я выбираю абсолют. Что же такое абсолют? Это я сам, в своем вечном зна-

чении человека; ничто другое и не может быть абсолютным предметом выбора: выбирая что-нибудь иное, конечное, я выбираю его лишь относительно чего-либо другого конечного, абсолют же является и абсолютным предметом выбора.

А что такое мое «сам» или мое «я»? Если речь идет о первом проявлении этого понятия, то первым выражением для него будет: это самое абстрактное и вместе с тем самое конкретное из всего — свобода. Чтобы пояснить вышесказанное, позволь мне поделиться здесь с тобой одним наблюдением. Часто можно слышать, как люди, недовольные жизнью, отводят душу, высказывая различные желания, некоторые из них (желаний) совершенно случайные и ничего не объясняющие, поэтому пропустим их и остановимся на следующих: «будь у меня ум такого-то человека», «талант такого-то» и т. п. или — чтобы взять самое крайнее желание — «будь у меня твердость характера такого-то». Подобные желания можно услышать на каждом шагу, но слышал ли ты когда-нибудь, чтобы человек серьезно пожелал стать другим человеком? Напротив, эти «неудачники» тем именно и отличаются, что крепко-накрепко держатся за самих себя, за свое «я» и, несмотря на все свои страдания, ни за что на свете не желали бы превратиться в других людей. Подобные люди, в сущности, довольно близки к истине — они точно чувствуют, что вечное значение личности познается не в благоденствии, а в страданиях: отсюда их бессознательное довольство своим положением, выражающееся тем, что они предпочитают оставаться самими собою, сохранить свое «я» при всех обстоятельствах. Высказывая различные желания, они полагают остаться по-прежнему самими собою, как бы ни было велико имеющее про-

изойти с ними, по их желанию, изменение; иначе говоря, они смотрят на свое «я» как на абсолют, не зависимый ни от каких изменений внутренних и внешних условий. Впоследствии я выясню заблуждение, в котором находятся такие люди, теперь же остановлюсь на абстрактном определении этого «я», делающего человека тем, что он есть. Как уже сказано, это свобода. Исходя из этой точки зрения, можно дойти до самого убедительного доказательства вечного значения личности; ведь и самоубийца — и тот, в сущности, не желает избавиться от своего «я» — он желает только найти новую форму для этого «я»; поэтому вполне возможно встретить среди самоубийц людей, как нельзя более верующих в бессмертие души и решающихся на самоубийство лишь вследствие того, что они думают этим шагом выйти из своего запутанного земного положения и найти абсолютную форму для своего духа. <...>

Перевод *Петера ГАНЗЕНА* (1846—1930)

ИЗ ДНЕВНИКОВ (1833—1855)

* * *

Я счастлив, только когда творю. Тогда я забываю все житейские страдания и неприятности, всецело ухожу в свои мысли. Стоит же мне сделать перерыв хоть на несколько дней, и я болен, угнетен душою, голова моя тяжелеет. Чем объяснить такое неудержимое влечение к работе мысли?..

* * *

«Толпа» — вот главный сюжет моей полемики. Тут я ученик Сократа. Я хочу отрезвить людей, хочу обратить их внимание на самих себя, на свою жизнь и предостеречь их от напрасной гибели. Бари-писатели считают вполне естественным, что бездна человеческих жизней пропадает даром; они пальцем не пошевелият, чтобы предотвратить такое зло, как будто бы все это множество людей для них не существует вовсе.

Не хочу подражать им. Хочу открыть толпе глаза, и если она не поймет меня добром, заставлю насильно. Надо, однако, понять меня. Я не хочу бить толпу (одиночка не может бить массу), нет, я хочу заставить ее бить меня. Вот в каком смысле только я пушчу в ход насилие. Раз толпа примется бить меня, внимание ее поневоле должно будет

пробудиться. Еще лучше, если она убьет меня, — тогда внимание ее сосредоточится всецело, а стало быть, и победа моя будет полной. В этом отношении я бедовый диалектик. И теперь уже многие говорят: что вам за дело до Киркегора. Вот мы ему зададим! Но ведь говорить, что им нет до меня дела, и в то же время стремиться задать мне — означает уже известную зависимость от меня.

Люди, собственно, еще не так испорчены, чтобы прямо, с намерением делать зло. Обыкновенно они бывают ослеплены и сами не ведают, что творят. Все же дело в том, чтобы так или иначе вызвать их на решительные действия. Ведь то же бывает и с детьми. Часто упрямясь в мелочах, но не доходя до открытого послушания отца, ребенок может постепенно и незаметно испортиться вконец. Если же отец вовремя примет меры, вызовет ребенка на крупное столкновение — ребенок на пути к спасению. Возмущение «толпы» потому и имеет такую силу, что ей уступают дорогу, и она бессознательно идет все дальше и дальше, сама не сознавая, что делает. Если же ей случится убить человека, она приостанавливается, обращает внимание на содеянное, и тогда ей недолго опомниться.

Реформатор, ведущий борьбу с сильным мира сего (папой, императором — словом, с отдельным человеком), должен добиваться падения этого сильного, но идущий против бессмысленной толпы должен добиваться собственного падения!

* * *

Какая страшная сатира, какая эпиграмма на наш житейский уклад: единственное применение уединения в наше время — это наказание тюремным заключением!

Какая огромная разница между стариной и современностью. Некогда (хотя житейское и тогда преобладало над духовным) все-таки верили в уединение монастыря и, следовательно, чтили его как нечто высшее, приближающее людей к вечному... Теперь уединение стало отвержением, преступников наказывают одиночным заключением. Какая разница.

* * *

Если задуматься о вечности, то, конечно, незачем особенно спешить здесь, на земле, но я все-таки буду работать изо всех сил, буду состязаться в прилежании с самым прилежным, буду дрожать над каждой минутой, как нищий над грошем. Всякая мелочь станет для меня важной и будет обработана самым тщательным образом...

* * *

Благодаря неоценимому дару Божию, человек, испытывающий сильные удары судьбы, уподобляется редкому инструменту. При каждом новом испытании лира его души не только не расстраивается, но, напротив, приобретает еще одну струну.

* * *

Все идет к тому, что скоро будут писать лишь для толпы, для невежественной толпы, и лишь те, кто умеет писать для толпы.

* * *

Говорят: «Глас народа — глас Божий». И тогда, когда евреи кричали: распни Его?

* * *

У меня недостает физических сил для лености, духовных же хватает как раз на работу.

* * *

Вся эта вздорная болтовня о «национальности» — шаг назад к язычеству. Христианское учение стремится именно искоренить языческое поклонение национальностям.

* * *

Нет слов, наслаждение имеет в себе много прелести в данную минуту, но для воспоминания нет ничего отраднее перенесенных страданий, то есть страданий за добро и истину. К тому же нам дано лишь семьдесят лет для наслаждения и целая вечность для воспоминаний. Наслаждению же совсем нет места в воспоминании.

«Единица»

«Единица» — та категория, через которую должны пройти в религиозном смысле наше время, история, род человеческий. Тот, кто стоял у Фермопильского ущелья, не занимал столь обеспеченной позиции, как я, стоящий у теснины «Единицы». Ведь задачей Леонида было помешать вражьи полчища прорваться через ущелье, ибо их прорыв означал его гибель. Моя задача — во всяком случае на первый взгляд — гораздо легче и менее подвергает меня опасности быть стоптанным. Ведь я поставил себе задачей в качестве скромного слуги, по мере сил, помочь людским полчищам пробраться через теснину Еди-

ницы, что, надо заметить, и не удастся никому, кто не стал Единицею. И все-таки... если бы мне предложили выбрать себе надпись на могиле, я бы не просил никакой другой, кроме — «Единица». Если эту категорию еще не поняли, то поймут со временем. В эпоху, когда у нас не сходило с языка слово «система» (вероятно, Киркегор имеет в виду философию Гегеля. — *Перев.*), я подошел к этой системе с точки зрения «единицы», и что же? Теперь о системе больше ни гугу. Если вообще за мной утвердится какое-нибудь историческое значение, то, безусловно, в связи с категорией единицы. Сочинения мои, может быть, забудутся, как сочинения многих других писателей, но если категория эта была верна, если я правильно судил, видя в ее утверждении свою (отнюдь не веселую или благодарную) задачу, если мне было дано провести ее, хотя бы ценой тяжелых испытаний и жертв, то я останусь жить, а вместе со мною и мои сочинения.

При той рассудочности, до которой дошло человечество в своем развитии, единственное спасение христианства — в категории Единицы. Без этой категории победа за пантеизмом. Несомненно, появятся люди, которые сумеют пользоваться этой категорией лучше меня, ведь им не придется трудиться над введением ее. Но категория единицы есть и останется чихотной травой, способной отрезвлять людей, есть и останется той тяжестью, которую приходится налагать на людей, причем лица, применяющие эту категорию, должны обладать особой диалектикой, сообразно с господствующей путаницей в понятиях.

Я берусь сделать христианином каждого, кого мне удастся заставить приобщиться к категории «единицы», или, во всяком случае, ручаюсь в том, что каждый, приобщаясь к этой категории, станет христианином. В каче-

стве «единицы» он один, один во всем мире, один — перед лицом Бога, а тогда за послушанием дело не встанет. Всякое сомнение опирается в конце концов на обман чувств, на воображение, что нас, дескать, много, за нами все человечество, которое как таковое может ведь и импонировать Богу (как народ импонирует королю и публика министру), и само стать божеством. Пантеизм — оптический обман, созданный туманами временного, мираж, вызванный отражениями преходящего, который претендует быть вечностью.

Но категория единицы не предмет преподавания, она — этическое средство, применение которого требует большого мастерства, связанного на практике с опасностью, а иногда даже грозящего жизни того, кто ее применяет. Ибо в глазах своенравного рода человеческого, этих полчищ сбитых с толку людей, наивысшее в божественном смысле всегда будет сочтено своего рода «оскорблением величества», поруганием «рода», «толпы», «публики» и т. д.

Категория единицы была применена впервые чисто диалектически Сократом для упразднения язычества. В христианстве она будет использована вторично, чтобы сделать людей (номинальных христиан) истинными христианами. Это не категория, пускаемая в ход нынешним миссионером, действующим среди так называемых христиан для пробуждения и развития в них искренности. Но когда появится подлинный миссионер, он приложит эту категорию. Если время наше ожидает героя, то ждет напрасно, скорее всего явится тот, кто в своей божественной слабости научит людей покорности — доведет их до безбожного возмущения, в припадке которого они убьют его, покорного Богу.

Художнику, поэту, ученому легко прожить всю жизнь предметом поклонения современников, потому что он — нечто особое между людьми, и произведения его не имеют прямого отношения к действительной жизни, вращаясь исключительно в области фантастики. Наоборот, этик, проповедник нравственных идеалов, должен быть гоним, иначе он плохой этик. Этик ведь стоит между людьми как общечеловеческое требование и, следовательно, не должен допускать, чтобы люди, вместо того чтобы стремиться исполнить требование этики, только преклонялись бы перед ним самим. В последнем случае они тотчас же превратят его в гения, то есть в нечто особое, ни к чему их, простых смертных, не обязывающее, а такое отношение с этической точки зрения самый ужасный обман, величайшая ложь; этическое учение есть и должно быть общечеловеческим, обязательным для всех и каждого. Долг этика — неустанно проводить идею, что всякий может и должен наравне с ним исполнять требование этики; но исполнение им этого своего долга сразу изменяет отношение к нему людей.

Святое Писание — проводник, Христос — путь.

Каждый раз, когда колесница всемирной истории готовится взять крутое препятствие, является и целая упряжка настоящих коренников — неженатых, одиноких людей, живущих исключительно ради идей. Иоганн фон Мюллер говорит, что миром правят две силы: идеи и женщины. Но когда доходит до настоящего дела, должны править одни идеи.

* * *

Под картиной, изображающей Руссо с молодой девушкой, подписано: «Первая любовь Руссо». Рядом другая картина с надписью: «Последняя любовь Руссо». Какая эпитафия! Вот если бы была одна картина: «Единственная любовь Руссо»!

* * *

Судьба короля Лира — казнь Немезиды. Его преступление — безумный вызов детям, себялюбивое желание анализировать детскую любовь. Любовь детей к родителям — неисчерпаемая Мистерия, основанная к тому же на законах природы. События могут дать ей повод обнаружить свою глубину, но непристойно, грешно захотеть как бы расследовать ее из любопытства, ради собственного удовольствия. Подобное выпрашивание можно еще извинить влюбленным (когда один из них допытывается у другого, как сильно он или она любит его или ее), да и тогда, в сущности, оно сводится к пустому заигрыванию.

* * *

«Вечное» таинственно-нераздельно с человеком во все возрасты жизни, но внимание смертного отвлечено временным, и он не видит того, что около него.

* * *

Окончить совсем Дон Кихота нельзя: его надо изображать постоянно на лету, в погоне за бесконечным рядом. Дон Кихот бесконечно совершенствуется в безумии.

* * *

Сначала человек грешит по слабости своей, берущей над ним верх. Затем человек впадает в грех и вновь грешит уже с отчаяния.

* * *

Любви мы должны научиться от Бога. Он возлюбил нас первый и таким образом стал первым нашим учителем, который учит нас любить, учит любить Его. Когда же для тебя послан одр смерти и ты лег, чтобы не вставать более, — вдруг воцаряется тишина, к тебе собрались только твои близкие. Мало-помалу эти близкие расходятся, тишина возрастает, так как около тебя остаются лишь самые близкие. Уходят понемногу и они, и тишина все увеличивается, — у твоего одра кто-нибудь один, самый близкий. Наконец, удаляется и он, но с тобой все-таки остается Нечто... Тот же, кто с тобою с самого начала, — Бог.

* * *

Я далек от того, чтобы обвинять именно наше время — мне во всякое время жилось бы плохо. Сократ правду сказал, что изгнание мало принесет ему пользы, так как ему пришлось бы плохо во всякой стране.

* * *

Учение Христа упразднило заповедь: «око за око, зуб за зуб» и ввело новую меру за меру: «как ты относишься к людям, так и Бог к тебе». Судить другого — судить себя самого. Примиряясь со своим врагом, ты приносишь свой дар на алтарь Господа. Итак, где совершается примирение, там и алтарь Господа. Самое же примирение — единственный дар, который можно принести Богу.

ИДЕАЛ ЖЕНЩИНЫ

О женщина, разве за тобою не сохранено это право — являться нам в образе читателя и слушателя того Слова, которое незабвенно? Благолепно последуй же увещанию апостола: «женщина молчит в собрании»; ибо это к лицу ей. Но и домой направится она не затем, чтобы проповедовать там; ибо не идет ей. Да будет она молчалива; молчанием своим она сохранит Слово; молчание ее выразит то, что она хранит глубоко-глубоко внутри. Веруешь ли ты в молчание? Я — верую. Когда Каин убивал Авеля, Авель — молчал. Но Авелева кровь вопиет небу; она вопиет (вовсе не: вопила или возносилась в крике), она всегда вопиет небу: чудовищное красноречие, которое не молкнет; о сила молчания! Разве молчание того царственного мужа, что был прозван Молчаливым*, не имело в себе некоего значения? Немало было тех, что громогласно разглагольствовали об освобождении страны и, вероятно, также и о том, как бы они это сделали, — лишь он один молчал. Что могло бы означать это его молчание? То, что он был муж и что он освободил свою страну; о мощь молчания!

* По-видимому, Киркегор имеет в виду принца Вильгельма Оранского (XVI в.), прозванного Молчаливым, который победоносно возглавил в Нидерландах освободительное движение против испанского владычества.

Не так же ли и с женщиной. Позволь мне рассказать тебе об одной такой женщине, слушательнице Слова, для которой оно незабвенно; не забудь только по окончании моего рассказа сама стать такой же слушательницей. Как уже сказано, она не говорит в собрании, она молчит; но и дома она не заговаривает о религии, она сохраняет молчание. Но не похоже при этом, чтобы она мысленно отсутствовала, погруженная в свои дали, нет — она сидит и слушает тебя; но как бы хорошо тебе ни сиделось, ты беседуешь все же словно бы с самим собой: ведь она молчит. Так что же означает это ее молчание? Она занята своим домашним хозяйством, живет всецело в дне настоящем, словно бы всей душой здесь, даже в самых незначительных мелочах; она жизнерадостна, подчас шутлива и весела, она вносит в дом веселое настроение почти даже более, нежели дети; но как бы тебе хорошо при этом ни сиделось, глядя на нее, ты все же разговариваешь сам с собой, ибо она — молчит. Но что же скрывается за этим ее молчанием? И даже если бы вдруг он, тот, кто ей ближе всех, с кем она соединена нерасторжимыми узами, кого она любит всей душой и у кого есть неоспоримое право на ее откровенность, если бы можно было представить себе, что он обратился к ней с прямым вопросом: «Что означает твое молчание, о чем ты думаешь, ведь есть что-то скрытое за всем этим, что-то, что ты постоянно имеешь в виду, что же это — скажи мне!» — она бы просто-напросто ничего не ответила; в лучшем случае она уклончиво сказала бы нечто вроде: «давай сходим в воскресенье в церковь вместе!» — и тотчас заговорила бы о чем-нибудь другом; или же сказала бы: «обещай мне в воскресенье прочесть проповедь для меня одной!» — после чего перевела бы разговор на другую тему. Что же скрывается за ее молчанием?

Что скрывается? Давай не будем больше выяснять этого; коли она не говорит об этом своему собственному мужу, то можем ли мы, посторонние, надеяться что-то об этом узнать. Нет же, давай не будем больше выяснять этого, но задумаемся над тем, что ведь это молчание — то именно и есть, в чем мы нуждаемся больше всего, если, конечно, слову Господа должно еще иметь толику власти над людьми.

Если бы, обозрев современное состояние мира, всей нашей жизни, мы вынуждены были бы по-христиански сказать (для чего, вероятно, у нас есть христианское право): «мы, наше общество — больны», и если бы я был врачом и кто-то бы спросил меня: «как ты думаешь, что же нужно делать?» — я бы ответил: «Первое, неременное условие для того, чтобы мочь что-то сделать, следовательно, самое первое, что нужно сделать, это — творить молчание, добиваться молчания, ибо уже невозможно стало услышать Божие слово»; но если приходится с помощью усилителей буйно выкрикивать его, дабы оно было услышано людьми в этом спектакле, то ведь это уже не Божье слово; потому — твори молчание! О, все может шум; и так же, как о горячительных напитках говорят, что они возбуждают кровь, так же в наше время каждое мероприятие, даже самое незначительное, каждое сообщение, даже совершенно пустопорожнее, рассчитаны исключительно на то, чтобы суметь взбудоражить органы чувств или же произвести шум в массах, в толпе, в публике. И человек, эта весьма изобретательная голова, как будто утратил сон, стремясь открыть все новые и новые средства для увеличения шума, для распространения гремящего и пустопорожного с возможно большей суетливостью и в возможно больших масштабах. Да, эта смена

ориентиров скоро достигнет своей цели: сообщение скоро опустится до самой низкой точки относительно осмысленности, а средства сообщения в то же самое время достигнут почти вершины относительно их торопливого, все захлестывающего и всепотопляющего разлива; ибо ничто не устремляется на свет с такой поспешностью, а с другой стороны — ничто не приобрело такого распространения, как — болтовня!

А потому — твори молчание!

Но именно это и может женщина. Требуется совершенно исключительное превосходство, чтобы мужчина своим присутствием принудил других мужчин к молчанию, в то же время у всякой женщины, внутри границ, ей положенных, в своем кругу, есть такая возможность, — конечно, в том случае, если она не себялюбиво, но в смиренном служении высшему хочет этого.

Воистину, природа не обделила женщину, но и христианство, воистину, тоже не обделило ее. Да, это так человечно, но это еще и женственно: внутри очерченных тебе границ приличествующим образом иметь собственное значение; но и более того — хотеть обладать влиянием. Ведь женщина может самыми разными способами осуществить свою власть, она может это делать своей красотой, своим очарованием, своими талантами, отважной силой своего воображения, своим счастливым сознанием, но она может также пытаться осуществить свою власть и шумными способами. Последнее — некрасиво и неистинно, первое же — всегда хрупко и ненадежно. И все же ты могла бы иметь власть, о женщина, позволь мне откровенно сказать, каким именно способом. Учись молчанию и обучай молчанию! О, ведь ты это можешь! Даже если тебе выпадает на долю бедность, ты умеешь обустроить

свой дом, свой домашний очаг так, что он становится приветлив и радушен, при всей скромности во всем сквозит очарование; если тебе на долю выпадает более богатая жизнь, ты умеешь обустроить свой дом, свой домашний очаг одновременно и со вкусом, и с задушевностью, и в то же время не без очарования; если же изобилие выпадает тебе на долю, ты умеешь с инстинктивным тактом чуть ли не укрыть богатства, тем самым создавая вокруг своего дома, вокруг своего очага обаятельный ореол, в котором сливаются воедино богатство и скромность. Да, мой взгляд не равнодушен ко всему этому, но вероятно, во мне слишком много от поэта, так что пусть лучше кто-нибудь другой продолжит эти восхваления. И все же супротив этого есть одно-единое, и забудь ты привнести его в свой дом, вживить в свой домашний быт — и у тебя не будет наиважнейшего. Что же это? Молчание! Молчание! Молчание — не есть нечто отдельное, четко определимое, ибо заключается оно не в том же, что просто не разговаривают.

О нет, молчание подобно нежному свечению в комнате, полной уюта и интимности, подобно задушевности в бедном жилище: о нем не говорят, оно просто есть и творит свое благотворнейшее действие. Молчание подобно настроению, тому глубинному, основополагающему настроению, которое не зависит от дневной сутолоки, ведь потому-то оно и зовется основополагающим, глубинным настроением, что покоится в глубинах, на самом дне.

Однако это молчание невозможно обрести тем же способом, каким, например, ты посылаешь за человеком, который повесит в твоей комнате гардины; нет, в том, что касается молчания, все зависит от способа твоего пребывания, от того, какова ты есть в своем доме, в своем до-

машнем быте. И если ты своим присутствием год за годом приносишь в свой дом молчание, то в конце концов оно будет здесь и тогда, когда ты будешь отсутствовать, оно будет твоим свидетелем, а когда-нибудь, увы, и воспоминанием о тебе.

Есть один эпитет, который обозначает решающее свойство женщины; как бы ни были велики различия между женщинами по самым разнообразным параметрам, это свойство мы хотели бы видеть в каждой из них; никакой материальный избыток не покрывает его, никакая бедность не извинит его отсутствия; с этим свойством обстоит так же, как с тем знаком власти, которым обладает начальство: при всем различии между ними — один стоит на вершине общественной лестницы, другой — в самом низу ее, будучи человеком весьма подчиненным, — все же есть нечто для них общее: знак обладания властью. Итак, это свойство — домовитость, самое отличительное достоинство женщины, равно как наиболее отличительным достоинством мужчины следует считать личностное начало; бесчисленные женщины со всеми их многообразными и многообразно различными особенностями должны все же обладать именно этим единством в той же мере, в какой все они едины в звании женщины, и это единство зовется — домовитость. Возьмем самую обыкновенную мещанку; в случае, если, не кривя душой, о ней можно сказать, что она домовита, — я всегда воздам ей честь и склонюсь перед ней в столь же глубоком поклоне, как перед королевой. А с другой стороны, королева, не обладающая домовитостью, для меня не более чем обыкновенная мадам. Возьмем молодую девушку, о которой говорят, что было бы неправдой назвать ее красавицей, — если она домовита, в том смысле, в каком это может касаться моло-

денькой девушки, — честь ей и хвала! А с другой стороны, возьмем ослепительную красавицу. Так вот, что касается меня — дайте ей сверх того все таланты, а в придачу пусть она будет еще и знаменитостью, но если она домовитостью не обладает и если у нее нет глубокого уважения к домовитости — со всеми своими талантами, красотой и известностью она останется обыкновенной бабой. Домовитость! Этим мы оказываем женщине великое признание, мы признаем, что она создает дом; и даже достоинство той девушки, которая никогда не вступит в брак, мы бы определили всецело соразмерно подлинному мерилу женственности — домовитости. И молчание, приносимое в дом, есть не что иное, как домовитость, присущая самой вечности.

Между тем, о женщина, поскольку ты призвана к тому, чтобы приносить с собой молчание, а сверх того и обучать ему, — то и сама ты должна стать ученицей. Тебе необходимо обратить внимание на то, чтобы обеспечить себе досуг и объединить каждый свой день светом набожности. Тебе необходимо высвободить себе досуг; а у тебя еще столько неотложных дел, ведь ты — мы еще раз напомним об этом — так домовита; но ежели со временем обращаться по-хозяйски, его хватит на все. Обрати же внимание на это. У мужчины много работы, у него много дел с теми, кто создает шумы, даже чересчур много, — и если ты не обратишь свое внимание на то, что все есть гармония, что вот оно — молчание, — то молчание никогда не войдет в твой дом.

Обращай же на это свое внимание! Ведь в наше время подрастающая девушка учится в пансионе столь многому — и немецкому языку, и французскому, и рисованию, да и дома она, конечно, обучается кое-чему полез-

ному; вопрос лишь в том, учится ли она в наше время наиважнейшему, тому, чему она сама должна будет обучать (ибо лишь весьма немногим позднее придется учить других немецкому языку или французскому), — весь вопрос в том, учится ли она молчанию. Я не знаю этого; но ты помни об этом, ибо это и есть твоя задача — принести с собой молчание. Вспоминай о том, что сказал апостол, и тогда сумеешь увидеть себя в зеркале Слова. Ибо женщина, проводящая много времени перед зеркалом, становится тщеславной, а посредством тщеславия — болтливой. Но женщина, рассматривающая себя в зеркале времени, становится крикливой и шумной. И только женщина, созерцающая себя в зеркале Слова, становится молчаливой! И то, что она такой становится, является самым веским доказательством, что она отнюдь не забывчивый читатель или слушатель. Если тот, кто увидел себя в зеркале Слова, становится красноречивым, — это знак того, что он, быть может, памятлив, однако лишь тот, кто при этом становится молчаливым, — вполне надежен. Ты же знаешь: в том, кто влюбляется, — просыпается красноречие; однако насколько надежнее укрыть свою любовь в молчании.

Перевод Н. БОЛДЫРЕВА

ХРИСТОС ЕСТЬ ПУТЬ

Христос есть путь. Это его собственные слова, и уже потому они не могут не быть правдой.

И путь этот — узок. Это его собственные слова, и уже потому они не могут не быть правдой. Но даже если бы он этого и не говорил, все же это было бы правдой. Ведь перед нами пример проповеди в высшем смысле этого слова. Ибо даже если бы Христос ни разу не сказал: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь», стоит только взглянуть на него самого, как станет ясно: узок этот путь. Ведь если его жизнь каждым своим днем, каждым часом, каждым мгновеньем выражает именно то, что путь узок, — тогда, согласись, весть эта настоятельна и убедительна совсем на иной манер, нежели если бы сама его жизнь этого не выражала, но он возвестил бы несколько раз: узок путь! Здесь кроме того легко увидеть, сколь бесконечно далек от истинного исповедания христианства тот, чья жизнь в каждый ее день, в каждый час на дню и в каждое мгновенье являет собой явное противоречие его собственной проповеди, когда он, скажем, в продолжение получаса объясняет, что значит жить по-христиански. Подобная проповедь превращает христианство в нечто прямо себе противоположное. В том странном гимне («Славим Тебя, Господи!»), где перечисляются провозвестия, эта их разновидность даже не названа; она — изоб-

ретение более поздних времен, когда «христианство победило окончательно». В гимне говорится: «Тебя (т. е. Бога) возвещали все пророки»; они были первыми по времени. После этого — «Тебя возвестили вестники числом двенадцать». Пророки и апостолы — это нечто чрезвычайное. Но следом идут уже массы, толпы людей, следовательно здесь-то и мы с тобой (ты и я, мой читатель) появляемся тоже; послушай-ка: «Сонмы мучеников славили Тебя в час своей смерти». Но все это уже минуло: истинное исповедание учения в том, что путь — узок.

Разве не высмеивает сам себя проповедник в том случае, если путь, коим он идет, — легкий, а в проповедях своих он между тем говорит (вполне вероятно, что с чувством, убежденностью или даже растроганностью, не без слезы — отчего бы и нет?) о том, что путь — узок? Да, узок, вот только не тот, которым идет он сам. Нет, сама жизнь истинного проповедника есть выражение учения о том, что путь узок; и это путь, которым проповедник идет сам лично, сообщая людям о том, что «путь» — узок. В этом случае нет ли двух путей, один из которых легкий и торен и по нему идет проповедник, возглашая, что узок «путь», имея при этом в виду истинный путь, которым он сам не идет, в то же время проповеди его приглашают людей следовать за Христом на узком пути, хотя жизнь самого проповедующего (и это, согласись, аргумент куда более убедительный) приглашает их последовать за ним на его легком, широком проторенном пути. И это называется христианством?! Нет, чтобы стать христианскими, жизнь и проповедь должны слиться воедино, должны выражать одно целое, а именно то, что «путь» — узок.

И путь этот, который есть Христос, этот узкий путь — узок уже в истоках своих.

Христос рождается в нужде и бедности, и едва ли не возникает мысль, человек ли, рожденный так, — ведь он рожден в хлеву, завернут в тряпье и положен в ясли, и однако, будучи еще младенцем, уже преследуем властями (что само по себе уже достаточно удивительно), так что его живущие в бедности родители вынуждены вместе с ним спастись бегством. Это и в самом деле чрезвычайно узкий путь; ведь ежели кто рождается в знатности, например наследником трона, тогда сюжет преследования власть предержащими вполне уместен, но тот, кто рожден в хлеву и завернут в тряпье — конечно, он весьма угнетен этой нищетой и убогостью, но зато уж, как это в жизни бывает, застрахован от преследований властями.

И как при рождении своем он не был причислен к знати, так это продолжалось и потом, почти так же, как это было вначале: он живет в нищете и убогости и не имеет, где преклонить главу.

Одного этого было бы вполне достаточно, чтобы, пользуясь земным языком, сказать об этом пути, что он был узок. Но это еще самое легкое на этом узком пути.

Путь этот узок совершенно особым образом и притом с самого начала. Ибо жизнь Христа с самого ее начала является собой историю искушения; не просто один из моментов его жизни, сорок дней, есть история его искушения, нет, вся его жизнь является собой историю искушения (равно как и историю страдания). Он искушаем в каждое из мгновений своей жизни, ибо в его власти всегдашняя возможность признать тщетными свое призвание и свою задачу. В пустыне искушитель — сатана; но берут на себя роль искушителя и другие: то это народ, то ученики. Именно они-то более всех, особенно вначале, мечтая стать сильными, пытались соблазнить его на то, чтобы он

увидел свое призвание, свою задачу в мирском и тем самым стал бы так или иначе великим в миру, царем или кем-то иным облеченным властью; это было единственное желание возлюбленных его учеников, так что он вполне мог хотя бы чуточку уступить им вместо того, чтобы, выражаясь земным языком, стремиться сделать их настолько несчастными, насколько это вообще возможно. Вот и выходит, что, в то время как другие люди с первых своих шагов напрягают все свои силы, чтобы стать кем-то, кто облечен властью, он с неизмеримо большим напряжением с первых же своих шагов вынужден искать защиты ото всего, что могло бы сделать его правителем или кем-то, облеченным властью. И это не узкий путь?

Всякий путь уже достаточно узок, если страдание неотвратимо, если нет никакого выхода; но насколько же он более узок, если в каждом из мгновений этого страдания (само мгновение становится здесь страданием!) таится ужасающая, навязчиво липнущая к нему возможность легко добыть для себя много большего, нежели облегчения — полной победы и с ней всего, чего только земной ум ни вообразит! И ведь этим узким путем (пусть и в ином, меньшем, масштабе) должны были пройти многие истинные его последователи.

Есть у большинства людей этакий пунктик: стремиться к тому, чтобы тебя считали чем-то значительным; и самое популярное мошенничество в том и заключается, чтобы выдавать себя за что-то большее, нежели чем фактически ты являешься. Религиозное страдание начинается с совсем иного. Благодаря своей связи с Богом п р и з в а н н ы й ощущает в себе такую силу, что у него не возникает искушающей потребности казаться чем-то большим. И все же в такое мгновение его пронзает стреми-

тельный страх, ибо он понимает: эта разновидность дара есть обычно не что иное, как верная гибель. Здесь к нему является искушение говорить о себе как о чем-то меньшем, чем он ощущает себя на самом деле. И ведь в том, чем он является на самом деле, у него не было бы ни единого свидетеля, кроме Бога. И если человек так поступит, его ждут блаженство, восторг и величие, ибо в этом случае он, так сказать, побеждает. Следовательно, он вынужден защищаться именно от того, что в нем самом есть победительного... И это не узкий путь?

Узок этот путь уже в своих истоках, ибо Он уже в самом начале знает свое будущее, свою судьбу. Уже в самом начале это чудовищное бремя страдания! Много, очень много было тех, кто радостно, почти ликуя, выходил на борьбу с миром; они надеялись, что станут победителями. Однако ничуть не бывало, дело принимало иной оборот; но даже когда все шло к неизбежному краху, в них все же почти наверняка теплилась чисто человеческая надежда на то, что все еще может обернуться победой, а в ком-то жила богобоязненная надежда, что все обернется победой постольку, поскольку для Бога невозможного нет. Христу же его судьба была известна заранее, он знал о неизбежности ее, поскольку хотел этого сам, поскольку входил в свою судьбу совершенно свободно.

Страшное знание, дарованное в самом начале! Когда на заре его жизни народ встречает его ликованием, в самое мгновение это ему уже ясно: это тот самый народ, который будет кричать: «Распни его!» «Но зачем же тогда Он не отступился от этого народа?» Но разве не дерзость — говорить такое о спасителе рода человеческого?

Вот он вторично свершает на этом народе подвиг любви (впрочем, вся его жизнь была не чем иным, как подви-

гом любви), но при этом он понимает, что это дело любви приведет его на крест; вот если бы он возлюбил себя и оставил дело любви, тогда, по всей вероятности, его распятие оказалось бы под вопросом. «Но тогда лучше бы Он оставил это дело!» Но разве не дерзость — осмеливаться говорить такое о спасителе рода человеческого?

Узок этот путь! И ведь этим узким путем (пусть и в ином, меньшем, масштабе) должны были пройти многие истинные его последователи.

Человеческое сердце не может не радоваться, когда человек видит, какие силы подвластны ему. Ибо в начале пути есть одно мгновение, когда призванный, словно бы пробуя свои силы, радостно и благодарно, как дитя, измеряет то, что дозволяется ему в жизни свершить. И подобно ребенку он, вероятно, желает большего, хотя и со смирением; и это ему разрешается. А после — еще большего, и вновь это ему дозволяется. И вот в какой-то момент он уже почти подавлен, он говорит: «Хватит, больше не прилагаю ни на что». Но словно бы некий голос является к нему и говорит: «Мой друг, это лишь малая толика того, что тебе дозволяется свершить». И тогда призванный бледнеет, опускаясь без сил, и говорит: «Боже мой, я понял: участь моя решена — моя жизнь посвящается и жертвуется страданию. Мне нужно немедленно осмыслить все это!» И это не узкий путь?

Путь узок, с самого начала узок, ибо с самого начала Ему известно, что вся его энергия, все его усилия направлены против него же самого. Узок уже и тот путь, на котором тебе дозволяется тратить все твои силы, чтобы прорваться сквозь то, что извне не дает тебе исхода; но когда ты отдаешь все силы на то, чтобы противостоять самому себе, тогда сказать «узок путь» будет бесконечно недоста-

точным, скорее уж этот путь попросту непроходим, перекрыт, невозможен, безумен! И все же путь, реальность которого именно в том, что путь есть Христос, узок именно таким вот образом. Истина и добро, которых он жаждет и от которых не отступает, ради которых трудится с полной самоотдачей, неизбежно и неуклонно втягивают его в верную погибель. С другой же стороны, если он всю свою правду поставит на карту слишком стремительно — гибель его явится преждевременно; выходит, он должен, противодействуя самому себе, на какое-то время словно бы поддаться самообману чувств с тем, чтобы вернее и неизбежнее обеспечить свою гибель. Узок путь! Идти им — все равно что умереть в самом начале. Словно бы репетируя всемогущество, всесильно пробовать свои силы, быть человеком и в той мере, в какой это надлежит, претерпеть все человеческие страдания, но потом быть вынужденным все силы этого всемогущества направить на то, чтобы превозмочь самого себя, и притом знать обо всем этом с самого начала — разве это от самых истоков своих не узкий путь?!

Путь, который есть Христос, этот узкий путь в своем течении становится все уже и уже до самого финала, до смертного исхода.

Он становится все уже, а значит не становится малопомалу легче. К пути, который постепенно становится легче, уж никак не отнести этих слов: Христос есть путь. Тем путем, что становится легче, идут человеческий ум и благоразумие. Если, скажем, у кого-то побольше ума и смысленности, чем у других, он может, пользуясь этим, отважиться кое на что и продержаться какое-то время. Но это всегда означает вот что: сметливость и ум умеют рассчитать, что избранный путь, ежели какое-то время

потерпеть страдания и лишения, непременно станет легче и принесет победу еще при жизни. Прямо противоположен путь, что становится все уже и уже до самого конца, таким путем ум и сметливость не ходят никогда, ну как же — «ведь это же было бы сущим безумием!»

И все же, назовите это безумием или умом, дело обстоит только так: узкий путь становится все уже и уже.

«Я пришел, чтобы зажечь на земле огонь, но ничего мне бы так не хотелось, как того, чтобы он уже горел». Ведь это же стон: как узок путь. Стон. Но что в нем? Не означает ли он, что там, глубоко внутри, нечто заперто, нечто, что жаждет, но не может или не смеет выйти наружу, нечто желающее глотнуть воздуха. Так вздыхает-стонет человек и в момент вдоха душу свою отводит (чтобы не умереть), ибо в этот самый момент он, чтобы не умереть, творит себе воздух. «Я пришел, чтобы зажечь на земле огонь, но ничего мне бы так не хотелось, как того, чтобы он уже горел». Как мне описать эти страдания? Позволю себе попытаться это сделать, однако с самого начала опротестую эту свою попытку и скажу: увы, лишь ничемная самонадеянность может вознамериться описать страдание. И все же представь себе корабль, но только неизмеримо громаднее, чем те, что ты когда-либо видел, представь, что он вмещает, например, сто тысяч человек. Идет война, корабль участвует в сражении, и вот в соответствии с планом военной операции он должен быть взорван. Представь себе исполнителя такого приказа — того, кто лично должен поднести огонь! И это ведь еще бледный и ничего не говорящий образ. Ибо что такое эти сто тысяч в сравнении с родом человеческим и что такое всем разом взлететь на воздух в сравнении с ужасом огня, который должен зажечь Христос, того огня, кото-

рый, последуй за ним взрыв, разделит отца с сыном, сына с отцом, мать с дочерью, дочь с матерью, столкнет мать мужа с женой сына, а жену сына с матерью мужа... И ведь опасность при этом не смерть, но утрата вечного блаженства! «Я пришел, чтобы зажечь на земле огонь, но ничего мне бы так не хотелось, как того, чтоб он уже горел». И покуда мгновение это еще не наступило, ужасное мгновенье (впрочем, и мгновение перед тем не менее ужасно), можно услышать стон: о, если бы это уже свершилось!

«О, род неверный, доколе мне еще быть с вами? Доколе мне еще терпеть вас?» Это стон. Так бывает, когда больной (но не на больничной, а на смертной постели: болезнь его не только не легка, но смертельна) слегка приподнимается, отрывая голову от подушки, и спрашивает: «Который час?» Смерть неизбежна, и смысл вопроса, собственно: как скоро, в котором часу? И покуда мгновение это еще не наступило, ужасное мгновенье (впрочем, и мгновение перед тем не менее ужасно), страждущий стонет: ну когда же это наконец кончится?!

Вот так и Он в последний раз собрался с учениками на трапезу, ибо была у него в ней сердечная потребность, потребность вкусить вместе с ними, прежде чем умереть. Как всегда он беззащитен. Да, беззащитен, хотя в одном отношении он мог бы себя заштитить. Он мог бы — и это было бы то милосердие, которым мы, люди, стали бы бесконечно восхищаться, — сказать Иуде: не надо, не приходи на эту трапезу, твой взор мучителен для меня. Или же он мог бы попросить одного из учеников (не разглашая, разумеется, своего знания об Иуде) передать Иуде, чтобы тот не приходил. Так нет же! Они собрались все. И тогда он сказал Иуде: «Что делаешь — делай скорее!» Это стон.

Ну скорее же! Даже напугаснейшее менее ужасно, чем это «ну скорее же». Стон этот глубоко и медленно перекрывает дыхание: ну скорее же! Так бывает, когда кому-то надо выполнить чудовищную задачу, напряжение его близко к предельному, он чувствует, что силы вот-вот оставят его, «еще немного, и я настолько ослабею, что уже не буду самим собой», и потому-то: ну скорее же! Что делаешь — делай быстрее!

Потом он встает из-за стола и выходит в Гефсиманский сад, там он опускается на землю: о, скорее бы это свершилось! Он опускается обессиленный, близкий к смерти; впрочем, на кресте он был более умирающим, чем в Гефсимане. Страдания на кресте были агонией: о, эта его молитвенная агония длилась всю его жизнь. Не была она и бескровной: пот Его падал на землю подобно кровавым каплям.

После чего он поднимается, укрепленный: да свершится воля Твоя, Отец небесный!

После чего целует Иуду — ты ведь, читатель, об этом слышан, — потом его хватают, допрашивают, приговаривают. Что же, судебный процесс был совершен по всем правилам, восторжествовала так называемая человеческая справедливость! И сделал это народ, которому Он был благодетелем; разве он захотел хоть чего-нибудь для себя, каждый день его жизни, каждая его мысль были отданы этому народу в жертву. И все же этот народ вопит: «Распни его, распни!» И был там один наместник, боявшийся императора, человек образованный, вследствие чего не упустивший весьма для себя нужного — «умыть руки»; через это Христос и был приговорен! О, человеческая справедливость! Что ж, при хорошей погоде, когда все идет нормальным чередом, вполне бывает достаточно

этой толики справедливости, но каждый раз, когда в мир приходит чрезвычайное... О, человеческая справедливость! А ты — человеческая образованность? Какая, в сущности, разница между тобою и тем, к чему ты питаешь наибольшее презрение, — необразованностью, неотесанностью толпы? Ведь ты поступаешь точно как она, вот только обращаешь внимание на форму: ты, видите ли, не сделаешь этого с невымытыми руками! О, человеческая образованность!

А потом Его прибивают гвоздями к кресту, и тогда еще один стон, и вот уже все кончено. Еще один-единственный стон, глубочайший, на пределе испуга: Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня? Это унижение — наипоследнейшее в страдании. У Его в истинном смысле последователей, у тех, кто свидетельствовал кровью, мы найдем слабые приметы подобного. Но они полагались на помощь и содействие Бога; покинутые всеми, они становились (вот оно, подлинное чудо!) сильными, чувствуя себя укрепленными Божьей поддержкой. Ибо в конце концов наступает мгновение, когда громогласным становится этот стон: «Бог покинул меня». «Значит, вы правы, мои враги, вот миг вашего торжества, все, о чем я говорил, оказалось неправдой, все было лишь фантазией, и сейчас стало ясно: Бога нет со мной, он оставил меня!» О, Боже мой!

Но ведь это Он, сказавший о себе, что он единокровен Отцу, что он с Отцом — одно. Единое с Отцом... Но если они едины, то как же мог Отец хотя бы на мгновение оставить Его? Ведь говорит же он: Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня?! Выходит, это была неправда, что он с Отцом — одно! О, предел сверхчеловеческих страданий! Человеческое сердце разбилось бы чуточку раньше, одно-

му лишь Богочеловеку дано испить эту чашу страданий до последней капли. И затем он умирает.

Мой читатель! А теперь вспомни, о чем мы говорили вначале: сколь узок этот путь! И разве же это не так?

И все же мы продолжаем идти, и наш путь — Христос. Да, Христос есть путь. Он восходит на гору, облако заслоняет Его от взоров учеников... Он уходит на небо. Он есть и наш путь!

Перевод *Н. БОЛДЫРЕВА*

ИЗ ЦИКЛА «ШЕСТЬ ФАНТАЗИЙ ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ»

1. Тихое отчаяние

Когда Свифт превратился в старика, он был помещен в дом умалишенных, который построил сам же в свои молодые годы. Рассказывают, он частенько останавливался там перед зеркалом с упорством тщеславной и сладострастной женщины, хотя и не обязательно с мыслями таковой. Он рассматривал себя и говорил: о, бедный старик!

Некогда жили отец с сыном. Сын походил на зеркало, в котором отец видел себя; для сына же, в свою очередь, отец был тем зеркалом, в котором он видел себя таким, каким сам со временем станет. И все же они редко глядели на себя именно под таким углом зрения, ибо ежедневное их общение определялось бодрым тоном веселых оживленных бесед. Вот только несколько раз случилось, что отец останавливался с печальным лицом напротив сына, молча вглядывался в него, а затем произносил: «Бедный мальчик, ты живешь в тихом отчаянии». Больше об этом никогда не заходило разговора: ни о том, как это следует понимать, ни о том, насколько это соответ-

ствует истине. Отец думал, что это он виноват в меланхолии сына, а сын думал, что он — тот, кто причиняет отцу горе, однако же никогда они не обменялись об этом ни единым словом.

Шло время, и отец умер. Сын многое перевидал с тех пор, много чего слышал, много чего пережил, подвергался самым разным соблазнам, и все-таки внутренне он был устремлен к одному-единственному, одно-единственное двигало им все это время: те самые отцовские слова и отцовский голос, произносивший их.

Но вот и сын превратился в пожилого человека. Как ни находчива любовь, все же ни тоска, ни чувство утраты, конечно, не смогли научить его вырвать весточку у молчания вечности, однако они научили его другому: подражать голосу отца до того подобия, когда звучание уже не было иллюзией. О нет, разумеется, он не разглядывал себя в зеркале подобно старику Свифту, ибо и зеркала-то рядом уже более не было, однако в своем одиночестве он утешался тем, что слушал голос отца: «Бедный мальчик, ведь твоя жизнь проходит в тихом отчаянии». Ибо отец был единственным человеком, который его понял. А между тем сам-то он не знал, понял ли он отца тоже. Да, отец был единственным близким существом, которое у него было, однако близость эта была такого свойства, что было ей совершенно безразлично, жив отец или уже мертв.

2. Самосозерцание прокаженного

(Сцена разыгрывается между могилами в предрассветных сумерках. Симон Прокаженный сидит на камне, заснувши, потом просыпается и громко кричит:)

— Симон! Эй, Симон! — Да, кто кричит? — Где ты, Симон? — Здесь. — С кем разговариваешь ты? — С самим собой. — Да, ты-то имеешь дело с самим собой, но как от-вратителен мне ты с твоей коростой, ты — чума для всех живущих, отвяжись от меня, чудовище, пошел прочь к своим могилам. — О, почему я единственный, кто не может сказать так, не может действовать сообразно с этим? Всякий, если я сам не бегу от него, бежит от меня прочь, оставляя меня в одиночестве. Но разве не прячется художник, чтобы тайком наблюдать, как восхищаются его твореньем? Почему же я не могу отделить от себя эту омерзительную оболочку-образ, чтобы пребывать тайным наблюдателем людского отвращения? Почему я обречен таскать повсюду этот образ, демонстрируя его всем подряд, как будто я некий тщеславный художник, обуянный желаньем слышать восторги по адресу собственной персоны? Почему обречен я на то, чтобы оглашать пустыню своими криками, разделяя общество диких зверей, пытаюсь совместным с ними ревом скоротать время? Нет, это не просто вопль, это вопрос; я спрашиваю Его, Того, кто сам же сказал однажды, что нехорошо человеку быть одному. Неужто это и есть то общество, которого я достоин, неужто это равные мне, неужто это те, кого я ищу, — эти голодные чудовища или эти мертвецы, не страшась стать нечистыми?

(Снова садится, осматривается вокруг и говорит словно бы самому себе:)

— Куда же делся Манасса? (повышая голос:) Манасса! (молчит некоторое время.) Ах, да, ведь он ушел в столицу. Да, я знаю. Ведь я изобрел мазь, и если пользоваться ею, то сыпь и короста уходят внутрь, так что никто уже не заподозрит о них и даже священник вынужден будет

признать нас здоровыми. Я научил Манассу пользоваться этой мазью, я объяснил ему, что болезнь этим не излечивается, но лишь уходит внутрь. Дыханием же он может заразить любого, так что у того проказа явственно проступит по телу. Как же возликовал он, он — ненавидящий бытие, проклинаящий людей, жаждущий мести! Он мчится сейчас в столицу, и скоро он будет испускать там на всех подряд свой яд. Манасса-Манасса, зачем ты дал дьяволу место в своей душе, неужто не довольно тебе того, что отвержено тело твое?

Остаток мази я выброшу, чтобы не впасть в искушение; о Бог праотца Авраама, дай мне забыть рецепт ее приготовления. Отец Авраам, когда я умру, дай мне проснуться в лоне твоём, чтобы вкушать мне с чистейшими, ведь ты-то не страшишься прокаженных. Исаак и Иаков, ведь вы не побоитесь сесть за один стол с тем, кто был здесь прокаженным, кто был отринут от людей. А вы, мертвецы, спящие здесь вокруг меня, проснитесь, проснитесь всего на одно мгновение и услышите слово, единственное слово: передайте от меня Аврааму, чтобы он приготовил среди почивших место для того, кто не смог найти себе места среди людей.

Да и что оно такое — человеческое сострадание! И кому же оно полагается по праву, как не несчастнейшему, однако как, каким образом оно оказывается ему? Обнищавший попадает в лапы ростовщика, который в конце концов загоняет его в долговое рабство. Но ведь точно так же свершаются ростовщические сделки счастливыми, для коих несчастные — жертва, с помощью которой можно по дешевке или контрабандно купить дружбу Господа. Подать милостыню, монетку — если у себя при этом избыток; кого-нибудь проведать, если это

не опасно; оказать чуточку того участия, когда противоположность роскошной жизни рассматривается в качестве некой приправы, — вот они, сострадательные пожертвования! Если же начинает попахивать опасностью, несчастные тотчас изгоняются в пустыню, дабы не были слышны стоны, мешающие танцам, звукам арфы и сибаритству, а также разговорам о сострадании, о том человеческом сострадании, которым пытаются обмануть Бога и несчастных.

Нет, напрасно искать сострадания в больших городах или у счастливых, искать его надо здесь, на воле, в пустыне. О, Бог Авраама, благодарю тебя за позволение изобрести мазь, благодарю и за то, что ты помог мне отказать воспользоваться ею. Милосердие твое я вижу в том, что позволяешь мне смиренно переносить мою участь, свободно претерпевать неизбежное. Нет ни у кого ко мне сострадания, удивительно ли, что сострадание бродит, подобно мне, между этих могил, где я сижу, вполне утешенный, вполне умиротворенный — как тот, кто жертвует своей жизнью, чтобы спасти другого, как тот, кто добровольно избирает изгнание, чтобы спасти других, как тот, кто страдает счастливым. О, Бог праотца нашего Авраама, дай им хлеба и вина в избытке, дай им счастливых дней! Выстрой для них амбары просторней, а урожай дай им еще больший, нежели сами эти амбары. Дай отцам их мудрость, матерям плодородие, а детям — благодать. Дай победу в споре, после которой народ стал бы твоим достоянием. Услышь просьбу того, чье тело опозорено, чье тело нечисто, кто напасть для священников, ужас для народа, ловушка для счастливых. О, услышь же его, если сердце его останется незапятнанным...

Симон Прокаженный был иудеем; когда бы он жил во времена христианства, то нашел бы иной предмет для своей симпатии. Каждый раз, когда в ходе церковного года священник говорит о десяти прокаженных, он торжественно заверяет, что сам ощущает себя одним из этих несчастных. Ну а если бы речь шла о тифе?..

3. Сон Соломона

Соломонов суд хорошо известен, посредством его отделяют правду от лжи, а того, кто выносит приговор, славят как мудрого властителя. Менее известен сон Соломона.

Если существует мука симпатии, то она в том, что приходится стыдиться своего отца — того, кто любим тобою больше всех, кому ты больше всех обязан, но к кому при всем при том ты вынужден приближаться со спины или отвернув в сторону лицо, чтобы никто не заметил твоего смущения. Какое же в сравнении с этим наслаждение иметь возможность любить так, как того вполне жаждет сыновняя потребность, и когда еще к этому счастью добавляется возможность гордиться отцом, поскольку он принадлежит к избранным, поскольку он еще при жизни признан человеком выдающимся, могущественным, признан гордостью страны, Божьим другом, обетованием будущего. Он — прославляемый в прижизненных воспоминаниях о нем! Счастливый Соломон, это был твой жребий! Посреди избранного народа (как чудесно уже одно то, что ты принадлежишь к нему!) он был сыном царя (завидная участь), сыном того самого царя, который был избраннейшим среди всех царей!

Итак, абсолютно счастливый, жил Соломон при пророке Натане. Могущество и героическое величие отца не

воодушевляли его к деяниям, ибо к тому не представлялось случая, однако они воодушевляли его к изумлению, а изумление помогло ему стать поэтом. Но если поэт почти завидовал своим героям, то сын пребывал в состоянии восторженной преданности своему отцу.

Но однажды случилось так, что юноша застал врасплох своего царствующего отца. В одну из ночей он проснулся: ему послышалось какое-то движение там, где спал отец. Его охватил ужас при мысли о каком-нибудь завистнике, который хочет убить Давида. Он подкрадывается ближе — и видит Давида в состоянии глубокой душевной подавленности, он слышит вопли отчаяния кающейся души.

Чувствуя себя обессиленным, Соломон находит свое ложе, наконец забывается в дремоте, но покой не приходит, его мучает сон; ему снится, что Давид — безбожник, отверженный Богом, что царское величие Давида — это божий над ним гнев, что пурпурные одежды он вынужден носить как наказание, что он проклят на свою власть, проклят принимать поклонение народа, в то время как Господня справедливость тайно и скрытно творит свой суд над виновным. И в этом сне Соломон смутно предчувствует, как бы догадывается: этот Бог — бог не набожных, а безбожников, и именно безбожник должен был стать избранником Бога, и весь ужас сна — в этом противоречии.

И пока Давид лежал на земле с сокрушенным сердцем, Соломон встал с постели, но разумеется был уже сокрушенным. Ужас охватывал его каждый раз, когда он думал, что значит — быть избранником Бога. Он подозревал, что близость святых к Богу, откровенность с Богом людей чистых — не объяснение, но что тайная их вина — вот тайна, которая все объясняет.

И был Соломон мудрым, но не был героем; и был он мыслителем, но не был богомольцем; и был он проповедником, но не был верующим; и умел он помочь многим, но самому себе помочь не мог; и был он сластолюбив, но не раскаивался; и был он человеком сокрушенным, и все же не собравшимся с духом, ибо сила его воли была подорвана однажды тем, что превышало его юношеские силы. И кружился он по жизни, кружимый ею; сильный, сверхъестественно сильный (а значит — женственно слабый) в выдумывании бурных самораслаждений, весьма остроумный и рассудительный в разного рода толкованьях. Однако в самую сердцевину его существа был внесен разлад, и напоминал Соломон тех немощных, что с трудом носят собственное тело. В своем гареме он сидел подобно бессильному старцу, пока постепенно в нем не пробуждалось желание, и тогда он кричал: «Эй, девы, играйте на тамбурине и танцуйте передо мной!» Но когда, прельщенная его мудростью, прибыла к нему восточная царица, его душа стала избивной, и слова мудрости полились с его губ, словно драгоценное мирро, стекающее по стволам аравийских деревьев.

6. Царь Навуходоносор (книга пророка Даниила)

1. Эти мои воспоминания — ко всем народам и языкам земли, воспоминания о той моей жизни, когда я был зверем и питался травой, я — царь Навуходоносор.

2. Разве Вавилон не был великим городом, величайшим среди всех городов всех народов? Это я, я — Навуходоносор — построил его.

3. Ни один город не мог сравниться славой с Вавилоном, ни у одного царя не было того почета и того могущества, которые имел я благодаря Вавилону.

4. Мой царский дом был виден во всех концах земли, а моя мудрость была подобна темному слову, которое никто из мудрецов не умел объяснить.

5. Ни один из них не мог сказать мне, что это за сон, который однажды привиделся мне.

6. Но вот была мне весть, что претерплю превращение и стану как зверь, питающийся полевой травой, и будет так, покуда не пройдут надо мной семь времен.

7. И тогда собрал я вокруг себя всех моих военачальников с их воинами и расставил снаружи часовых, чтобы успеть вооружиться, если придет враг, как о том была мне весть.

8. Но никто не осмелился приблизиться к гордому Вавилону, и я сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я, я — царь Навуходоносор?

9. Но вдруг раздался сверху голос, и был я превращен так стремительно, как женщина меняет цвет лица.

10. Трава стала мне пищей, роса упала на меня, и никто уже не узнавал меня.

11. Но я помнил Вавилон, и я возопил: это ли не Вавилон... Но никто не понимал моей речи, ибо была она подобна мычанию животного.

12. Мысли мои ужасали меня, мои мысли, рождавшиеся в глубине души моей, ибо уста мои были скованы и никто не мог услышать от меня ничего иного кроме звуков, которые издают звери.

13. И я думал: кто же он, этот владыка, этот властитель, господь, чья мудрость непостижима, как мрак и как глубина морская,

14. как то сновидение, над которым властен он один и толкование которого он не дал во власть человеческую, толкование сновидения, которое снится тому, кого он держит в сильных дланях своих.

15. Никто не знает, где живет этот всемогущий; так чтобы можно было показать рукой и сказать: смотрите, вон там его трон; или чтобы можно было ехать по земле до тех пор, покуда не объявят: смотрите, вот граница его владений.

16. Ибо живет он не на границе с моим царством, подобно моему соседу, и владения его простираются не от дальнего моря к моим границам и не окаймлены они вздымающимся валом.

17. Не живет он и в своем храме, ибо я, царь Навуходоносор, забрал оттуда золотые и серебряные сосуды и разрушил храм его.

18. И не знает никто ничего о том, кем был его отец и как он добился власти, или о том, кто научил его тайне его могущества.

19. И нет у него ни единого советника, так чтобы можно было выкупить его тайну за золото. Нет никого, кому бы говорил он: вот какие дела предстоят мне. И нет никого, кто бы говорил ему: чем занят ты?

20. И нет возле него соглядатаев, которые бы могли что-то выследить, которыми можно было воспользоваться, ибо нет в его словаре слова «завтра», но лишь — «сегодня».

21. Ибо он не делает никаких приготовлений, как это водится у людей, а сами его приготовления не оставляют его врагам ни капельки времени, ибо он говорит: да будет так! Или: свершилось!

22. Он пребывает в тишине здесь, рядом, возле меня,

и он говорит со мной, но он ли это — неизвестно до самого того мгновенья, когда это случится.

23. Да, это он сокрушил меня. Но он прицеливается не как стрелок из лука, отпускающий от себя летящую стрелу, нет, он разговаривает сам с собой и тем самым уже все свершает.

24. В его длани мозг царя подобен воску в плавильной печи, а царская власть — пушинка на пути его дыхания.

25. Ко всему прочему он не живет на земле подобно обыкновенному властителю, который мог бы отнять у меня Вавилон, а мне оставить немного остальное, или же подобно тому, кто мог бы забрать у меня все и стать хозяином Вавилона.

26. Вот о чем думал я в тайниках своей души, когда никто не узнавал меня, и мысли в моем мозгу, ужасавшие меня самого, были о том, что господь может быть т а к и м.

27. Но вот семь лет позади, и я снова стал царем Навуходоносором.

28. Призвал я всех мудрецов, чтобы объяснили они мне тайну той власти, благодаря которой я стал подобным зверю в поле.

29. Однако все они как один упали лицом ниц и сказали: великий царь, это химера, дурной сон, кто посмел бы совершить такое против тебя?

30. Мой гнев на этих мудрейших моей страны был так велик, что я велел казнить их за их глупость.

31. Ибо у господя вся сила, и такая, какой нет ни у одного человека. Но я не хочу завидовать его власти, я хочу славить ее и быть ближайшим после него, ибо это я взял его золотые сосуды и серебряную утварь.

32. Но отныне Вавилон — уже не прежний величественный Вавилон, а я, царь Навуходоносор, — уже не

прежний царь Навуходоносор, а мои воины уже не могут обеспечить моей безопасности, ибо никто не в состоянии увидеть господина и никто не может ничего сообщить о нем.

33. Сообщить, придет ли он. И стража напрасно стала бы бить тревогу, ибо я был бы уже превращен в птицу на дереве или в рыбину в воде и меня узнавали бы лишь рыбы.

34. Потому-то не хочу я больше быть известным в Вавилоне, но хочу, чтобы каждый седьмой год по всей стране устраивался праздник.

35. Торжественный праздник всего народа, и называется он пусть праздником превращения.

36. И по улицам пусть ведут звездочета, наряженного животным, и пусть он несет на себе свои астрономические таблицы, изорванные словно пук сена.

37. И весь народ пусть кричит: господь, один лишь господь — наисильнейший, а деяния его — стремительны, как прыжок великой рыбы в океане.

38. Ибо дни мои уже сочтены, и моя власть скоро пройдет как ночная стража, и не известно мне, куда я отправлюсь,

39. прибуду ли в невидимую страну в дальней дали, где живет всемогущий (если дано мне будет удостоиться чести предстать пред его взором),

40. или же он есть тот, кто сам возьмет мое жизненное дыхание, так что я стану подобен обветшавшим одеждам моих предков, после чего снизойдет на меня благодать.

41. Вот что я, царь Навуходоносор, желаю сообщить всем народам и языкам земли, а великий Вавилон да исполнит волю мою.

Перевод *Н. БОЛДЫРЕВА*

КИРКЕГОР И КАФКА

(Заметки переводчика)

Отчего у меня такое чувство, будто Кафка каким-то таинственным образом причастен к творчеству Киркегора? Отчего это ощущение мелодии, переходящей в ей сопутствующую, а затем ведомую двумя голосами? Может, оттого, что атмосфера зависла в комнате — в пустынной большой затененной комнате, где только двое — отец и сын (фантазия Киркегора «Тихое отчаяние»)? Где всегда только двое. И между ними всегда только молчание. И молчание это так или иначе хранит загадку меланхолии. «Бедный мальчик, ты живешь в тихом отчаянии!» Кто знал это состояние лучше, чем Киркегор и Кафка? Знал, то есть не только претерпевал, но и исследовал, проникая в его кажущуюся бездонность. Ибо живут, проживают жизнь в тихом отчаянии сонмы людей. Но они не знают об этом. Хорошо это или плохо? Бог весть. Хорошо это или плохо, что отец сказал как-то своему сыну, молча вглядываясь в его на поверхности столь беспечные черты: «Бедный мой мальчик, ты идешь по жизни в тихом отчаянии»? Хорошо это или плохо, что сын потом всю жизнь размышлял об этих отцовских словах? Хорошо это или плохо, что для истинного поэта все случающееся в жизни становится проблемой, тем более отношения с отцом, где родовое входит в бездонное противоречие с индивидуальным и неподсудным? Ведь и Соломон (в фантазии Киркегора «Сон Соломона») был сбит с ног лишь случай-

ным ракурсом, в котором ему открылся неожиданный лик и обнажившаяся душа отца. Случайный ракурс, случайно сказанные слова... Но что есть случайность?

И Киркегор, и Кафка медленно умирали, будучи бледными и прозрачно-одухотворенными с детства, зная, предзная свою судьбу угасанья и вытекающей из этого (хотя бы только из этого) меланхолии. Одного медленно ела чахотка, другой чувствовал беспричинную неуклонную утрату сил. Одному на момент смерти был 41 год, другому — 42. Но тому и другому (два ли это братья во времени-пространстве или воплощение одной души?) была внушена потребность петь. И это пение было раздумьем.

Трагичность диалога Кафки с отцом известна. Франц мог лишь мечтать о такой фразе: «Бедный мальчик, ты живешь в тихом отчаянии!» Мечтать как о милости и любви. Подобная новелла в его творчестве была бы сентиментальной грезой, замещающей тот страшный сон действительности, который рассматривал его в упор сонмом глаз. Однако в более глубоком смысле именно невозможность выхода из меланхолии и была этой зависающей в комнате земного пространства фигурой молчания. Эта невозможность разорвать, расколдовать молчание между столь обреченно близкими людьми — и есть исток той тщеты, что зовется последней. (В конце концов, отец и сын — лишь метафора любого человеческого общения.)

Но эта тщета все же — кажущаяся. Ибо в мире действует воля к отчаянию. И если в одном смысле нет более страшного греха, чем отчаяние (отчаяться — значит возомнить, что ты оставлен Им тоже!), то в смысле ином отчаяние предстоит человеку как его задача на пути. Следует постичь тщету жизни и потому отчаяться, отчаяться в тщетности стиля и ритма, которые царствуют в тебе мет-

рономом биологического распада. И потому — такой могучий напор в исследовании пространства отчаяния. Это вечное безмолвие кафкианских коридоров, комнат, улиц, вечный иллюзионизм контактов, сближений, приближений. И этот единый в пространстве-времени человеческий дом у Киркегора, дом, куда не проникает историческое время, где царствует вечность, где над человеком, Симон ли он Прокаженный или Франц Кафка (впрочем, не вариант ли это прокаженного?), встает одна и та же Тень, простирается одно и то же Ожидание.

«Отчаивайся, отчаивайся глубже, отчаивайся до конца, до пределов своего отчаяния!» Вот совет Киркегора себе и своему духовному другу. Ибо иного пути к вере, к внезапному прыжку в нее, к прыжку в пробуждение от кошмарного жизненного сна, он не знает.

*Выболит до каждого извива
наша ненасытная телесность.
Лишь тогда душа, бездонно сиротлива,
вдруг войдет в неведомую местность...*

Не выболит в этой жизни — придется выбаливать в следующей. Но от боли и ужаса одиночества не деться никому. Знаю ли я кого-то более одинокого, чем были Киркегор и Кафка? Мне кажется, что нет. Однако что уж такого *страшного* было в их судьбах? Ничего кроме того, что они были одарены даром страдания. Звучит кощунственно, однако ведь это разные вещи: жить в страшном мире, в страшных обстоятельствах и — страдать. Сонмы людские живут в страшных обстоятельствах (да разве уже само по себе *обстоятельство жизни*, то есть пребывание на кресте распятия между телом и душой, не непомерно, не сюрреалистически страшно?), однако страдают, тем более глубоко или глубинно — немногие. А если,

вдруг, говорить о наших нынешних, российских, обстоятельствах, то я бы поставил такой вопрос: а достаточно ли глубоко мы страдали? Не было ли наше страдание поверхностным, так сказать физического или медико-биологического свойства? Страдала ли наша душа? Достаточно глубоко ли, чтобы *переплавить* случившееся, чтобы духовно превозмочь исторический кошмар? Чем иным, если не религиозным страданием, можно высветить бездну хаоса, рассеять сонм неразрешимых вопросов? Ведь не грудями же полых слов? Больше того: не есть ли страдание (тело не страдает, страдает лишь дух) — показатель напряженности в ощущении самой субстанции существования? Не есть ли страдание — сам момент соприкосновения с плазмой, сутью существования? И в подлинном смысле не тот ли воистину живет, кто страдает — страдает всей глубиной души, всеми ее тончайшими, таинственными переходами?

Для непоэта все вокруг представляется так или иначе понятным и естественным. Для поэта все предстоит удивительным, невероятным, проблематичным, сюрреалистическим. Кто-то сказал: Кафке снились страшные сны. Увы, самым страшным сном была для Кафки его жизнь. И все, что он написал, было попыткой продвинуться в сторону пробуждения. А разве не сон, по версии Киркегора, изменил жизнь Соломона, перечеркнул намечавшуюся безмятежность судьбы? Сон, греза (то есть внезапный выпад сознания из обыденного состояния предсказуемости, спланированности будущего) вдруг осветили жизненный космос Соломона молнией светом, преобразив все смыслы. Но ведь и судьба Навуходоносора внезапно переломилась сном, сном божественным, смысла которого самостоятельно постичь он не мог. Через сон даются у Кир-

кегора и Кафки ключи к неким жизненным парадоксам, ведущим к тайнам неба. Нереальность становится ключом и путем к сверхреальному. Оттого-то кафкианский сюрреализм построен на приеме сна. Пробудиться! Вот все желание, весь безнадежный порыв Йозефа К. Сон и открывает, и закрывает. В одном смысле надо пробудиться ко сну, к сновидческим парадоксам, стать вровень с их раскованной мудростью, с их мистическим символизмом и мужеством спонтанности. В другом же смысле надо пробудиться от сна тягучей, липкой, безнадежной невнятицы будней, от серого абсурдного тумана, в котором плывут наши незрячие души.

Киркегор прожил в физическом смысле комфортабельную жизнь. Почти то же можно сказать о Кафке (если снять обстоятельства их биологического раннего упадка). Однако спасло ли это их от самоедства вопрошаний? Но разве пытались они или хотели спастись от него? Разве не бежали они навстречу этому самоедству и самовопрошанию? Правы ли они были в этом? Кто знает. Одно ясно — никому нет спасения от шторма того отчаяния, которое начинается как тихое-тихое. И если кому-то кажется, что он ускользнул от него в этой жизни, его застигнет штормом в следующей. Рано или поздно каждому предстоит родиться Киркегором или Кафкой. Кто знает, быть может, юмор бытия в том и состоит, что каждому предстоит побывать в шкуре каждого. Как говорил один Поэт о рядовом своем современнике: «Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом».

Из книги «КИРГЕГАРД
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ»

Г л а в а II

ЖАЛО В ПЛОТЬ

Что касается меня, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть. Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной жизнью.

Киргегард

Киргегард променял Гегеля и греческий симпозион на неистовые речи Иова. Но нужно тут же сделать очень важную оговорку: Гегеля Киргегард точно возненавидел и даже научился — хотя после долгой и трудной внутренней борьбы — презирать его; но от греческого симпозиона и от того, кто был душой греческого симпозиона, т. е. от Сократа, он никогда не мог решительно отвернуться — даже в тот период неслыханного напряжения всех его душевных сил, когда писались названные выше книги его — «Furcht und Zittern», «Wiederholung», «Begriff der Angst»*. Он даже и Спинозы не задевал и, по-видимому, относился к нему (может быть, под влиянием Шлейермахера) с величайшим уважением, граничившим с благоговением. Словно он считал нужным держать Спинозу, как

* «Страх и трепет», «Повторение», «Понятие страха».

и Сократа, про запас, на случай, если Авраам и Иов и Книга, в которой он прочел об Иове и Аврааме, не оправдают возлагавшихся на них ожиданий. И может ли быть иначе? Дано ли современному человеку отказаться от Сократа и ждать истины от Авраама и Иова? Обычно такого вопроса и не ставят. Предпочитают спрашивать: как «примирить» истины Сократа и греческого симпозиона с истинами Авраама и Иова. Задолго до того, как Библия стала проникать к европейским народам, этот вопрос был так поставлен Филоном Александрийским. И был им разрешен в том смысле, что Библия не только не находится в противоречии с греческой философией, но что все, чему греки учили, было ими почерпнуто из Св. Писания. Платон и Аристотель — только выученики Авраама, Иова, псалмопевцев и пророков (апостолов тогда еще не было).

Сам по себе Филон не был ни крупным философом, ни вообще очень выдающимся человеком. Он был образованным, культурным, благочестивым и очень преданным вере отцов своих иудеем. Но история, когда ей нужно, умеет использовать посредственных и даже ничтожных людей для выполнения самых грандиозных замыслов своих. Идее Филона об отношении Библии к греческой мудрости суждено было сыграть огромную историческую роль. После Филона никто уже не решался принимать Библию такой, какой она была на самом деле; все стремились видеть в ней своеобразное выражение греческой мудрости. У Гегеля в «Философии религии» мы читаем: «В философии религия получает свое оправдание от мыслящего сознания. Мышление есть абсолютный судья, пред которым содержание (религии) должно оправдать и объяснить себя». Так именно уже думал, за две тысячи лет до Гегеля, Филон. Он не «мирил» Св. Писания с гре-

ческой мыслью, — он его оправдывал пред ней. И, конечно, не мог этого сделать иначе, как предварительно «истолковав» Библию так, как это нужно было, чтоб добыть искомые оправдания и объяснения. Тот же Гегель, описывая в своей «Логике» сущность мышления, заявляет: «Когда я мыслю, я отрекаюсь от всех своих субъективных особенностей, углубляюсь в самое вещь и дурно мыслю, если я прибавляю хоть что-нибудь от себя». Когда Филон толковал Библию под руководством греческих философов, — он тогда стремился заставить авторов библейских повествований и даже Того, от имени которого эти повествования велись, отречься от всех субъективных особенностей. В этом смысле Филон стоял уже вполне на уровне образованности Гегеля. Филон воспитался на греческих философах и твердо усвоил себе мысль, что не только языческие боги, но и Бог Св. Писания стоит под истиной, которая только тогда открывается мыслящему существу, если оно всецело отречется от себя и погрузится в вещь. После Сократа уже никто иначе не мог, не должен был думать. Миссия, возложенная историей на Филона, состояла в том, чтобы доказать людям, что Библия не противоречит и не вправе противоречить нашему естественному мышлению.

Киргегард ни в своих книгах, ни в дневниках о Филоне не вспоминает. Но надо думать, что, если бы ему пришлось вспомнить о Филоне, он его назвал бы Иудой до Иуды. Тут уже было первое предательство, не менее потрясающее, чем предательство Иуды: все было, полностью — вплоть до лобызания уст. Филон превозносил до небес Св. Писание, но, превознося, отдавал его под руку греческой философии — т. е. естественному мышлению, умозрению, умному зрению. Киргегард о Филоне молчит.

Свои громы он направляет против Гегеля и именно потому, что Гегель был провозвестником (для нового времени) «объективного» мышления, которое, отрекаясь от того, что является «субъективной» особенностью живого существа, видит истину и ищет ее в «вещи». Но Сократа он все же бережет, падит — словно, скажу еще раз, бессознательно перестраховывая себя на случай, если Авраам и Иов не выручат. Даже в те минуты, когда он обращается со своим грозным «Entweder-Oder» к благополучным мирянам и женатым пасторам (или, пожалуй, в такие минуты в особенности), он укрывает Сократа в какой-то и ему самому невидимой складке души своей. Он призывает к Абсурду, к Парадоксу, но все же Сократа от себя не отпускает.

И это, быть может, не покажется уже так «недозволенным», если мы вспомним, с какой нуждой он пошел к Аврааму и Иову. В дневниках своих он много раз повторяет, что никогда не назовет конкретным словом того, что с ним произошло, и даже торжественно запрещает всем допытываться об этом. Но в своих сочинениях он не мог об этом не рассказывать, в своих сочинениях он только об этом и рассказывает — правда, не от своего имени, а от имени разных вымышленных лиц, — но все же рассказывает. В конце «Повторения» он заявляет, что для него превратилось в событие мирового значения то, что, случись это с другим, разрешилось бы пустяками. В «Этапах жизненного пути» он пишет: «Мое страдание — скучно: я сам это знаю». И через страницу повторяет: «Не только он мучается несказанно, но его страдание скучно. Если бы не так скучно было, может быть, кто-нибудь принял бы в нем участие». И еще: «Он так ужасно страдал из-за пустяков». В чем было это скучное страдание? На это он

даст определенный ответ: «Он чувствует, что не способен к тому, к чему способны все — быть супругом». И еще, в той же книге он признается: «Девяти месяцев, проведенных в утробе матери, достаточно было, чтоб сделать из меня старика». Такие признания рассыпаны у него по всем книгам и дневникам — можно было бы без конца выписывать. Я приведу только одно место из его дневника за 1846, в котором он, вопреки данному им обету, все же называет «конкретным» словом то, что с ним произошло. «Я в настоящем смысле этого слова — несчастнейший человек, человек, с ранних лет пригвожденный всегда к какому-либо доводящему до безумия страданию, связанному с какой-то ненормальностью в отношении моей души к моему телу... я говорил по этому поводу с врачом моим и спросил его, полагает ли он, что эта ненормальность может быть излечена так, чтобы я мог осуществлять общее. Он выразил сомнение. Тогда я опять спросил его, не думает ли он, что дух человека может своей волей что-нибудь изменить или исправить тут. Он и в этом усомнился. Он не советовал даже мне пытаться напирать всю силу моей воли — которая, он знал, может все вместе взорвать. С этой минуты выбор мой был сделан. Эту печальную ненормальность (которая большинство людей, способных понять мучительность такого ужаса, без сомнения, привела бы к самоубийству) я воспринял как ниспосланное мне жало в плоть, как мой предел, мой крест, как огромную цену, за которую Отец небесный продал мне силу духа, не знающую себе равной меж современниками». И еще раз: «Что меня касается, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть. Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной светской жизнью». Одна из замечательнейших по глубине и потрясающей

силе изложения речь Киргегарда называется «Жало в плоть», и смысл ее может стать понятным только в свете признаний, сделанных в приведенных сейчас отрывках из его дневника, как тоже может стать понятным только после этих признаний утверждение Киргегарда, что грех есть «обморок свободы» и что понятие, противоположное греху, есть не добродетель, а вера. Обморок свободы так изображается в «Повторении»: «Я не могу обнять девушку, как обнимают действительно существующего человека, я могу только ощупью прикасаться к ней, подходить к ней, как подходят к тени». Не только Регина Ольсен — весь мир обратился для Киргегарда в тень, в призрак. Сделать же «движение веры», которое вернуло бы миру и Регине Ольсен реальность, как он сам не раз и не два повторяется в своих книгах и дневниках, ему не дано. Дано ли это другим людям? Киргегард не спрашивает об этом. Большая часть рассказа «Wiederholung» и той части «Этапов жизненного пути», которая называется «Виноват — невиноват», ведется как будто в совсем иной тональности. История неосуществленной любви излагается там не так «просто» и не так «скучно». И Киргегард прав, конечно: если бы он рассказывал только то, что с ним действительно было, кто «принял бы в нем участие», кто заинтересовался бы им? Поэтому признания, вроде мной приведенных, хотя их немало, только вкраплены в повествование — общая же тема как будто сводится к тому, что герой должен был покинуть свою невесту потому, что она для него была не «возлюбленной мужчины, а музой поэта». Это, конечно, не так скучно и не так смешно. Но Киргегард предпочитает, чтоб и его невеста, и все люди считали его развратником и негодяем, чем чтобы они узнали его тайну. И все же в нем жила неудержимая потреб-

ность оставить в писаниях след действительных своих переживаний. «Я жду бури и повторения. О, если бы пришла буря! Что должна принести буря? Она должна меня сделать способным быть мужчиной».

За этим он пошел к Иову, к Аврааму, за этим он пошел к Св. Писанию. Гегеля, как и всю умозрительную философию, он возненавидел потому, что в философских системах для его вопроса не находилось места. Когда он говорил, что скрывал от всех свой позор и свое несчастье по поводу того, что ему не дано было понять великого человека, т. е. Гегеля, это менее всего значило, что он не мог справиться с отвлеченной сложностью гегелевских философских построений. Этих трудностей Киргегард не боялся: он с молодости приучился читать философских авторов, изучал в оригинале Платона и Аристотеля и легко разбирался в тонких и сложных аргументациях. В его устах «не понимал» значило совсем иное: почти что «слишком хорошо понимал» — слишком хорошо понимал, что гегелевская философия принципиально сводит его вопрос к нулю. Она может «объяснить» случай Киргегарда, как она «объясняла» случай Сократа, Тридцатилетнюю войну или какое угодно большое или малое историческое событие, и затем требует, чтобы ее объяснениями человек удовлетворился и прекратил свои вопрошания. Это-то требование и было тем, чего «не понимал» в Гегеле (т. е. в умозрительной философии) Киргегард. Не понимал, так как полагал, что, по существу дела, ему следует этому требованию покориться и что сам Гегель на его месте вполне бы удовлетворился тем, что ему могла предложить умозрительная философия, но что он, Киргегард, так ничтожен и беден духом, что не способен подняться на ту высоту, где парит мысль Гегеля. Оттого он о своем

непонимании Гегеля говорит как о позоре и несчастье. Он мог бы вспомнить о *μισόλογος*'е (ненавистнике разума) Платона и сказать себе, что на нем осуществилась угроза божественного философа: тот, кто не довольствуется светом разумных объяснений — ведь и есть *μισόλογος*, а *μισόλογος* обречен на величайшие беды. Но о платоновском завете Киркегард почти никогда не вспоминает, точно старается забыть, что первый, открывший людям смысл и цену умозрения, был не Гегель, а Платон. Он даже и Аристотеля оставляет в покое. И Платон, и Аристотель еще слишком тесно связаны с Сократом, а Сократа надо беречь. Наверное, не раз спрашивал себя Киркегард, как бы поступил на его месте мудрейший из людей: Сократ ведь не мог идти за помощью к Иову или Аврааму. Да если бы и мог — пожалуй, не пошел бы... Эпиктет, не колеблясь, заявил нам, что даже печали Эдипа и Приама Сократа не застали бы врасплох. Он не стал бы ни жаловаться, ни плакать, ни проклинать, а сказал бы то, что сказал в тюрьме Критону: «О дорогой Критон, если богам угодно, пусть будет так». Умозрение Гегеля сводилось к тому же. Все его «объяснения» имели тот же смысл, что и размышления Эпиктета о Сократе и Эдипе: действительность разумна. А с разумом спорить нельзя и невозможно. Надо полагать — дальнейшее изложение подтвердит это предположение, что Киркегард не обрушился бы на Гегеля с таким негодованием и презрением, если бы действительность, которую пришлось Гегелю осуществить в своей жизни, была бы такой, какая выпала на долю Сократа: т. е. если бы Гегель жил в нужде, терпел всяческие преследования и под конец был отравлен за верность идее. Тогда он считал бы его философию не пустой болтовней, над которой потешаются олимпийские боги, а на-

стоящим делом, тогда бы он называл ее экзистенциальной, а самого Гегеля признал бы «свидетелем истины». Но Гегель возведал, что действительность разумна, т. е. что она такая, какой ей быть полагается, что ей вовсе и не нужно быть другой — единственно потому, что ему удалось благополучно обойти подводные камни, о которые разбиваются другие люди: чего стоит такая философия! Впоследствии — незадолго до смерти — Киргегард обрушился на епископа Мюнстера. Мюнстер, как и Гегель, мог искренне считать уготованную ему судьбой или созданную им самим себе действительность разумной. Он много лет подряд возглавлял датскую христианскую церковь — но это не мешало ему быть и богатым, и женатым, и всеми уважаемым и почитаемым. Его христианство не спорило с разумом. Оно было и «понятным», и «желательным»: ведь «действительность разумна» у Гегеля и значило, что действительность и понятна, и в своей понятности приемлема как лучшее из всего возможного и даже невозможного. Мюнстер умер глубоким стариком в сознании, что прожил свою жизнь, как полагается благочестивому и верующему христианину... И над его могилой ученики его и друзья, тоже верующие христиане и просвещенные люди, торжественно провозгласили устами его зятя профессора философии Мартензена (убежденного гегелианца), что покойный был «свидетелем истины». Киргегард не задевал Мюнстера при его жизни. Мюнстер был духовником его отца, память которого Киргегард благоговейно чтит, носил на руках самого Киргегарда и считался в их семье образцом всех добродетелей. На проповедях Мюнстера Киргегард воспитался: он постоянно их слушал и перечитывал. Но в душе его накапливалось все больше и больше отвращение к благополучному хрис-

тианству Мюнстера, и, когда Мюнстер так же спокойно умер, как и жил, и перед смертью не только не раскаялся и не повинился пред Богом, но еще каким-то образом ухитрился заморозить всех знавших его и оставить по себе память человека, «свидетельствовавшего об истине», Киргегарда прорвало, и он, со всей безудержностью, отличавшей его писания, еще над раскрытой могилой епископа в самой резкой форме заявил протест против речи Мартензена. Киргегарду и самому оставалось уже недолго жить — и он знал это. И все же, сам почти мертвый, он бешено набросился на совсем мертвого противника. Мог ли он иначе поступить?

В том же «Повторении», из которого мы уже привели целый ряд выписок, герой рассказа в таких словах говорит о постигшей его судьбе: «Что это за сила, которая хочет отнять у меня мою честь и мою гордость, да еще так бессмысленно? Неужели я вне покровительства законов?» А в «Этапах жизненного пути», словно поясняя смысл этого вопроса, Киргегард пишет: «Что такое честь? — спрашивает Фальстаф. Может она заменить ногу? Не может. Может заменить руку? Не может. Ergo честь есть воображение, слово, размалеванная вывеска... Это ergo — ложно. Честь, правда, если ею обладаешь, ничего этого дать не может, но если ее потерять — она может сделать противоположное: она может отрубить руку, отрубить ногу, послать в изгнание, которое хуже Сибири. А раз она это может — стало быть, она уже не воображение. Пойди на поле сражения и взгляни на убитых, пойди в госпиталь и взгляни на раненых: никогда не найдешь ты там ни среди убитых, ни среди раненых человека, который бы был так изуродован, как тот, с которым расправилась честь». Не может быть сомнения, что Киргегард

«свидетельствует об истине», хотя и не в том, конечно, смысле, в каком, по словам Мартензена, свидетельствовал об истине Мюнстер. Иначе выражаясь: Киргегард рассказывает правду о себе. Он был лишен покровительства законов и, точно проказой, покрыт бесчестием. Недаром, в тех же «Этапах жизненного пути», он поместил свои потрясающие «Мемуары прокаженного». Может у него быть общий язык с Мартензеном или Мюнстером? Не очевидно ли, что на него надвинулось со всей неумолимостью и беспощадностью какое-то извечное и страшное «Entweder-Oder»? Либо Гегель, Мюнстер, Мартензен, благополучное христианство и те «законы», которые оберегают их действительность, либо новые «законы» (а может быть, даже и не законы, а что-то на законы совсем и не похожее), которые убьют законы старые, низвергнут мнимых свидетелей истины и восстановят в правах раздавленного Киргегарда. «Честь», правда, не властна вернуть человеку оторванную руку или ногу, но зато ей дано не только отрывать руки и ноги, но и сжигать души людей. У кого узнал Киргегард эту истину? Вне христианства, говорил он нам, не было человека, равного Сократу. Но не остается ли и в христианстве Сократ по-прежнему единственным источником истины?

ОТСТРАНЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО

Авраам переходит границу этического... Либо этическое не есть высшее, либо Авраам погиб.

Киргегард

«С ранней молодости, — рассказывает Киргегард, — я жил в постоянном противоречии: другим я казался необычайно одаренным, но в глубине души своей я знал, что не гоюсь никуда». Кто был прав — другие ли, считавшие Киргегарда необычайно одаренным, или он сам, знавший, что он ни на что не годен? Можно ли такой вопрос ставить по поводу Киргегарда? Он сам говорит: «Я могу только религиозно, перед Богом, понять самого себя. Но между мной и людьми стоит стена недоразумения. У меня нет с ними общего языка». И точно, как согласовать запросы Киргегарда с тем, чего ищут «все»? «Все» считают его очень одаренным — он знает, что не годится никуда. Все полагают, что он страдает из-за пустяков, а для него его страдание — всемирно историческое событие. Уверенность в том, что «все» никогда не согласится признать его «страдания» заслуживающими хотя бы какого-нибудь внимания, лишает его возможности поделиться с людьми своей тайной, и это доводит его мучения до крайности, делает их нестерпимыми. Где найти инстанцию, которая рассудит между Киргегардом и «всеми», между Киргегардом и «общим»? И есть ли такая инстанция? На первый взгляд — тут как будто и вопроса никакого нет: совершенно очевидно, что отдельный человек должен быть вперед готов покориться общему, как бы

ему трудно ни было, и в этой согласованности с общим искать смысл своего существования. Затем — и это самое главное — какой удельный вес пред лицом истины имеют такие слова, как страдание, мучение, ужасы, — будут ли они произнесены Киргегардом, или Иовом, или Авраамом? Иов говорит: если бы мою скорбь и мои страдания положили на весы, то они были бы тяжелее песка морского. Даже Киргегард не решается повторить эти слова Иова. Что сказал бы Сократ, если бы ему довелось такое услышать? Может ли «мыслящий» человек так говорить? А между тем Киргегард единственно потому ушел к «частному мыслителю» Иову от знаменитого философа Гегеля, что Иов смел так говорить. Иов тоже, выражаясь языком Киргегарда, «выпал из общего», у него тоже не было общего языка с другими людьми. Иова выпавшие на его долю ужасы довели до безумия, а «человеческая трусость не может вынести того, что имеют рассказать о жизни смерть и безумие». Киргегард постоянно повторяет, что большинство людей даже и не подозревает, какие ужасы таит в себе жизнь. Но «прав ли» Киргегард, прав ли Иов? Не есть ли это бесспорная и самоочевидная истина, что безумие и смерть — есть «просто» конец всего, подобно тому как тоже бесспорная и самоочевидная истина, что страдания и скорби Иова и даже всего человечества ни на каких весах не перевесят песка морского? Так что «все», т. е. те, которые не знают и не хотят знать, что такое ужасы жизни, находятся в более благоприятных условиях для постижения истины, чем те, которые эти ужасы испытали?

Мы стоим пред основным вопросом Киргегарда, на чьей стороне истина, на стороне «всех» и их «трусости» или тех, кто дерзнул взглянуть в глаза безумию и смерти?

За этим, только за этим он, покинув Гегеля, пошел к Иову, и этим моментом определяется черта, отделяющая экзистенциальную философию от умозрительной. Уйти от Гегеля значило отречься от разума и броситься без оглядки к Абсурду. Но, как мы сейчас увидим, путь к Абсурду оказался загражденным «этикой»: пришлось не только разум, но и этическое отстранить. В дневниках своих Киргегард говорил, что тот, кто хочет понять экзистенциальную философию, должен понять смысл, кроющийся под словом «отстранение этического». Пока «этическое» стоит на пути, нельзя прорваться к Абсурду. Правда — и это нужно теперь же сказать: не сбросив с пути «этического», мы не можем пройти к Абсурду, но это не значит еще, что «этическое» есть единственное препятствие, которое приходится преодолеть экзистенциальной философии. Самое трудное остается впереди. Мы знаем уже, что этическое родилось вместе с разумным и от одних родителей, что необходимость есть родная сестра долженствования. Когда Зевс, принужденный Необходимостью ограничить права человека на его тело и мир, решил дать ему в возмещение потерянного нечто «лучшее от самих богов», это лучшее было «этическим»: от Необходимости боги и себя, и людей могли спасать только одним способом: долженствованием. Отстранивши этическое и отказавшись от дара языческих богов, человек сталкивается грудью с грудью с Необходимостью. И тут уже нет выбора: надо вступить с нею в последнюю и отчаянную борьбу, от которой даже боги отказались и исход которой вперед никто предугадать не может. Или, точнее: поскольку мы захотим предугадывать, придется сказать, что тут двух мнений быть не может. С Необходимостью и боги не борются, перед Необходимостью отступили вели-

чайшие мудрецы: не только Платон и Аристотель, сам Сократ признавал, что борьбы тут быть не может и — так как борьба за невозможное бессмысленна, — то, стало быть, борьбы быть и не должно. Если кому до сих пор не было видно, то, быть может, теперь он увидит, где лежит место встречи между разумным и этическим: как только разум усматривает необходимость и провозглашает свое «невозможно», этическое уже тут как тут со своим «ты должен». Друзья Иова в речах, обращенных к валявшемуся на навозе замученному старцу, оказываются не менее просвещенными, чем греческие философы. Если формулировать кратко их длинные речи, все сведется к тому, что говорил обыкновенно Сократ, или, если довериться Эпиктету, что сказал Зевс Хризиппу: раз нельзя преодолеть, стало быть — и людям, и богам — должно принять. И, наоборот, если захотеть в коротких словах передать ответ Иова друзьям, — то получится, что на свете нет такой силы, которая принудила бы его «принять» то, что с ним произошло, как должное и как окончательное. Иначе говоря: не только «право», но и «власть» Необходимости ставится под вопрос. Точно ли в самом деле Необходимости дана власть распоряжаться судьбами людей и мира? Есть ли это «самоочевидная истина» или кошмарное наваждение? Как случилось, как могло случиться, что человек принял эту власть и покорился ей? И еще больше: как могло случиться, что «этическое», с которым люди связывают все, что есть самого значительного, нужного, ценного в жизни, пришло со своим «ты должен» на защиту бессмысленной, отвратительной, тупой, глупой и слепой Необходимости? Может ли человек жить в мире, пока в нем господствует Необходимость? Может ли человек не прийти в отчаяние, когда он убеждается,

что Необходимость, не довольствуясь находящимися в ее распоряжении средствами внешнего принуждения, ухитрилась переманить на свою сторону его собственную «совесть» и заставить ее слагать гимны своим злодейским делам?

Это и погнало Киргегарда от Гегеля и умозрительной философии к «частному мыслителю» Иову. Иов доказал «ширину своего мирозерцания той непоколебимостью, которую он противопоставляет всем ухищрениям и нападкам этики», — пишет Киргегард. Пусть друзья Иова «лают» на него, сколько им вздумается, продолжает он, пусть не только друзья, пусть мудрейшие люди всех времен и народов «лают» вместе с друзьями, чтоб убедить его в правоте «этического», требующего от него радостной покорности постигшей его судьбе. Для Иова «ты должен» этического — пустой звук, и «метафизические утешения», которые пригоршнями бросают ему друзья, — только вздорная болтовня. И не потому, что его друзья недостаточно мудры и просвещенны. Нет, они постигли всю человеческую мудрость, и они могли бы украсить собой любой из эллинских симпозионов. Филон, цитируя эти речи, без труда мог бы доказать, что великие греки добыли свою мудрость из Библии — не пророков и псалмопевцев, правда, а из изречений друзей Иова: этика (долгствование) покрывает собой Необходимость — где человек не может, он не вправе и хотеть. И точно: если разум всевидящ и умеет точно определить, где кончается возможное и начинается невозможное, тогда этика, покрывающая его и на него опирающаяся, обеспечена *in saecula saeculorum* и мудрость друзей Иова, как и греческая мудрость, священна. Если?! Но тут-то является вопрос: что такое сама Необходимость? И чем держится ее власть?

Отчего люди и боги, точно замороженные ею, не смеют или не умеют отказать ей в повиновении? Еще раз повторяю уже раньше поставленный вопрос: как случилось, что этика, придуманная лучшими из людей, защищает и благословляет эту власть? Пред судом этики прав не Иов, а его друзья: не может же в самом деле разумный человек рассчитывать и требовать, чтобы из-за него переделывались законы мироздания! И Иов именно так и поступает: он не хочет «рассчитывать», не хочет считать — и требует, и на все представления его друзей у него один ответ: скучные вы утешители. Киргегард же вторит ему, жертвует ради него Гегелем, отстраняет этику, отрекается от разума и всех великих завоеваний, которые, благодаря разуму, делало в течение своей тысячелетней истории человечество. На все, что ему до сих пор внушали его учителя, он, словно в забытии, отвечает не словами, а — для нашего уха — почти уже нечленораздельными звуками — и даже не отвечает, а не своим голосом кричит: «Что это за власть, которая отняла у меня мою честь и гордость, да еще таким бессмысленным образом?» Кричит, точно бы в его криках была какая-то сила, точно он ждет, что от них, как от иерихонских труб, стены начнут валиться.

Где же «бессмыслица»: в той ли власти, которая отняла у Иова (точнее, у Киргегарда) его честь и его гордость, или в том, что Киргегард вообразил себе, что от его криков начнут стены валиться? С ним случилось, правда, нечто неслыханное, почти невероятное, непостижимое ни для него самого, ни для других: он, такой же человек, как и все, оказался вне покровительства законов. Вдруг, без всякой видимой причины, он при жизни был вышвырнут за пределы реальности: все, к чему он прикасался, пре-

вращалось в тень, как все, к чему прикасался мифический Мидас, превращалось в золото. За что? Почему? Друзья Иова, как и друзья Киргегарда, без особенного труда находили этому достаточные, более чем достаточные основания. Уже одно то обстоятельство, что и Иов, и Киргегард являются ничтожными звеньями бесконечной цепи бесконечно изменяющихся явлений мироздания, может считаться объяснением вполне удовлетворительным для «нормального» сознания. Даже сам Иов вначале, когда стали приходить вести о первых бедах, с достойным и ясным спокойствием и в полном соответствии с требованиями этического говорит, как и полагается мудрому человеку (совсем как, по словам Эпиктета, сказал бы Сократ, если бы он оказался в положении Приама или Эдипа): Бог дал, Бог взял. Но чем больше накапливаются беды, тем он становится нетерпеливее и тем подозрительней делаются для него и его «знание» о неизбежном и неотвратимом, и его мораль, внушавшая ему готовность радостно нести выпавший на его долю жребий. «Не тогда, — говорит Киргегард, — проявляется величие Иова, когда он говорит: Бог дал, Бог взял, да будет благословенно имя Господне — так он говорил вначале и потом уже этого больше не повторял; значение Иова в том, что он довел борьбу до тех пределов, где начинается вера». И еще раз: «Величие Иова в том, что пафос его свободы нельзя удушить лживыми посулами и обещаниями». Это все — так. Но еще не в этом главное. Главное, и для самого Иова, и для Киргегарда, в другом — и менее всего в величии Иова. Разве Иов нуждается в похвалах и отличиях? Разве вообще он ждет одобрения от кого-нибудь или от чего-нибудь? И Киргегарду ли это нужно напоминать — Киргегарду, который потому и пошел к Иову, что Иов «отстра-

нил» этическое? Вопрос тут не в том, великий или не великий, достойный или недостойный человек Иов: все эти вопросы остались уже далеко позади. Вопрос в том, можно ли с криками, жалобами и проклятиями, т. е., по-нашему, с голыми руками идти против предвечных законов и природы? Иов, может быть, и не знал, но Киргегард знал, что в новой философии вопрос этот раз и навсегда решен: *non ridere, non lugere, neque detestari — sed intelligere* — это положение Спинозы бесспорно. И если экзистенциальная философия «частного мыслителя» Иова хочет это положение обернуть и ждет истины не от понимания, а от своих воплей и проклятий, то вряд ли уместно переводить вопросы в плоскость субъективной оценки личности Иова. И все-таки Киргегард не случайно два раза говорит о величии Иова. Кстати, он не дает себе труда объяснить, почему такое — Иов был велик не тогда, когда говорил «Бог дал, Бог взял», а тогда, когда произносил неистовые слова о том, что его страдания тяжелее песка морского. Кто в таких случаях решает, где величие и где ничтожность? А что, если наоборот: Иов был велик, пока с душевной ясностью принимал свои беды, а когда он утратил ясность и спокойствие, он стал жалким, ничтожным и смешным. Кому решать этот вопрос? До сих пор он целиком подлежал компетенции этики. У нас есть даже для этого готовая формула, давно вычеканенная греками. Цицерон и Сенека перевели ее словами: *fata volentem ducunt, nolentem trahunt*. Не тот велик, кого судьба тащит, точно пьяного в участок, а тот, кто сам «свободно» идет, куда судьба ему идти предназначила. Эдип кричал, плакал и проклинал, но Сократ, как нам объяснил Эпиктет, на месте Эдипа был бы так же невозможно ясен, как и тогда, когда он принимал от тюрем-

щика чашу с ядом. Не может быть двух мнений: если Сократ придет с Иовом на суд этики — Иов свое дело проигрывает. Киргегарду это известно. Он знает, что единственный способ для Иова добиться своего — это оспорить подлинность своего дела этике. Он пишет: «Иов благословен, ему вернули все, что у него было, и даже вдвойне. И это называется повторением... Таким образом, есть повторение. Когда оно наступает? На человеческом языке этого не скажешь. Когда наступило оно для Иова? Когда всякая мыслимая достоверность и вероятность говорили о невозможном». И тут же, отождествляя свое собственное дело с делом Иова, он продолжает: «Я жду грозы и повторения. И что принесет это повторение? Оно сделает меня способным быть супругом».

Есть ли во всем этом хоть намек на то, что мы называем величием? Заинтересована ли этика хоть сколько-нибудь в том, чтобы Иову отдали назад (да еще в двойном количестве) его коров, его золото и даже детей? Или чтоб Киргегарду вернули способность быть супругом? «Земные блага» в определении духа безразличны — сам Киргегард нам это скажет в конце «Повторения». И еще пояснит, что для человека, правильно понявшего свое отношение к Богу, все конечное становится ничтожным. Но ведь это уже давно было известно языческим мудрецам, которые создали самозаконную (автономную) этику, — и если точно для духа все земное безразлично и сущность «религиозного» в том, что оно научает пренебрегать конечным, то для чего было тревожить Иова и уходить от Сократа? Зачем было ополчаться на Гегеля? Гегель тоже учил, что все конечное находится в становлении, не имеет самостоятельного значения и получает смысл только в бесконечном процессе. И не было тоже надобности хлопо-

тать о повторении и торжественно возвещать, что «повторению суждено сыграть важную роль в новой философии» и что «новая философия будет учить, что вся жизнь есть повторение». Вернутся ли Иову его коровы и Киргегарду его способность быть супругом — это никого серьезно занимать не может, и превращать такие пустяки во всемирно-исторические события не было никакой надобности. Иов поплакал бы, покричал — и замолчал бы. И Киргегард в конце концов перестал плакать и проклинать: не только ведь жизненные блага, которых они лишились, конечны, сами Киргегард и Иов не менее конечны, чем их крики, слезы и проклятия. Вечность все поглощает, как океан поглощает впадающие в него реки, даже не становясь оттого полнее. В конце концов в безбрежной вечности растворяются даже похвалы и хулы этического. Да, как мы видели, они ни Иову, ни Киргегарду уже и не нужны были. Они добивались повторения, в котором человеческое мышление, твердо знающее, что возможно и что невозможно, им самым решительным образом отказало. Но зато оно никогда не отказывает никому в своих похвалах — при условии, конечно, что человек смиритсЯ, признает действительное разумным и с чистой, свойственной духовному существу, радостью примет выпавший на его долю какой угодно тяжелый жребий. Киргегард это знает и иной раз все же этим соблазняется. Хорошо, если Иов одолеет необходимость и добьется повторения! А что, если он падет в неравной борьбе? Хорошо, если в Св. Писании точно есть истина, о которой древние философы ничего не слыхали! А что, если Филон был прав и если из Библии должно принять лишь то, что не противоречит мудрости Сократа, Платона и Ари-

стотеля? И что даже ненавистный Гегель был прав, призывая религию на суд разума?

Эти опасения никогда окончательно не покидали Киргегарда. Оттого он и говорил только об «отстранении этического», хотя сознавал, что требуется большее, что для него наступил момент самого безудержного «Entweder-Oder». Он и сам иной раз говорит об этом с огромной силой и напряжением. «Авраам,— читаем мы в «Furcht und Zittern»,— своим поступком переходит границу этической области. Его *τέλος* (цель) лежал выше, вне этического: озираясь на этот *τέλος*, он отстраняет этическое». И еще раз: «Мы стоим перед парадоксом. Либо отдельный человек, как таковой, находится в абсолютном отношении к Абсолютному — и тогда этическое не есть высшее, либо Авраам — погиб». И все же этическое только отстраняется — чтобы можно было, когда понадобится, т. е. на случай, если Необходимость одолеет Иова, вернуться под его сень, хотя и придется, по его требованию, подписать приговор Аврааму. Эта невольная осмотрительность столь безудержного всегда мыслителя имеет глубокое значение: затеянная им борьба слишком дерзновенна и не может не пугать даже самого смелого человека. У Киргегарда все отнято. Он «выпал из общего», он «лишен покровительства законов». И ему отказаться от покровительства этики, которой дана власть провозглашать *laudabiles vel vituperabiles*! Оттого — дальше об этом будет подробнее рассказано — Киргегард в свое понимание «религиозного» все же постоянно вносит элемент этический, и в каждой следующей книге он этому элементу придает все больше и больше значения. Уже в «Повторении», мы помним, он говорил о «величии Иова», там же он называет религиозных людей «аристократическими нату-

рами». А в «Krankheit zum Tode» он даже часто подставляет под понятие «религиозный» понятие «этический», словно забыв о том, что он говорил об отношении религиозного и этического и что, если этическое есть высшее, то Авраам погиб. «Какого признака,— спрашивает он,— не хватало Сократу (т. е. язычеству в его лучшем выражении) в его определении греха? Воли, упорства. Греческий интеллектуализм был слишком счастливым, слишком наивным, слишком эстетическим, ироническим, остроумным и грешным, чтобы понять, что кто-либо может сознательно не делать хорошего или сознательно (т. е. зная, в чем лучшее) делать недолжное. Греки возвестили интеллектуальный категорический императив». На первый взгляд как будто — верно: Сократ учил, что никто, зная в чем добро, не станет делать зла. Но ведь это не имеет ничего общего с тем, что Киргегард рассказывает о язычестве. Достаточно вспомнить хотя бы речь Алкивиада в платоновском «Симпозионе», чтобы убедиться в противном. Или Овидиево *video meliora, proboque, deteriora sequor* — цитируемое всеми почти философами (между прочим, Лейбницем и Спинозой) наряду с соответствующими словами ап. Павла. Киргегард, словно он никогда «Симпозиона» не читал и о приведенном стихе Овидия не слышал (он если не у самого Овидия, то, во всяком случае, у Спинозы, приводящего его несколько раз, должен был прочесть этот стих), продолжает: «В чем же недоразумение? Оно в том, что не хватает диалектического перехода от понимания к деланию. Вот тут-то, при этом переходе и начинается роль христианства, и тогда выясняется, что грех лежит в воле и мы приходим к понятию упорства». Вряд ли может быть сомнение, что эти слова открывают возможность *restitutio in integrum* того

«этического», которое принес людям Сократ и которое, в решительную минуту, Аврааму пришлось «отстранить». А мы уже знаем, что прикрывало собою этическое и откуда оно черпало свою власть и силу. Притом Киргегард уже говорит тут не от себя лично и не от имени философии, а от имени христианства. Грех он видит в человеческом упорстве, в закоренелости воли, не соглашающейся подчиниться исходящим от высшей власти велениям. Но тогда Иов был грешником *par excellence*, и его грех состоял в том, что он не пожелал остаться при традиционном «Бог дал, Бог взял» и дерзновенно возмущался посланными ему испытаниями. Друзья Иова говорили правду, Иов — бунтовщик, мятежник, кощунственно и нечестиво противопоставляющий свою волю предвечным законам мироздания. Нужно не от Гегеля бежать к Иову, а от Иова к Гегелю, не от общего к единичному, а от единичного к общему. Что же касается Сократа, то не только вне христианства, но и в самом христианстве ему не было равного. Авраам же, решившийся выйти за пределы этического, — преступник. Абсурд, у которого искал Киргегард защиты, ничего не защитил: за этикой с ее «ты должен» надвигается на обессиленного человека своей тяжелой, каменной поступью Необходимость.

ЕДИНСТВЕННЫЙ

(Послесловие переводчика)

143 года минуло со дня смерти Сёрена Киркегора, однако, как и в начале нашего века, он остается одной из ярких фигур на гуманитарном горизонте. Р.-М. Рильке специально выучил датский, чтобы читать его в оригинале. Любимые герои Дж. Сэлинджера словно бы вышли из сада, возделанного датским «принцем одиночества», да и сам сэлинджеровский метод есть незавуалированное продолжение художественного метода, изобретенного Киркегором, метода, где в импровизационной манере религиозно-философское исследование синтезировано с дневником-исповедью. Сегодня критики пишут о несомненном влиянии, оказанном Киркегором на творчество Иосифа Бродского, о явном внутреннем диалоге. Что уж говорить об экзистенциальной философии или о христианской мысли. Вполне справедливо имя датского мыслителя ставят в один ряд с именами Августина и Паскаля (имея в виду христианскую традицию).

Причин того, почему Киркегор сегодня по-прежнему (и, быть может, впервые) столь актуален, слишком много, чтобы все их успеть обозначить. Скажу лишь о том, что касается непосредственно нас, стоящих перед фактом утраты религиозного измерения жизни. А ведь это и было целью и смыслом всех исканий и всех жертв датского писателя — обрести глубину и подлинность религиозного измерения бытия. Его максималистская критика эстети-

ческого христианства бьет не в бровь, а в глаз, ибо то, во что мы сегодня так или иначе *играем*, окружая себя знаками принадлежности к христианской традиции, есть, увы, не только не вхождение в религиозную жизненную стадию, но, в большинстве случаев, лишь эстетический камуфляж, одна из разновидностей мировоззренческого самообмана.

Если бы стать христианином (и шире — человеком религиозным) было бы столь легко, как кое-кому из нас сегодня кажется, то, конечно, русская интеллигенция рубежа веков не оказалась бы охвачена той безумной эстетической меланхолией, которая была идеальным бродильным веществом для любых соблазнительных идей. Учение Киркегора о трех стадиях жизненного развития (эстетической, этической и религиозной), о парадоксальных законах, связующих эти стадии, позволяет глубже и плодотворнее заглянуть в то, что происходит с нашей психикой. Большинство нас, людей, почитающих себя вполне нравственными, живет все еще сугубо эстетически, то есть не ощущая в текущих мгновениях и днях глубинного религиозного смысла, не видя за поверхностью явлений их неизреченной глубины и свечения. Нравственность при этом мы измеряем согласно общественному долгу. Однако разве мы не вполне познали, как условна и как коварна общественная нравственность, не базирующаяся на безусловном благоговении перед таинственной абсолютной волей? Отсюда и грех. Ибо, как полагает Киркегор, «противоположностью греха является не добродетель, а вера» (одна из ведущих мыслей «Болезни к смерти»).

Но что есть вера? «Вера — величайшее и труднейшее из всех дел... Вера — высшая страсть в человеке. Пожалуй, в любом поколении существует множество людей,

даже не приблизившихся к ней, однако не найдется ни одного, который бы смог уйти дальше нее» («Страх и трепет»). Быть может, никто с таким максимализмом и с такой всепоглощающей, исполненной психоаналитического блеска страстностью не рассматривал саму возможность веры, сам механизм и условия предстояния ей, мучительно-взволнованной жажды ее, как Киркегор. «Люди объезжают кругом весь свет, чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, уродливых рыб, нелепые расы людей, обрекают себя скотскому тарашению на вселенную и воображают, что видели нечто особенное. Меня это не занимает. Зато знай я, где найти рыцаря веры, я бы пешком пошел за ним хоть на край света, такое чудо меня безусловно занимает. Я бы уж ни на минуту не упустил из виду, не отрываясь, наблюдал бы за его душевными переживаниями. Я счел бы себя вполне обеспеченным на всю жизнь, только и делал бы, что с благоговением наблюдал этого рыцаря и подражал бы ему, упражняясь в тех же душевных переживаниях...»

Его подробнейшие описания тех таинственных состояний, в которых происходит приближение к «прыжку в абсурд веры» (количественные этические накопления, сколь бы грандиозны они ни были, сами по себе не преобразуются в новое качество веры), а точнее — описания невозможности постижения этих таинственных «прыжков в веру» (подобных сатори в дзэн), — пронизаны тем благоговейным «страхом и трепетом», тем неопровержимым чувством священного смысла каждого мгновенья, которые уже сами по себе есть знак уникальной религиозной настроенности. И сколько бы лирические герои Киркегора не оговаривались в том духе, что, мол, «я не скрываю: мне еще далеко до веры», все же притягательность писа-

ний датчанина отнюдь не того же свойства, что притягательность сугубо философских или же экзистенциально-беллетристических произведений. В его излюбленном «герое абсурда» — рыцаре веры библейском Аврааме — для нас не могут не проступать автобиографические черты самого мыслителя, того, кто, несомненно, принес на алтарь живому Единому некоего своего Исаака, свою великую жертву (пусть даже это и не была его невеста Регина Ольсен).

«Если мы желаем порядка в жизни, то мы должны заботиться прежде всего о том, чтобы сделать из каждого человека отдельного, единственного» («Болезнь к смерти»). Только в качестве одинокого, единичного, в качестве частного лица (всмотримся в себя: много ли в нас такого, что бы не являлось «собственностью» организаций и организованного способа мышления и чувствования?) человек может войти в контакт с подлинной реальностью, с подлинниками земных вещей. Киркегор сделал то наблюдение, что религиозность есть детище величайшей внутренней тишины и молчания, ибо иначе вы не услышите Божье слово.

Не менее ценен опыт Киркегора как борца за подлинность христианского учения. Либо мы переживаем Личность Христа как абсолютно современную нам (а себя, соответственно, как абсолютно современных жизни и действиям реального, во плоти, евангельского Иисуса, рожденного в хлеву и всю жизнь преследуемого властями и умершего позорной смертью), либо мы никакие не христиане, а лишь попугаи, механически повторяющие давно умершие слова. Так ставит вопрос Киркегор. Метод его евангельских исследований напоминает метод Шлимана,

столь страстно верившего в реальность, а не мифичность сообщаемого Гомером, что эта вера помогла ему раскопать Трою. Так и Киркегор: восстанавливает жизненную правдивость евангелий, «откапывает» эмоционально-достоверные первосмыслы учения Учителя, превращая веру из некоего умозрительно-мифологического занятия в актуальный сиюминутный жизненный акт.

«Если ты не можешь стать христианином в смысле современности Христу (а это значит: готов ли ты на пожизненные унижения и страдания во имя нищего безумца, каким и был во мнении большинства исторический Иисус. — Н. Б.), или если Он в положении твоего современника не в силах увлечь тебя за собою, тебе никогда не быть христианином. И как бы ты ни чтил, ни прославлял, ни наделял всеми земными дарами тех, кто внушает тебе, что ты все-таки христианин, обман все-таки останется обманом», — писал датский затворник в «Упражнениях в христианстве». Сущность же пути Христа — страдание. Свободно принимаемое и устремляющееся к смерти как к свету.

Говоря об узком пути, на который приглашает Христос человечество, нельзя не напомнить, что речь идет о фундаментальнейшем противоречии, в котором оказалась и церковь, и все мы, так сказать номинальные христиане. Ясно, что большинство из нас не способны подражать Христу ни в этическом волеизъявлении, ни в отвержении красоты мира земного, ни в пафосе самоумерщвления. Реально учение Христа, будь оно проведено Церковью последовательно, привело бы к разделению общества на горстку христиан-аскетов и на сонмы грешников, которых ждет геенна огненная... Более внутренне парадоксального учения нет в истории. Проповедь

бесконечной любви и одновременно бесконечная безжалостность к природному существу человека. Прав Розанов: «В изречении Иисуса: «Никто не может прийти к Отцу токмо как через Сына», — я нахожу предпосылку, уже введшую в узкий путь не только духовного, но и телесного стеснения». На этом сюжете, кстати, построена и Легенда о Великом инквизиторе у Достоевского. Обращаясь к Христу, инквизитор (в сущности символ всей современной церкви) говорит: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал!.. Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал...»

И все же Киркегор выступает как решительный противник той адаптации, той нивелировки максималистского учения Христа, которой его подверг исторический институт церкви. То, что сотням миллионов людей с амвонов и кафедр внушается, что они подлинные христиане, в то время как их жизнь вся укоренена в интересах «мира сего», — Киркегору представляется вопиющим грехом, ибо в конечном счете Бог — это истина, сколь бы суровой она ни была. «Значение слова «христианин» стало пустым звуком, чем-то таким, чем может стать всякий без труда, чего можно добиться легче пустячной ссоры. Воистину пора раздаться идеальным требованиям христианства».

Религиозность, так или иначе, есть способность быть духовным. А «для духа нет непосредственного состояния здоровья», — полагает Киркегор. (Для нас весьма любопытно и такое его высказывание: «Но разве счастье — категория духовная? никоим образом». Впрочем, это хорошо понимал, скажем, Андрей Тарковский, отрицавший счастье в качестве смысла и цели человеческой жизни —

вполне исконно русская, православная точка зрения — и по мере все большего одухотворения своих героев-протагонистов все пристальнее исследовавший именно этот таинственный процесс *религиозного страдания*.)

Духовная жизнь есть религиозное страдание — писания Киркегора в значительной степени являются расшифровкой этой формулы. Думаю, Киркегор не позволил бы себе разглагольствовать на столь щепетильную тему, если бы у него не было глубиннейших к тому стимулов: если бы сама его жизнь не была сознательно свершаемым религиозным страданием.

Разумеется, Киркегор никогда не пытается сопоставить себя с героями веры, стиль и тон, внутренние основы Киркегора смиренны, однако то, что он обладал *внутренним взглядом* на сам феномен и сам процесс религиозного страдания, выдает безусловного соучастника процесса.

Рассказ об узком пути Христа (например в эссе «Христос есть путь») — это не интерпретация евангельской истории, а разновидность исповеди. Разумеется, эта исповедь косвенная. И однако нельзя не сказать, что главным в этой исповеди является вовсе не личность исповедующегося, а именно то, что исповедуются по поводу Всеzasлоняюще Насущного Явления Христа, а значит на тему актуального религиозного страдания — его Всеzasлоняющей Насущности. Разумеется, при том условии, если у нас есть желание быть действительными, а не номинальными христианами.

Многие пассажи этого эссе словно бы прямо выписаны из хроник собственного психологического опыта автора. Например, пассаж о том, как радуется человеческое сердце в начале пути богатству своих возможностей, как идет шаг за шагом за дарами Божьими, которые находит в

себе, как уже почти напуган человек этим богатством данного ему, и вдруг глас Божий: «Это лишь малая толика того, что тебе дозволяется!...» Вот он — ужас. Ибо вершина даров сердечных, пик сердечной одаренности — жертвенность, право посвятить свою жизнь религиозному страданию... Сколь тонко понимал эту странную для нас (жадно озирающих свои ускользающие возможности) диалектику Киркегор!

Вся евангельская история для Киркегора важна (и важна бесконечно!) только в том случае, если Иисус — живое лицо и если он, Киркегор, ощущает раны Христа как вот сейчас, на глазах наших кровоточащие. Нет, история Христа не случилась когда-то — она происходит сейчас. Только при таком условии, только под таким углом зрения Киркегор согласен размышлять о происшедшем в Иудее в первом веке. Потому-то страстность и подробность (крупный план) его экзистенциального анализа есть, по существу, трогательное, лиричнейшее самоисповедание. Из глубины текста мы непрерывно вычитываем эту щемящую ноту родства, ощущаем изумляющую попытку человека сочувствовать Сыну Божьему. Разве это не парадокс и более того — разве это не абсурд: тленное и бесконечно слабое сочувствует бессмертному и бесконечно сильному? Да — парадокс, да — абсурд; однако воспринимать эту историю иначе Киркегор отказывается; иначе эта история становится бесчеловечной и оскорбительной. Равно и для Бога, и для человека.

Киркегор высвечивает лик Христа не победительного, всемогущего и могущественного, сидящего одесную Отца (таким ведь никто Его и не знал из людей), а непрерывно раздираемого страданием и, главное, беззащитного. «Как всегда он беззащитен», — пишет Киркегор. Да, без-

защитен, ибо смысл его миссии — бесконечная, абсолютная открытость своей судьбе. Порой кажется, что Киркегору хотелось всеми имеющимися у него духовными силами защитить Христа, облегчить его душевные муки, разделить с ним безмерную тяжесть абсурднейшей, невыразимейшей ситуации. Во всяком случае, в его работах о Христе проскальзывает эмоция редчайшая и парадоксальнейшая — нежность.

Если христианский Запад сегодня интересуется Киркегором прежде всего как пронизательнейшим критиком ископленного, буржуазно адаптированного, ставшего абсолютно безопасным, не требующего от личности ни малейших жертв христианства, то нам, быть может, целесообразнее сам трагический размах жизненной судьбы Киркегора, его пронзительное ощущение сверхважности внутреннего выбора. Тезис Киркегора: философия начинается не с удивления (как считали древние), а с отчаяния, — не может не волновать нас сегодня («Только дошедший до отчаяния ужас развивает в человеке его высшие силы», — писал он в дневнике). Призывы Киркегора «воистину отчаяться», чтобы стать готовым к решающему внутреннему перевороту, — нами сегодня могут быть услышаны как нигде и никем, ибо мы подведены к черте отчаяния нашей исторической судьбой. Нам остается только перебросить экзистенциальный мостик от судьбы национально-исторической к судьбе личностно-индивидуальной, а затем попытаться высветить вертикальное измерение своей тленной жизни как тот «остаток», что неразтворенным уйдет с нами в Иноебытие.

Киркегор был «несчастнейшим» человеком в процветающей Дании, существом бесконечно одиноким,

чувствительнейшим, сейсмически зорко предвидевшим внутренние беды, которые обрушились на человечество сегодня. И мы, в качестве «несчастнейших» на планете, не можем не прислушаться к этому отчаянному «воплю из бездны», ибо то вопль не просто страдальца, но мудреца.

Н. Б.

Литературно-художественное издание

**Петер П. Роде
СЁРЕН КИРКЕГОР**

**Главный редактор Н. Ф. Болдырев
Редактор И. С. Розин
Художественный редактор А. Ю. Данилов
Технический редактор А. И. Кунгурова
Корректоры Л. А. Ильина, З. Ф. Новикова,
Е. В. Рудакова, С. Г. Турбина
Компьютерная верстка — С. В. Парфёнова**

«Урал LTD» ЛР № 064775 от 27.09.96

**Подписано в печать 19.05.98. Формат 84×108/32
Бумага для ВХИ Краснокамской бумажной фабрики «Гознак»
Гарнитура Школьная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 13,76
Тираж 10 000 экз. Заказ № 2005**

**Издательство «Урал LTD»,
при участии издательства «Урал-книга»
454091, г. Челябинск, ул. Постышева, 2**

**Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда»
614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «УРАЛ LTD»

*впервые на русском языке
издает оригинальную
переводную серию
«Биографические ландшафты»,*

*составленную из книг,
выпущенных немецким издательством «Ровольт»
в 50—90-х годах нашего века*

■ Продолжает новую биографическую серию, подготовленную к выходу в свет издательством «Урал LTD», жизнеописание великого датского философа Сёрена Киркегора.

■ Серия «Биографические ландшафты» включает в себя лучшие биографии выдающихся людей планеты; книги изданы одним из старейших западноевропейских издательств — «Ровольт». Над переводами работали и работают профессиональные переводчики — поэты, писатели, философы.

■ Наряду с жизнеописанием Сёрена Киркегора уже пришли к читателю или появятся на прилавках в ближайшее время до сих пор неизвестные у нас биографии Райнера Мариа Рильке, Германа Гессе, Новалиса, Якоба Бёме, Мартина Хайдеггера, а также жизнеописания Иисуса Христа, апостола Павла, Зигмунда Фрейда, Альберта Эйнштейна, Антуана де Сент-Экзюпери, Екатерины II и другие.